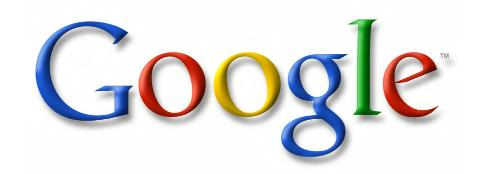
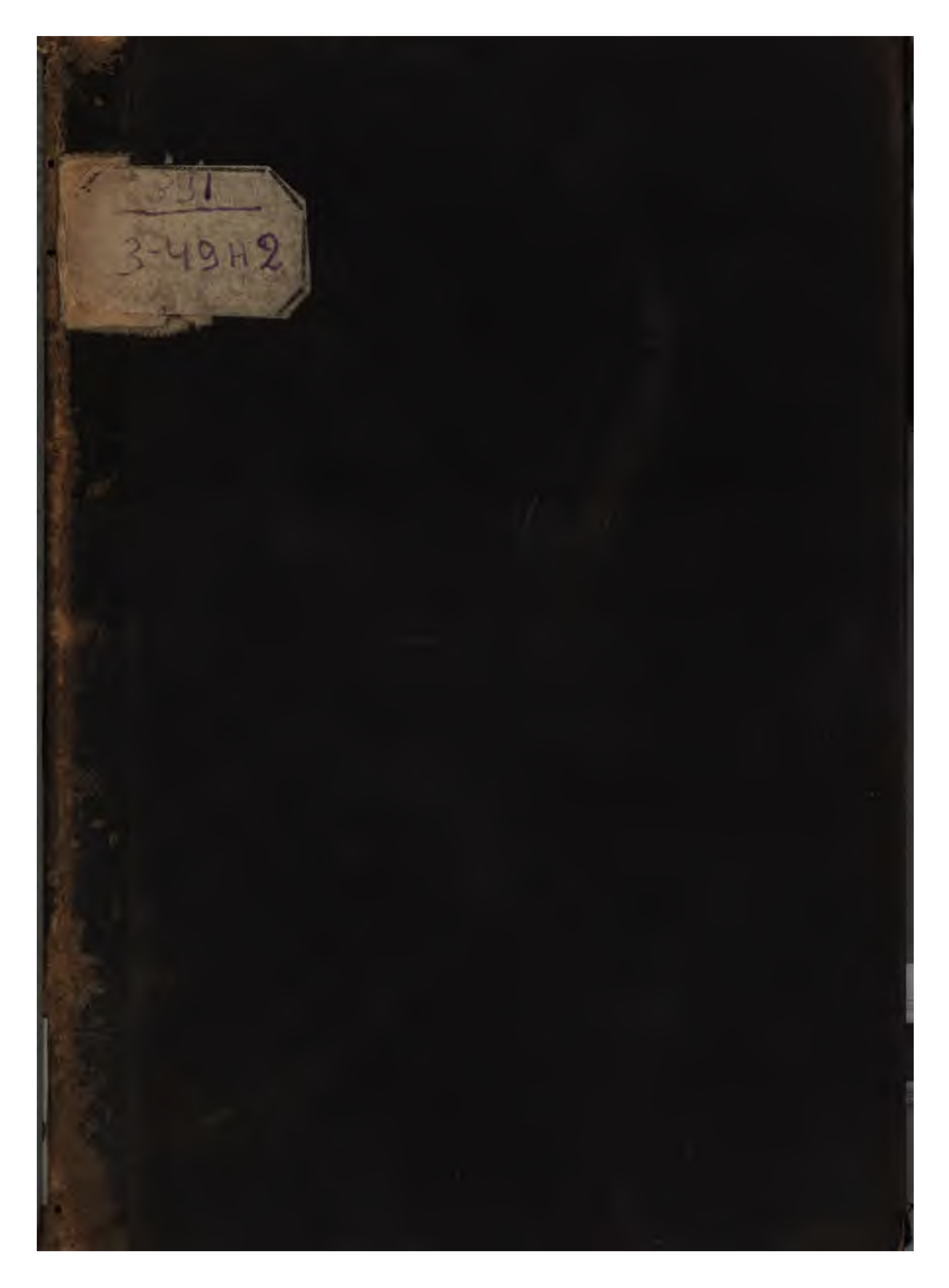



891
3-49H2

Шильдеръ и князь Кантакузенъ *прибыли въ Бѣлу (15*
Прочіе офицеры моего плевненскаго штаба *скитаются еще с*
...Я не вѣрю въ скорый миръ. Россія не *можетъ закл*
не будутъ исполнены всѣ требованія, предъявленныя ею
именно: независимость Румыніи и Сербіи, автономія Черногор
Босніи и Болгаріи, уступка Карскаго пашалыка въ Азіи, уве
Черногоріи, Сербіи и Румыніи. Условія эти между тѣмъ так
нительны для самостоятельности Турціи, что Оттоманская и
ихъ, пока не будетъ совершенно побѣждена и безоружна
нея стоятъ еще три арміи въ полѣ, одна въ Азіи и двѣ
климатическія условія, Балканы, совершенное бездорожье ст
гущественными союзниками турокъ; при этомъ нужно при
поддержку деньгами, оружіемъ, военными припасами и пр.,
камъ англичанами. Ихъ артиллерія и ружья лучше нашихъ
могутъ также пользоваться желѣзными дорогами отъ портов
зованія которыми не находится въ нашемъ распоряженіи. С
и на нашей улицѣ праздникъ.

Брестовец

...Здѣсь настоящая зима, отъ
снѣгу, и мятели чередуются с
ровно никакого дѣла.

...У непріяте
время. Как
верх

СБОРНИКЪ
КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ
о
Н. А. НЕКРАСОВѢ.

Часть вторая.

1864—1873.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.



МОСКВА.
Т-во типо-литографіи И. М. Машистова, Б. Садовая, близъ Тверской, соб. д.
1902.

Въ составъ настоящей второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ вошло свыше 30-ти отдѣльныхъ полныхъ критико-библіографическихъ отзыва, разбросанныхъ по разнымъ изданіямъ въ періодъ времени съ 1864-го по 1873 годъ включительно; кромѣ того, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги указано на 34 статьи за тотъ же періодъ времени, не вошедшія въ предлагаемую книгу.

Второе изданіе второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ дополнено нѣсколькими критическими статьями, не входившими въ первое изданіе этой книги.

В. Зелинскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ

второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“

Стр.

Предисловіе . . . . III.

Критика шестидесятыхъ годовъ.

1864 годъ.

Статья В. Зайцева о „Стихотвореніяхъ Н. А. Некрасова . . . . 1.

Библіографическій отзывъ изъ „Книжнаго Вѣстника“ . . . . 13.

1865 годъ.

Статья изъ „Журнала для дѣтей“, о поэмѣ „Морозъ—красный носъ“. 15.

1866 годъ.

Отзывъ о поэзіи Некрасова изъ „Иллюстрированной Газеты“ . . . . . 20.

Разборъ поэтической дѣятельности Некрасова, изъ „Воскреснаго Досуга“. 21.

1867 годъ.

Отзывъ о Некрасовѣ Д. И. Писарева . . . . 25.

1868 годъ.

Замѣтка М. А. Загуляева о стихотвореніяхъ Некрасова . . . . 27.

Статья Н. Соловьева, изъ „Всемірнаго Труда“ . . . . —

Статья Н. Л—ъ, изъ „С-Петербургскихъ Вѣдомостей“, о „Генералѣ Топтыгинѣ“. . . . . 32.

1869 годъ.

Статья о Некрасовѣ М. Велинскаго, изъ „Кіевскаго Телеграфа“ . . . . 36.

Статья о Некрасовѣ Н. Страхова, изъ „Зари“ . . . . 41.

Критика семидесятыхъ годовъ.

1870 годъ.

Статья М. М. изъ „Иллюстрированной Газеты“. . . . . 45.

Замѣтка Л. Л.. изъ „Новаго Времени“ о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“ . . . . 48.

Статья о Некрасовѣ Н. Страхова . . . . —

Замѣтка И. С. Тургенева о поэзіи Некрасова . . . . 56.

Отзывъ В. Буренина о стихотвореніи „Дѣдушка“. . . . . 57.

Критическій очеркъ о литературной дѣятельности Некрасова, изъ „Новаго Времени, подписанный псевдонимомъ *Ива* (И. В. Андреева?) . . 58.

1872 годъ.

Разборъ некрасовской поэзіи В. Г. Авсѣенко, изъ „Русскаго Міра“ . . 86.

Критическій очеркъ Постнаго (П. Н. Ткачова), по поводу романа: „Три страны свѣта“ . . . . 91.

Разборъ В. П. Буренина предыдущей статьи П. Ткачова . . . . 127.

1873 годъ.

Критическая статья В. Буренина о музѣ Некрасова. . . . . 132.

Статья А. С., изъ „Новаго Времени“, о поэмѣ „Русскія Женщины“ . . 141.

Статья изъ „Новостей“, Новаго Критика, подъ названіемъ: „Княгиня Волконская“ . . . . 145.

Статья В. Авсѣенко о поэмѣ „Русскія Женщины“ . . . . 148.

Его-же о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“ . . . . 151.

Отзывъ А. С., изъ „Новаго Времени“, о второй части поэмы: „Кому на Руси жить хорошо“ . . . . 154.

Статья В. Буренина о „Послѣдышѣ“ . . . . 157.

Статья изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ о талантѣ Некрасова . . . . . . 160.

Критическій очеркъ о Некрасовѣ В. Авсѣенко, подъ заглавіемъ: „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“ . . . . 162.

Статья о Некрасовѣ С. Т. Герцо-Виноградскаго, изъ „Одесскаго Вѣстника“, по поводу предыдущей статьи . . . . 197.

Отзывъ изъ „Сіянія“ о стихотвореніяхъ Некрасова . . . . 201.

Алфавитный указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ. 204.

Критика шестидесятыхъ годовъ.

1864 г.

*) На этотъ разъ я намѣренъ говорить съ читателями о стихотвореніяхъ г. Некрасова. То, что я скажу о нихъ, будетъ лишь отголоскомъ того, что думаетъ о нихъ вся образованная Россія, но зато совершенно несогласно съ отзывами литературы. Въ то время, какъ вся русская молодежь читала, читаетъ и знаетъ наизусть стихи г. Некрасова, литературная критика послѣднихъ лѣтъ большинствомъ голосовъ отказывала ему не только въ тѣхъ достоинствахъ, какія признавались за нимъ публикою, но и въ десятой долѣ тѣхъ, которыя та же критика находила въ изобиліи у гг. Фета, Тютчева и Майкова. Нечего и говорить, что главною причиною такой критической оцѣнки было то, что г. Некрасовъ не только поэтъ, но и издатель „Современника". Конечно, подобные мотивы не дѣлаютъ чести безпристрастію эстетической и всякой другой критики. Но о безпристрастіи въ этомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи; достаточно, напримѣръ, вспомнить, что г. Некрасова упрекали въ томъ, что одна изъ героинь его потчуетъ своего возлюбленнаго водкой. Впрочемъ, пристрастіе и придирки можно бы было до извѣстной степени оправдать, потому что не мытьемъ, такъ катаньемъ, говоритъ пословица: чѣмъ бы ни доѣхать врага, лишь бы доѣхать. Но дѣло въ томъ, что ужъ если доѣзжать, то надо такъ, чтобы изъ этого вышелъ дѣйствительно ущербъ врагу, а не посрамленіе самой критикѣ. Въ отношеніи же г. Некрасова критика поступила такъ, что всякому человѣку, не принадлежащему къ врагамъ „Современника", пріятно

*) „Русское Слово" 1864 г., № 10. Статья В. Зайцева. „Стихотворенія Н. А. Некрасова".

вспомнить ея продѣлки, покрывшія ее стыдомъ и срамомъ. Пріятно указать всѣмъ этимъ Дудышкинымъ и проч. на ихъ былые подвиги, и въ то же время напомнить имъ, какъ безсильны остались ихъ натянутыя нападки передъ мнѣніемъ всей нашей читающей публики, передъ общимъ голосомъ всей молодежи. Своимъ отношеніемъ къ г. Некрасову критика наша приготовила себѣ въ будущемъ такую же незавидную славу, какъ Ѳаддей Булгаринъ своимъ эстетико-критическимъ взглядомъ на Гоголя. „Отечественнымъ Запискамъ“ посчастливилось первымъ отличиться въ подобномъ дѣлѣ. Я не знаю, понялъ-ли когда-нибудь этотъ журналъ все безобразіе своего разбора стихотвореній Некрасова и все безсиліе своей злобы, накинувшейся на поэтическую дѣятельность издателя „Современника“. Я бы желалъ знать, думаютъ ли „Отечественныя Записки“, что критика ихъ могла убѣдить хотя единаго человѣка въ цѣлой Россіи, и можно ли имъ вспоминать, не краснѣя, о своемъ походѣ противъ литературной репутаціи г. Некрасова. Несомнѣнно только то, что въ настоящее время, когда возродились надежды на пассивное отношеніе публики къ литературнымъ продѣлкамъ и, слѣдовательно, на возможность выдать ей грязь за золото и наоборотъ, примѣръ „Отечественныхъ Записокъ“ нашелъ подражателей. Въ № 43 „Дня“ за нынѣшній годъ какой-то г. Н. Б. берется за неблагодарный трудъ убѣдить публику въ томъ, что ей слѣдуетъ бросить и забыть стихи г. Некрасова и приняться за Константина Аксакова. Къ этой достопримѣчательной статьѣ я обращусь ниже; конечно, отъ нея не предстоитъ никакой серьезной опасности, и совершенно несбыточно, чтобы русская публика промѣняла когда-нибудь Некрасова на Хомякова, на всю семью Аксаковыхъ, на Языкова и на прочихъ славянофильскихъ бардовъ, пѣвшихъ о Прагѣ и о пѣнникѣ. Но я обращусь къ этой статьѣ, потому что въ ней, конечно, съ враждебными цѣлями, указаны многія важныя стороны произведеній г. Некрасова.

Но прежде чѣмъ обратиться къ разбору стихотвореній г. Некрасова (при чемъ я имѣю въ виду только 3-ю часть ихъ) мнѣ необходимо предупредить всякую возможность замѣчаній, крайне пошлыхъ и нелѣпыхъ, но возможныхъ со

стороны людей, повторяющихъ по сто разъ въ годъ и всякій разъ съ одинаковымъ удовольствіемъ, какъ нѣчто необычайно остроумное, что для нигилистовъ важнѣе всего брюхо. Такіе господа, прочитавъ мой отзывъ о г. Некрасовѣ, могутъ объявить мнѣ, что я сужу непослѣдовательно, что для человѣка, не симпатизирующаго чистой поэзіи, въ литературѣ можетъ быть важна только „опытная стряпуха“ или „наставленіе въ билліардной игрѣ“. Имъ можетъ показаться съ моей стороны несообразнымъ, если я выражу симпатію къ поэзіи г. Некрасова и не раздѣлю ихъ восторговъ къ Лермонтову. Эстетическіе критики, вѣроятно, не усумнятся отдать предпочтеніе Лермонтову передъ г. Некрасовымъ. И дѣйствительно, можно согласиться, что если о достоинствѣ поэтическаго произведенія должно судить лишь по степени красоты стиха, смѣлости и картинности метафоръ и возвышенности сюжетовъ, то они правы, тѣмъ болѣе, что Лермонтовъ „Современника“ не издавалъ. Поклонники чистой поэзіи, не требуя ничего болѣе этого отъ поэтическаго произведенія, приходятъ въ восторгъ отъ „ночного зефира“, гдѣ достоинства эти доведены до великой степени, но больше ничего нѣтъ, и они съ своей точки зрѣнія правы. Но они не могутъ обвинять въ непослѣдовательности человѣка, который, не ставя ни въ грошъ лучшія, чисто поэтическія произведенія, будетъ хвалить поэта, у котораго находитъ тѣ свойства, которыя онъ цѣнитъ въ писателѣ вообще. Нелѣпо восхищаться звучными рифмами и возвышенными сюжетами; но еще нелѣпѣе отрицать достоинства литературнаго произведенія за то только, что оно написано стихами, а не прозой, выражаетъ мысли въ формѣ воззваній и картинъ, а не строгихъ силлогизмовъ и вычисленій. Поэтому безтолково удивляться похвалѣ, возданной поэту-мыслителю человѣкомъ, отрицающимъ чистую поэзію.

Съ этой точки зрѣнія я и гляжу на произведенія г. Некрасова. Я приступаю къ его сочиненіямъ съ тѣми же требованіями, съ какими приступаю къ произведеніямъ критика, историка, публициста, беллетриста. Отъ всѣхъ ихъ равно каждый читатель требуетъ прежде всего честной, свѣжей мысли, вѣрнаго взгляда на предметъ, выбранный писате-

лемъ, и яснаго изложенія своего мнѣнія. Предметъ, о которомъ говоритъ авторъ, — вещь сама по себѣ второстепенная; для каждаго читателя въ отдѣльности онъ важенъ потому, что можетъ интересовать его или нѣтъ; но самъ по себѣ онъ только тогда лишаетъ сочиненіе всякаго достоинства и дѣлаетъ его никуда не годнымъ, если совершенно лишенъ всякаго интереса для кого бы то ни было. Таковы предметы большей части лирическихъ пѣснопѣній, какъ, напр., „Ночной зефиръ струитъ эфиръ". Про такое произведеніе каждый можетъ сказать, что оно абсолютно плохо и негодно, тогда какъ про „Сорокалѣтніе опыты" Авдѣевой этого нельзя сказать, какъ бы мало кто ни интересовался свѣдѣніями объ изготовленіи блинчатаго пирога съ яйцомъ. Такую книгу только тогда можно признать негодною, если спеціалисты скажутъ, что всѣ пироги съ яйцомъ, изготовленные по методѣ г-жи Авдѣевой, вышли неудобосъѣдобными. Наконецъ, послѣднее въ произведеніи—форма, потому что человѣкъ, произносящій свое сужденіе о произведеніи только на основаніи формы его, уподобляется Петрушкѣ Чичикова или, по крайней мѣрѣ, представляетъ непосредственный переходъ отъ такого читателя къ болѣе развитымъ. Изъ этого ясно, что вполнѣ прекраснымъ можно назвать такое произведеніе, въ которомъ глубокій, честный и умный взглядъ на предметъ, имѣющій важность для наиболѣе обширнаго числа людей, высказанъ въ удобной и красивой формѣ.

Г. Некрасовъ имѣетъ полное право на названіе мыслителя. Мало того — это мыслитель глубокій и честный. Въ основѣ его лежитъ высокая гуманность и любовь къ своей родинѣ, не подъ отвлеченнымъ представленіемъ отечества, породившимъ патріотическія стихотворенія Жуковскаго, Розенгейма и Майкова, а подъ живымъ, дѣйствительнымъ образомъ народа. Я бы назвалъ г. Некрасова народнымъ поэтомъ, если бъ прозваніе это не было замарано эстетиками, прилагавшими его ко всякой нечистотѣ. Разумѣется, я не хочу сказать, чтобы стихотворенія г. Некрасова сдѣлались народными пѣснями въ родѣ „Не бѣлы то снѣги"... и не буду приписывать никакой важности тому, что одно изъ са-

мыхъ плохихъ произведеній его распѣвается извозчиками и лакеями. Я не хочу также повторять эстетическихъ нелѣпостей, говоря, будто бы поэзія г. Некрасова вытекла изъ народа. Народнымъ поэтомъ я назвалъ бы г. Некрасова потому, что герой его пѣсней одинъ — русскій крестьянинъ. Но онъ говоритъ о немъ, конечно, какъ человѣкъ развитой, как говорилъ Добролюбовъ; онъ не „поетъ“ его, а думаетъ о немъ, о его бѣдахъ и горѣ, не ограничивается объективнымъ изображеніемъ страданія, но мыслитъ о немъ, и мысли свои, глубокія и свѣтлыя, передаетъ въ прекрасныхъ, свободныхъ стихахъ, въ которые безъ натяжекъ укладывается народная рѣчь, и которые чужды поэтическихъ метафоръ и аллегорій. Очень мало у г. Некрасова стихотвореній, гдѣ героемъ является не народъ; но въ такомъ случаѣ это навѣрно не Наполеонъ на скалѣ, не Прометей съ коршуномъ, не Фаустъ съ Мефистофелемъ, не Демонъ съ Тамарой; этими великолѣпными сюжетами, дающими такой просторъ поэтическимъ вольностямъ, смѣлымъ порывамъ поэтической нескладицы, широкимъ размахамъ художественной кисти, нашъ поэтъ пренебрегаетъ. Герои его, кромѣ народа, тѣ труженики и страдальцы, которые работали мыслію или дѣломъ и, хотя не непосредственно, но принесли свою лепту. По предмету своему, по своему герою стихотворенія г. Некрасова не имѣютъ равныхъ во всей русской литературѣ.

Теперь посмотримъ, что же думаетъ г. Некрасовъ о своемъ героѣ, какъ смотритъ онъ на него и какъ понимаетъ его. Если мы увидимъ, что онъ высказалъ мысли вѣрныя и глубокія, то, конечно, мы будемъ имѣть право высоко поставить этого писателя и, слѣдовательно, признать, что русская публика и особенно молодежь не ошиблась въ выборѣ любимаго поэта.

Естественно, что критикъ „Дня“ разсматриваетъ г. Некрасова именно съ точки зрѣнія его отношенія къ народу. Точка зрѣнія, разумѣется, единственно возможная, когда рѣчь идетъ о стихахъ Некрасова. Но „День“, конечно, не допускаетъ мысли, чтобы издатель „Современника“, литераторъ, дѣятельность котораго сосредоточена въ Петербургѣ, могъ имѣть вѣрный взглядъ на народъ, потому что для

этого, какъ извѣстно, необходимо родиться, вырости и состарѣться въ Москвѣ, начать литературное поприще въ „Москвитянинѣ“, продолжать въ „Днѣ“, и чуть ли даже не принадлежать къ семьѣ Аксаковыхъ, по крайней мѣрѣ, хоть такъ, чтобы дѣдушка автора съ бабушкой Аксакова — его отъ купели восприняли. Соображенія эти самыя честныя, какія могутъ быть приписаны г. Н. Б., потому что всякія другія будутъ для него крайне нелестны. Н. Б. порицаетъ г. Некрасова за то, что въ отношеніи его къ жизни народа виденъ только протестъ. Г. Н. Б. находитъ, что если самый характеръ того періода, когда началась дѣятельность г. Некрасова, не благопріятствовалъ другому отношенію, то во всякомъ случаѣ поэтъ долженъ былъ дать, взамѣнъ отвергаемаго, свой идеалъ. И наконецъ, говоритъ критикъ, рабство навѣки отмѣнено. „Развѣ, однакожъ, говоритъ онъ, не продолжаютъ *нѣкоторые* изъ нихъ (нигилистовъ) еще и въ наши дни скорбныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того, давая теперь угадывать какъ бы скрытую досаду свою, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, отняли у нихъ самое право на ихъ вѣчное негодованіе, навсегда лишивъ ихъ источника самыхъ яростныхъ вдохновеній—не даютъ ли они еще ясно угадывать и того, что самое обращеніе къ „низшей братіи“, вѣчныя взыванія къ ея бѣдствіямъ и страданіямъ подчасъ могли исходить никакъ не отъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а изъ болѣе мутныхъ источниковъ души человѣческой“.

Читатель изъ этого можетъ видѣть, что я только изъ любезности предположилъ бы въ критикѣ нѣкоторое тупоуміе.

На весь этотъ неблаговидный вздоръ можно бы было отвѣтить, что протестъ вовсе еще не обусловливаетъ необходимость идеала, что притомъ всякое отрицаніе есть вмѣстѣ съ тѣмъ положительное желаніе, чтобы прекратилось то положеніе, противъ котораго я протестую. Все это повторялось милліонъ разъ, но только нейдетъ въ прокъ. Поэтому я очень радъ, что г. Некрасовъ представилъ въ своихъ стихотвореніяхъ рядомъ съ протестомъ такіе вѣрные идеалы, что мнѣ нѣтъ необходимости прибѣгать къ повто*ренію этихъ истинъ,* отскакивающихъ отъ лбовъ писателей

извѣстнаго сорта, какъ горохъ отъ стѣны. Правда, идеалъ г. Некрасова не имѣетъ ничего общаго съ идеалами другихъ поэтовъ; онъ не фантастическій какой-нибудь, а возможный, необходимый, несомнѣнный. Идеалъ этотъ построенъ на идеяхъ любви и благосостоянія и выраженъ въ самой осуществимой формѣ. На эту-то положительную сторону произведеній г. Некрасова я и намѣренъ особенно обратить вниманіе, и даже очень благодаренъ г. Н. Б., убѣдившему меня своей статьей, что могутъ быть люди, не понявшіе и не замѣтившіе этой стороны, такъ что указать на нее будетъ не лишнее.

Читатели, безъ сомнѣнія, помнятъ ту страшную картину въ поэмѣ „Морозъ-красный носъ“, гдѣ несчастная вдова крестьянина медленно замерзаетъ, безчувственная къ холоду, погрузившись въ свои тяжкія думы. Печальны ея мысли, и вспоминаются ей грустныя сцены. Только когда смерть уже охватила ее, когда воевода-морозъ уже коснулся ея, когда уже

. . . Дарьюшка очи закрыла,
Топоръ уронила къ ногамъ,

ей видится чудная, розовая картина свѣтлаго, истиннаго счастья (что необыкновенно вѣрно въ отношеніи описанія смерти отъ замерзанія):

И снится ей жаркое лѣто —
Не вся еще рожь свезена,
Но сжата—полегче имъ стало! и проч.

(Выписка оканчивается словами: „И ей изъ сноповъ улыбались румяныя лица дѣтей“...).

Эта картина есть самый полный идеалъ счастья, какой только могла создать фантазія крестьянки; но, конечно, немного прибавитъ къ нему самый развитой человѣкъ, самый великій геній въ мечтахъ о совершенномъ благополучіи людей. Основные элементы этого благополучія здѣсь всѣ: любовь, довольство и привлекательный трудъ среди чистой, прекрасной природы. Это та вершина благополучія, на которой человѣку остается еще только искать наслажденія въ наукѣ и въ искусствѣ; это то счастливое состояніе, гдѣ можно съ полнымъ правомъ проповѣдывать науку для науки и

искусство для искусства. Наконецъ, это тотъ результатъ, къ которому стремится весь прогрессъ и въ которомъ наслажденіе свободною любовью, свободнымъ трудомъ и здоровою бѣдностью изгладило даже мучительное воспоминаніе о прошломъ рабствѣ и нищетѣ. Кто не пойметъ этого, кто пройдетъ мимо этой картины равнодушно или съ банальными похвалами, тотъ пошлый филистеръ, не видящій ничего дальше своего носа и носовъ своего кружка. Отъ такого господина можно даже ожидать, что онъ останется недоволенъ тѣмъ, что эта картина представлена бредомъ умирающей, а не дѣйствительностью. Но поймите же вы, наконецъ, безнадежные филистеры, что въ дѣйствительности ничего подобнаго нѣтъ, что если бы въ минуту смерти крестьянкѣ грезилось ея дѣйствительное прошлое, то она бы увидѣла побои мужа, не радостный трудъ, не чистую бѣдность, а смрадную нищету. Только въ розовомъ чаду опіума или смерти отъ замерзанія могли предстать передъ нею эти чудныя, но никогда не бывалыя картины. Вамъ дѣлается жутко отъ этой сцены смерти. Дѣйствительно, есть отъ чего притти въ ужасъ, и если потрясающее изображеніе бѣдствія есть само по себѣ протестъ, то, конечно, протестъ этотъ такъ же силенъ, какъ велико горе, представленное поэтомъ. Но кто не причастенъ филистерству и пошлости кружковъ, тотъ, прочитавъ предсмертный бредъ Дарьи, пойметъ, что насколько силенъ протестъ, настолько же высокъ и идеалъ, помѣщенный рядомъ съ протестомъ, или лучше, въ немъ же самомъ.

Г. Некрасовъ часто останавливается на судьбѣ русской женщины вообще, особенно же на долѣ крестьянки и, правда, нигдѣ не показалъ онъ намъ въ розовомъ свѣтѣ ея настоящее. Возьмемъ хотя бы 3-ю часть его стихотвореній, гдѣ въ „Дешевой покупкѣ“ онъ представилъ женщину изъ крѣпостного быта:

. . . Созданіе бездомное,
Порабощенное грубымъ невѣждою!

въ „Рыцарѣ на часъ“ женщину—жену и мать, о которой онъ говоритъ:

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ,

Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты,—грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобой разразилася!

Еще печальнѣе доля крестьянки:

Доля ты!—русская долюшка женская!
Врядъ-ли труднѣе сыскать.
Немудрено, что ты вянешь до времени
Всевыносящаго русскаго племени
Многострадальная мать!

И поэтъ показываетъ намъ и жену („Жница") и мать („Орина, мать солдатская"), показываетъ во всей безысходности ея горя, во всемъ ужасѣ ея судьбы. Я бы спросилъ читателя, возможно ли это представленіе, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была такъ печальна, какъ изображаетъ ее г. Некрасовъ? Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшимъ отвѣтомъ на такіе вопросы служитъ то, что все, что есть лучшаго въ Россіи, читаетъ Некрасова и вѣритъ ему.

Однако, г. Н. Б. полагаетъ, что сочувственное изображеніе страданій и горя народа происходитъ у нѣкоторыхъ „изъ мутныхъ источниковъ души, а не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца", и затѣмъ невинно оговаривается, что подъ *нѣкоторыми* онъ не подразумѣваетъ г. Некрасова. Какъ бы то ни было, но г. Н. Б. не признаетъ вѣрности въ изображеніи г. Некрасовымъ крестьянской доли, по крайней мѣрѣ, теперь. Напримѣръ, ему очень не нравится, что г. Некрасовъ не изобразилъ въ „Жницѣ" какого-нибудь „веселаго пейзажика", въ родѣ сбора винограда, что крестьяка, въ стихотвореніи г. Некрасова, роняетъ слезы, трудясь черезъ силу въ полѣ, гдѣ спитъ ея ребенокъ, вмѣсто того, чтобы отличаться „видомъ" „бодрой живости и довольства". Г. Н. Б. не нравится также, что въ поэмѣ „Морозъ-красный носъ" крестьянина постигаетъ горе, что въ ней—смерть, сиротство, бѣда, а не счастіе, веселіе и радость. Оставшись недовольнымъ печальною развязкою поэмы, критикъ заключаетъ, что г. Некрасовъ—отчаянный и положительнѣйшій отрицатель,

нигилистъ; заключаетъ, что „горе его и сокрушеніе по русской родной землѣ“ есть „конечный плодъ нашего мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы образованія, съ его вѣчнымъ стремленіемъ къ какому-то отвлеченно-гуманитарному и космополитическому прогрессу“. Съ апломбомъ, свойственнымъ людямъ, отмежевавшимъ себѣ въ вѣдѣніе всю суть русской жизни, г. Н. Б. рѣшаетъ, что „толпа не приметъ обѣтованій г. Некрасова“.

Всякій, конечно, оцѣнитъ по справедливости сужденія г. Н. Б. о стихотвореніяхъ г. Некрасова. Не трудно сообразить, что уничтоженіе крѣпостного права не могло мгновенно искоренить все горе, лежавшее на крестьянинѣ, и что поэтъ, изображающій „крестьянскую долю“, вѣроятно, еще не вдругъ достигнетъ того, чтобы картины его выходили розовыми и привлекательными, въ то же время оставаясь вѣрными. Довольно также легко оцѣнить по достоинству тотъ мнимый патріотизмъ г. Н. Б., который не выноситъ неподкрашеннаго изображенія народной доли, и требуетъ во что бы то ни стало „веселыхъ пейзажей“. Этотъ балаганный конекъ былъ такъ изъѣзженъ московскими публицистами, что всякій разсудительный человѣкъ очень хорошо знаетъ, что они могутъ сказать по поводу стихотвореній г. Некрасова. Поэтому я давно бы пересталъ говорить о критикѣ „Дня“, если бы не видѣлъ въ немъ замѣчательно полнаго типа понятій и сужденій того кружка, къ которому онъ принадлежитъ. Притомъ субъектъ этотъ доводитъ мнѣнія своего кружка до такихъ размѣровъ, что на немъ удобнѣе показать ихъ безобразіе.

Кто бы могъ, напримѣръ, подумать, что, прочитавъ „Рыцаря на часъ“ г. Некрасова, критикъ вывелъ изъ этого отрывка такое заключеніе, что поэтъ „стыдится своихъ лучшихъ порывовъ и спѣшитъ заглушить ихъ безпощаднѣйшей прозой“. Всякій, кто читалъ этотъ отрывокъ, знаетъ, что, во-первыхъ, герой поэмы не самъ авторъ, а какой-то Валежниковъ. Слѣдовательно, по какому праву критикъ приписываетъ порывы автору? Во-вторыхъ, вполнѣ также ясно, хотя мы имѣемъ только небольшой отрывокъ поэмы, что авторъ имѣлъ въ виду изобразить въ Валежниковѣ человѣка съ благород-

нѣйшею и возвышенною душою, жаждущаго полезной и честной дѣятельности, одареннаго полнымъ пониманіемъ хорошаго и истиннаго, но не имѣющаго достаточно силъ, чтобы бороться побѣдоносно съ мерзостью, его окружающею, и ея вліяніемъ на него самого. Нельзя не замѣтить, что при исполненіи этой задачи автору пришлось побѣдить много затрудненій, потому что тема эта истерта до нельзя разными піитами, изображавшими задумчивыхъ героевъ, исполненныхъ благородства, но изнывающихъ въ борьбѣ съ средою. Такіе герои опошлены до крайности, какъ отъ слишкомъ частаго появленія на сценѣ, такъ и отъ неудачнаго изображенія. Притомъ тема эта весьма неблагодарна, потому что талантливыя натуры, заѣденныя средою, поняты, и ни въ комъ уже не возбуждаютъ симпатіи. Вотъ почему, быть можетъ, мы до сихъ поръ имѣемъ только небольшой отрывокъ этой поэмы. Но въ отрывкѣ этомъ г. Некрасовъ такъ искусно побѣдилъ всѣ трудности, встрѣченныя имъ на пути, что заставляетъ желать продолженія поэмы. Страданія его героя, столь несимпатичныя сами по себѣ, облечены такимъ чистымъ и свѣтлымъ чувствомъ любви къ матери, что невольно возбуждаютъ симпатію. Выраженіе этого чувства есть великолѣпнѣйшій гимнъ, въ которомъ воскресаетъ падшій человѣкъ, и снова готовъ на великое дѣло.

От ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови:
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Нѣтъ, этотъ гимнъ сложенъ не для прославленія страданій благороднаго, но безсильнаго человѣка; это скорѣе апоѳеоза русской женщины, печальная доля которой служитъ главнымъ предметомъ поэзіи г. Некрасова. Страдальческій образъ матери стоитъ здѣсь на первомъ планѣ, и теплое чувство къ ней можетъ заставить читателя полюбить ея слабаго сына, когда онъ говоритъ:

О прости! то не пѣснь утѣшенія,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,

Чтобы кроткія очи твои
Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!
Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый наставила путь...

Исторія Валежникова и причины его страданія намъ неизвѣстны; но во всякомъ случаѣ это страданіе выражено съ такою силою, въ выраженіяхъ его столько чувства, ума и брагородства, что мы не рѣшимся презирать его или смѣяться надъ нимъ, какъ презираемъ талантливыя натуры, которыя загубила среда, и какъ смѣемся надъ разочарованными идіотами, въ родѣ Печорина; мы не рѣшимся презирать и осмѣивать его тогда, когда, проснувшись утромъ, онъ ясно сознаетъ свое безсиліе и неспособность на то, о чемъ думалъ ночью. Надобно замѣтить, что г. Некрасовъ понялъ это очень вѣрно. Дѣйствительно, люди нервнаго темперамента чувствуютъ себя гораздо свѣжѣе и бодрѣе вечеромъ, тогда какъ сангвиники, наоборотъ, утромъ. Валежниковъ, очевидно, человѣкъ нервный, потому что самъ говоритъ:

И пугать меня будетъ могила,
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать...

Такимъ образомъ, при пробужденіи его самымъ понятнымъ и естественнымъ образомъ охватываетъ тяжелое сознаніе своего безсилія, и не только другимъ, но и самому ему ясно, что онъ лишній, безполезный человѣкъ. Но кто подслушалъ его ночную исповѣдь, у того едва ли хватитъ духу бросить въ него укоризною или насмѣшкою. Откуда же усмотрѣлъ г. Н. Б., что онъ устыдился своихъ благородныхъ порывовъ и спѣшитъ заглушить ихъ прозою? Что Валежниковъ страдаетъ, видя свою неспособность осуществить эти порывы,—это ясно; но почему заключилъ г. Н. Б., что онъ стыдится ихъ и намѣренно заглушаетъ,—это вопросъ, разрѣшеніе котораго находится, вѣроятно, въ связи съ мутными источниками, упоминаемыми имъ.

Въ заключеніе московская критика объявляетъ, что *никто не заподозритъ* въ г. Некрасовѣ москвича; понятно,

что это самый тяжелый приговоръ, который онъ могъ произнести, и понятно также, что послѣ этого кружокъ „Дня“ не можетъ находить въ произведеніяхъ г. Некрасова что бы то ни было хорошее. Однако онъ нашелъ. Понравились ему очень одни забытые стишки г. Некрасова, которымъ мѣсто развѣ въ 3-ей части его стихотвореній, въ отдѣлѣ юмористическихъ. Стишки эти въ родѣ того, что

Краше твой вѣнецъ лавровый *)
Побѣдоноснаго вѣнца,

и, слѣдовательно, весьма напоминаютъ стихи Добролюбова:

Пусть лавръ побѣдный украшаетъ
Героевъ славное чело... и т. д.

Ни такія похвалы ни такія порицанія не коснутся произведеній г. Некрасова. Стихи его у всѣхъ въ рукахъ, и будятъ умъ и увлекаютъ какъ своими протестами, такъ и идеалами. За него не страшно и въ томъ отношеніи, что сила его таланта упадетъ, и что будущія произведенія его останутся ниже прежнихъ, что часто бываетъ съ поэтами, поющими Наполеоновъ и Александровъ Македонскихъ... У кого стихи текутъ изъ мысли, а мысль сильна и свѣжа, тому не грозитъ эта участь.

В. Зайцевъ.

* * *

Стихотворенія Некрасова. Изданіе 4-е. Три части. СПБ. 1864 г. Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева. Цѣна 2 р. 25 к.; отдѣльно 3 ч. 1 р. 25 к. **).

Двѣ первыя части представляютъ полную перепечатку изданія 1862 г., съ тою только разницею, что изъ нихъ исключены и отнесены въ 3-ю часть два стихотворенія („Я покинулъ кладбище унылое“ и „Размышленія у параднаго крыльца“), не бывшія въ изданіи 1861 г. Затѣмъ въ 3-ю часть вошло все написанное г. Некрасовымъ послѣ появленія 3-го изданія (1862), всего 18 стихотвореній и въ видѣ

*) Хотя въ сущности не *краше*, а *свѣтлѣе*, и не *лавровый*, а *терновый*, но я оставилъ по-московски: вѣрно, такъ патріотичнѣе.

**) „Книжный Вѣстникъ“ 1864 г., № 11.

приложенія добавлено 6 юмористическихъ стихотвореній 1842—1845 гг. Изъ этихъ стихотвореній одно: *Чиновникъ* было напечатано въ 1 части „Физіологіи Петербурга“ (1843), одно: *Отрывки изъ путевыхъ записокъ гр. Гаранскаго*—въ первомъ изданіи (1856), а остальные въ книжечкахъ: „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“ (1843). Напечатанныя въ первомъ изданіи стихотворенія: *Новый годъ* и *Колыбельная пѣсня*, пропущенныя во 2 и 3 изданіяхъ, не вошли и въ 4-е. Кромѣ того, не внесено напечатанное въ „Современникѣ“ 1861 г. прекрасное стихотвореніе *Папаша*. Въ предисловіи къ „приложеніямъ“ г. Некрасовъ проситъ своихъ родныхъ и библіографовъ: не перепечатывать послѣ его смерти ничего остального изъ написаннаго имъ въ первый періодъ его поэтической дѣятельности, исключая того, что теперь перепечатано имъ въ 3-ей части и будетъ напечатано въ будущей 4-й. Просьба очень основательная, ибо съ 1838 по 1846 гг. Некрасовъ писалъ много, и большая часть изъ написаннаго въ это время не отличается никакими особенными достоинствами и громоздило только изданіе, въ ущербъ поэтическому достоинству прекрасныхъ стихотвореній, явившихся въ періодъ времени съ 1847 по 1859 годъ. Подробная библіографическая статья о всѣхъ сочиненіяхъ г. Некрасова была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1863 г. № 9. Руководствуясь ею, желающіе могутъ ознакомиться со *всѣми* сочиненіями г. Некрасова и со всѣми изданіями сборниковъ и альманаховъ, сдѣланными имъ въ разное время *).

Изъ „Книжнаго Вѣстника“ 1864 г.

---

*) Еще въ 1864 г. помѣщены статьи о Некрасовѣ: въ „Библіотекѣ для Чтенія“ № 11; въ отдѣльномъ изданіи: „О преподаваніи русской литературы“, В. Стоюнина, первое изданіе, въ статьѣ подъ заглавіемъ: Разборъ „Музы“ Некрасова сравнительно съ „Музой“ Пушкина (во второмъ изданіи книги Стоюнина (Спб. 1869 г.) этого разбора уже нѣтъ).

Примѣч. В. Зелинскаго.

1865 г.

*) Бываютъ зимой ужасающія явленія. Одно изъ нихъ описалъ Некрасовъ съ поразительною естественностью и силою. Вотъ оно: Умеръ крестьянинъ; его схоронили; жена его на это время отвела дѣтей своихъ къ знакомымъ, чтобы кто-нибудь присмотрѣлъ за ними. Вернувшись домой съ кладбища, она хотѣла взглянуть на нихъ, приласкать ихъ; но ни смотрѣть ни ласкать некогда: изба не топлена, и дома дровъ—ни полѣна. Она отправляется въ лѣсъ рубить ихъ.

Морозно. Равнины бѣлѣютъ подъ снѣгомъ;
Чернѣется лѣсъ впереди.
Савраска плетется ни шагомъ ни бѣгомъ.
Не встрѣтишь души на пути.
Какъ тихо! Въ деревнѣ раздавшійся голосъ
Какъ будто у самаго уха гудетъ;
О корень древесный запнувшійся полозъ
Стучитъ и визжитъ, и за сердце скребетъ.
Кругомъ поглядѣть нѣту мочи:
Равнина въ алмазахъ блеститъ.
У Дарьи слезами наполнились очи;
Должно быть, ихъ солнце слѣпитъ.
Въ поляхъ было тихо; но тише
Въ лѣсу и какъ будто свѣтлѣй.
Чѣмъ далѣ—деревья все выше,
А тѣни длиннѣй и длиннѣй.
Деревья, и солнце, и тѣни,
И мертвый могильный покой...
Но чу! заунывныя пѣсни,
Глухой, сокрушительный вой!
Осилило Дарьюшку горе,
И лѣсъ безучастно внималъ,
Какъ стоны лились на просторѣ,
И голосъ рвался и дрожалъ.
И солнце, кругло и бездушно,
Какъ желтое око совы,
Глядѣло съ небесъ равнодушно
На тяжкія муки вдовы.

---

*) „Журналъ для дѣтей“, 1865 г., № 12.

И много ли струнъ оборвалось
У бѣдной крестьянской души,
Навѣки сокрыто осталось
Въ лѣсной нелюдимой глуши.
Великое горе вдовицы
И матери малыхъ сиротъ
Подслушали вольныя птицы,
Но выдать не смѣли въ народъ.

Не псарь по дубровушкѣ трубитъ,
Гогочетъ сорви-голова;
Наплакавшись, колетъ и рубитъ
Дрова молодая вдова.
Срубивши на дровни бросаетъ—
Наполнить бы ихъ поскорѣй,—
И врядъ ли сама замѣчаетъ,
Что слезы все льютъ изъ очей:
Иная съ рѣсницы сорвется
И на снѣгъ съ размаху падетъ,
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжетъ;
Другую на дерево кинетъ,
На плашку,—и смотришь, она
Жемчужиной крупной застынетъ,
Бѣла, и кругла, и плотна.
А та на глазу поблистаетъ,
Стрѣлой по щекѣ побѣжитъ,
И солнышко въ ней поиграетъ...
Управиться Дарья спѣшитъ,
Знай, рубитъ, не чувствуетъ стужи,
Не слышитъ, что ноги знобитъ,
И, полная мыслью о мужѣ,
Зоветъ его, съ нимъ говоритъ...

(Далѣе описывается въ высшей степени естественное причитанье несчастной женщины: тутъ въ безсвязномъ броженіи тоскливой мысли проходитъ вся трудовая жизнь крестьянки, припоминается прошедшее, сами собою навязываются опасенія обидъ, притѣсненій, которыя могутъ пасть на вдову. Между тѣмъ, тоскуя и плача, она все рубитъ да рубитъ дрова. Наконецъ, нарубила столько, что не увезть на возу).

Окончивъ привычное дѣло,
На дровни поклала дрова,
За вожжи взялась и хотѣла
Пуститься въ дорогу вдова.

Да вновь призадумалась, стоя,
Топоръ машинально взяла
И, тихо, прерывисто воя,
Къ высокой соснѣ подошла.
Едва ее ноги держали;
Душа истомилась тоской;
Настало затишье печали—
Невольный и страшный покой!
Стоитъ подъ сосной чуть живая,
Безъ думы, безъ стона, безъ слезъ.
Въ лѣсу тишина гробовая;
День свѣтелъ; крѣпчаетъ морозъ.

(Тутъ поэтъ олицетворяетъ морозъ въ видѣ лѣсного волшебника, отъ дыханья котораго Дарьюшка засыпаетъ и во снѣ видитъ очаровательныя картины счастья — мужа, свѣжаго, здороваго и веселаго, дѣтей, ихъ довольство и наслажденіе, лѣтнія работы, слышитъ пѣсни деревенскія, и улыбается; а между тѣмъ, она замерзаетъ).

Чу, пѣсня! знакомые звуки!
Хорошъ голосокъ у пѣвца...
Послѣдніе признаки муки
У Дарьи исчезли съ лица;
Душой улетая за пѣсней,
Она отдалась ей вполнѣ...
Нѣтъ въ мірѣ пѣсни прелестнѣй,
Которую слышимъ во снѣ.
О чемъ она—Богъ ее знаетъ:
Я словъ уловить не умѣлъ;
Но сердце она утоляетъ:
Въ ней дальняго счастья предѣлъ;
Въ ней кроткая ласка участья,
Обѣты любви безъ конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходитъ съ лица.

—

Какой бы цѣной ни досталось
Забвенье крестьянкѣ моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалѣть мы не будемъ о ней.
Нѣтъ глубже, нѣтъ слаще покоя,
Какой посылаетъ намъ лѣсъ,
Недвижно, безтрепетно стоя
Подъ холодомъ зимнихъ небесъ.

Нигдѣ такъ глубоко и вольно
Не дышитъ усталая грудь,
И ежели жить намъ довольно,
Намъ слаще нигдѣ не уснуть!

—

Ни звука! Душа умираетъ
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, какъ покоряетъ
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты синій
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,
Въ серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудесъ,
Влекущій невѣдомой тайной,
Глубоко-безстрастный... Но вотъ
Послышался шорохъ случайный:
Вершинами бѣлка идетъ;
Комъ снѣгу она уронила
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ.
А Дарья стояла и стыла
Въ своемъ заколдованномъ снѣ...

Вотъ зимняя исторія! Пока ее читаешь, сердце такъ наболѣетъ, такъ много мыслей и чувствъ взворошится въ душѣ, что не знаешь, на чемъ остановиться. Прежде всего поражаетъ этотъ разладъ между ровнымъ, стройнымъ, торжественнымъ ходомъ природы и волненіями человѣческой жизни, неожиданными, непредвидѣнными превратностями нашей судьбы. Потомъ, никакъ не защитишься отъ чувства печали, когда представишь, что какое бы несчастье, какое бы горе ни случилось съ человѣкомъ, природа остается къ нему безучастною, безжалостно-холодной; отъ печали его не поникнетъ головкой ни одинъ цвѣтокъ, отъ рыданій его не встрепенется сочувствіемъ ни одна клѣточка, ни одинъ сосудъ дерева; солнце весело и прелестно играетъ въ слезѣ страдающей матери и жены, морозъ сковываетъ ее въ прекрасную бѣлую жемчужину. — Да, и въ людяхъ-то, которымъ это понятно, которымъ дано чувство, чтобы понимать это, тоже — не много участія: пришли, простились съ покойникомъ, положили по свѣчкѣ, да и пошли домой; закопали въ землю своего брата, своего товарища, сосѣда, знакомаго, друга, потолковали, да и взялись за дѣло, или без-

дѣлье, и о немъ ужъ помину нѣтъ. Конечно, иначе это и быть не можетъ; а все-таки жаль человѣка, котораго покидаютъ и забываютъ. Но сильнѣе, рѣзче, раздражительнѣй всего дѣйствуетъ на душу воображеніе нужды, тяготящей до того, что мужику некогда отдаться самому глубокому, самому святому чувству; заботы, мелкія, ничтожныя, унизительныя ежеминутно поглощаютъ все существо его; и такъ идутъ день-за-день многіе десятки лѣтъ безцвѣтной, однообразной и сухой вереницей. И что бы у него ни случилось—свадьба, крестины, похороны, заѣхалъ гость, уѣзжаетъ на чужую сторону дочь или сынъ—все забота, какъ бы *справиться,* все думай о кускѣ хлѣба, о полѣнѣ дровъ, о лаптяхъ, объ онучахъ, о шапкѣ на голову, о соломѣ на крышу.

Картины природы описаны съ увлекательною прелестью; наслаждаться бы ими только, упиваться бы этой поэзіей игры свѣта, дробящагося въ серебрѣ инея, въ алмазахъ снѣга, этой задумчивостью и торжественностью лѣсного затишья: да мѣшаютъ слезы вдовы, прожигающія снѣгъ, ея плачъ, ея рыданія, возмущающія тишину. Но горе ея выражается не одними слезами, не однимъ стономъ и плачевными пѣснями, а вмѣстѣ торопливой и печальной работой: бѣдной женщинѣ хотѣлось поскорѣй нарубить дровъ — она мечетъ на дровни бревно за бревномъ, плаху за плахой и, отдавшись чувству, не замѣчаетъ, что ужъ нарубила довольно, больше, чѣмъ надобно. Въ жалобахъ своихъ она выражаетъ печаль не столько о себѣ, о своей безпомощности, о своемъ одиночествѣ, сколько о преждевременной кончинѣ мужа и о дѣтяхъ. Въ предсмертномъ сновидѣніи ее утѣшаютъ мечты, въ которыхъ представляются ей картины былого, живого счастья. Слава Богу, что она хоть въ обманахъ сновидѣнья находитъ отраду, послѣднюю отраду въ жизни. Но каково будетъ осиротѣлымъ дѣтямъ и осиротѣлымъ старикамъ узнать, что она замерзла въ лѣсу! Что будетъ съ Савраской? Поплетется ли онъ въ деревню ни бѣгомъ ни шагомъ? Или также замерзнетъ? Или волки съѣдятъ его? Вѣдь, и его жаль! — Но, можетъ быть, бѣдная Дарья еще проснется; можетъ быть, сверкнетъ у нея мысль

о дѣтяхъ, возбудить въ ней силу жизни, она вырвется изъ этого заколдованнаго сна и вернется въ свою семью— горевать и работать для ея счастья. Безъ этого предположенія, намъ нѣтъ возможности наслаждаться описаніемъ впечатлѣній покоя зимняго лѣса; а оно художественно въ высшей степени: въ немъ передана вся сила волшебства дикой природы, которая можетъ быть понятна только жителю сѣвера:

„Ни звука! Душа умираетъ
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, какъ покоряетъ
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты синій
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,
Въ серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудесъ,
Влекущій невѣдомой тайной,
Глубоко-безстрастный...."

Тутъ нѣтъ живописи, блестящей подробностями; картина рисуется массами предметовъ и увлекаетъ далекою, безпредѣльной перспективой; тутъ нѣтъ разбора различныхъ ощущеній: они всѣ сливаются въ одно спокойное торжественное созерцаніе невѣдомой тайны. Одно сознаніе творческой безконечной силы поглощаетъ всю душу, наполняетъ и очаровываетъ ее невозмутимымъ спокойствіемъ*).

Изъ „Журнала для дѣтей" 1865 г.

1866 г.

**) Николай Алексѣевичъ Некрасовъ... лучшій современный русскій поэтъ. Внѣшней отдѣлкой стиха онъ не превосходитъ другихъ поэтовъ, не щеголяетъ особенною лег-

*) Еще за 1865 г. см. о Некрасовѣ: въ „Сѣверномъ Сіяніи" № 2, стр. 31—36 (ст. Вл. Зотова о поэмѣ „Морозъ—красный носъ"); „Циркуляры Одесскаго учебнаго округа", № 1 (ст. Денисовича о „Несжатой полосѣ"); также упоминается въ сочиненіяхъ А. В. Дружинина:—см. томъ VI (изд. 1865 г.), стр. 634, 684; т. VII, стр. 488, 494, также на страницахъ: *182, 245*, 312 и 413.

**) „Иллюстрированная Газета" 1866 г., № 2.

костью и звучностью стиха, богатствомъ риѳмъ. Стихъ Некрасова часто тяжелъ; но не внѣшней стороной стихотвореній должны мы измѣрять степень дарованія поэта, а его значеніемъ въ жизни общества, его заслугами передъ согражданами. Если разсмотрѣть поэзію Некрасова съ этой точки зрѣнія, его смѣло можно считать лучшимъ нашимъ поэтомъ. Многіе, конечно, думаютъ въ наше время, что такъ называемыя изящныя искусства совершенно безполезны, не больше, какъ пріятное препровожденіе времени. Не будемъ доказывать, до какой степени ложно это убѣжденіе; скажемъ только, что, и при этомъ невыгодномъ взглядѣ на поэзію, Некрасовъ сдѣлалъ ее полезною, въ глазахъ такъ называемыхъ реалистовъ, и самъ, несмотря на то, что былъ только поэтомъ, а не ворочалъ грудами дѣлъ и полками—сдѣлался полезнѣе, чѣмъ десятки воителей и администраторовъ. Поэзія Некрасова имѣетъ сходство съ поэзіей Кольцова; оба они брали сюжетомъ своихъ произведеній жизнь низшихъ классовъ, оба равно сочувствовали имъ въ ихъ горѣ и радовались съ ними ихъ радостями; но разница въ томъ, что Кольцовъ, происходя самъ изъ среды народа и стоявшій не много чѣмъ выше массы, чтобы лучше понять ее, сливается съ ней, тогда какъ Некрасовъ, по развитію стоящій выше ея, старается возвысить ее. Какъ Кольцову принадлежитъ слава поэта, ознакомившаго впервые общество съ нравственнымъ достоинствомъ низшихъ классовъ, особенно крестьянства, такъ Некрасовъ можетъ гордиться тѣмъ, что первый открылъ глаза обществу на страданія нашей меньшей братіи, заставилъ общество ей сострадать, сочувствовать, а отъ сочувствія до дѣйствительной помощи—недалеко.

Изъ „Иллюстрированной Газеты“ 1866 г.

* * *

*) Вся поэтическая дѣятельность Некрасова, замѣчательнаго и по своему поэтическому таланту, и по своимъ строгимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени вѣрнымъ

*) „Воскресный Досугъ“ 1866 г. № 171.

и правдивымъ взглядамъ на жизнь и на искусство, посвящена родной землѣ. Уже за одно это ему должны быть глубоко благодарны, особенно теперь, когда говорится такъ много словъ и дѣлается такъ мало дѣла, что обыкновенно характеризуетъ переходныя эпохи въ жизни общества. Но у Некрасова добрыя намѣренія блистательно перешли въ дѣло, и мы должны считать его главой, ведущимъ народъ къ далекой, хоть и славной цѣли — общему усовершенствованію. Некрасовъ, дѣйствительно, представитель истинной поэзіи, и хотя многіе въ этомъ не сознаются, но огромное вліяніе этого поэта и его таланта на общество чувствуется и признается всѣми безпристрастными людьми. По этимъ отношеніямъ, связывающимъ его съ обществомъ, по этой пользѣ, которую онъ принесъ ему, Некрасова можно смѣло назвать лучшимъ русскимъ поэтомъ. Конечно, поэтическій талантъ Некрасова не особенно геніаленъ, но если мы возьмемъ стихъ звучный, блестящій, красивый, стихъ Майкова или Фета, и, сравнивъ его съ иногда шероховатымъ и подчасъ тяжелымъ стихомъ Некрасова, спросимъ, который изъ поэтовъ сильнѣе производитъ впечатлѣніе, думаемъ, что всякій, истинно развитой и здравомыслящій человѣкъ, не колеблясь предпочтетъ Некрасова. Въ чемъ кроется причина такого страннаго, съ перваго взгляда, предпочтенія? Да очень просто: звучный, гладкій стихъ однихъ всю свою силу и значеніе получаетъ только въ этой внѣшности, за которой часто скрывается какая-нибудь узкая мысль, какой-нибудь односторонній взглядъ, а иногда и вовсе ничего не скрывается, тогда какъ тяжелый стихъ Некрасова, не пренебрегая внѣшностью, но и не ставя ее на первый планъ, обращаетъ все вниманіе на значеніе стиха, на его внутреннюю сторону, на мысль, имъ выраженную. Но Некрасовъ не удовлетворился этимъ, не остановился, а, выработавъ серьезный и вѣрный взглядъ на искусство, пошелъ далѣе, помня, что прежде чѣмъ быть поэтомъ, онъ долженъ быть гражданиномъ. Онъ соединилъ въ себѣ оба высокія званія и явился первымъ русскимъ поэтомъ-гражданиномъ. Поэтому, если разсматривать его произведенія, то, отдавъ имъ должное съ точки зрѣнія *искусства, надо* посмотрѣть на нихъ и съ точки зрѣнія гра-

жданственности. Произведенія Некрасова выдержатъ и этотъ строгій судъ, выйдутъ изъ него съ честью. Всякій, кто читалъ его „Коробейниковъ“, „Морозъ“, „На Волгѣ“, „Извозчика“, „Тройку“, „Школьника“, „Пѣсню Еремушки“ и мн. др., сознается, что они не только безусловно прекрасны въ художественномъ отношеніи, но и полны глубокаго значенія для русскаго общества. Въ нихъ онъ первый затронулъ такіе вопросы, которыхъ долго до него не замѣчали, или просто боялись затрогивать; въ нихъ онъ представляетъ обществу, какъ живутъ младшіе члены его, и, съ грустью и состраданіемъ описывая ихъ положеніе, укоряетъ старшихъ членовъ за то, что они допустили своихъ собратій опуститься такъ низко, и до сихъ поръ многіе не хотятъ подать имъ руки, чтобъ вырвать ихъ изъ грязи и поставить на ступень, предназначенную человѣку. Въ этомъ указываніи обществу его язвъ, но не съ цѣлью растравить ихъ, а напротивъ, желая залѣчить, уничтожить, заключается глубокое значеніе Некрасова въ русской литературѣ. Постоянно обращаясь къ низшимъ классамъ, вызывая состраданіе, сочувствіе къ нимъ высшихъ —онъ такимъ образомъ занялъ благородную роль представителя первыхъ, защитника ихъ интересовъ и, надо сказать, на этомъ мѣстѣ принесъ онъ посильную, но важную по своимъ послѣдствіямъ пользу. Онъ не зарылъ своего таланта въ землю, а напротивъ, слѣдуя выработанному имъ взгляду, сдѣлалъ все, что долженъ сдѣлать гражданинъ, и даже больше, чѣмъ сколько мы требуемъ отъ поэта. Таковы должны быть и всѣ поэты; они должны понять, что имъ слѣдуетъ не заключаться въ тѣсную сферу искусства, а свой талантъ —употребить на служеніе обществу, или, еще лучше, на служеніе всему человѣчеству...

Стихотвореніе „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“ принадлежитъ къ лучшимъ и удачнѣйшимъ произведеніямъ нашего замѣчательнаго поэта—Н. А. Некрасова. Мы не скажемъ, чтобъ оно было проникнуто теплымъ чувствомъ грусти и состраданія къ человѣчеству болѣе другихъ его стихотвореній, но въ немъ затронутъ вопросъ, который невольно заставляетъ задумываться и вызываетъ много тяжелыхъ и грустныхъ мыслей, и затронутъ онъ такъ, что это простое,

повидимому, стихотвореніе вызываетъ изъ глазъ слезы. Содержаніе его просто: это грустная повѣсть, гдѣ слабые находятся подъ гнетомъ сильныхъ и, гдѣ изъ этой вопіющей несправедливости, изъ этого неестественнаго положенія исходъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ, при существованіи прежняго порядка дѣлъ, при прежнемъ строѣ жизни общества. Только здѣсь существомъ страдающимъ, угнетеннымъ является женщина, и это еще болѣе привлекаетъ къ этому существу симпатію и дѣлаетъ это стихотвореніе еще болѣе замѣчательнымъ. Бѣдная женщина эта съ дѣтства чувствовала на себѣ гнетъ, дѣлавшій еще хуже ея, и безъ того тяжелое, какъ у всякой русской женщины, положеніе. Сперва подавлялъ ея самостоятельность гнетъ отца, потомъ она, какъ товаръ, перешла въ руки мужа, который также, пользуясь своими правами, въ настоящее время справедливыми только въ глазахъ самыхъ грубыхъ и неразвитыхъ людей—безчеловѣчно угнеталъ ее. Но не выдержала она—гнилыя общественныя условія и гнетъ, столько лѣтъ надъ ней тяготѣвшій, не успѣли сломать ея могучей натуры: она бѣжала отъ деспота мужа и встрѣтилась съ человѣкомъ, котораго полюбила. Но не на радость было ей и это: все счастье, которое ихъ ожидало, погибло глупо, навсегда, отъ недостатка матеріальныхъ средствъ. Сынъ ихъ умеръ, и мать, чтобъ купить ему гробъ и утолить мучившій ее голодъ, должна была продать себя и вступить въ разрядъ тѣхъ женщинъ, которыхъ такъ глубоко презираетъ наше высоко-нравственное общество. Впрочемъ, она давно уже и нѣсколько разъ была продаваема, и общество молчало, глядя на все это, какъ на дѣло совершенно натуральное и справедливое; но какъ только она сама рѣшилась продать себя, что было единственнымъ исходомъ изъ ея положенія, это общество, которое не дало ей куска хлѣба, чтобъ утолить голодъ, побудившій ее къ такому поступку, отшатнулось отъ нея и подавило ее своимъ презрѣніемъ... Да, много думъ вызываетъ это стихотвореніе и будетъ вызывать до тѣхъ поръ, пока проклятія поэта, теперь безполезно замирающія, сдѣлаютъ, наконецъ, свое дѣло: общество воспрянетъ, сброситъ съ себя всю ложь и гниль, отъ которой ему давно пора освободиться, и смѣло пойдетъ впе-

редъ, куда уже давно призываютъ его отдѣльныя личности, во имя истины, добра и любви...*)

Изъ „Воскреснаго Досуга“ 1866 г.

1867 г.

Писаревъ въ статьѣ: „Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“ мимоходомъ отзывается и о Некрасовѣ.

**) „У нашихъ лириковъ, говоритъ онъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ физіономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія треволненія ихъ собственнаго узенькаго психическаго міра; какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно при такой-то разлукѣ, что шевельнулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ—все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ больно мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какимъ манеромъ любитъ свою возлюбленную г. Фетъ, или г. Мей, или г. Полонскій? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскимъ поэтомъ, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похожденій и нѣжныхъ чувствованій.

---

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1866 г.: „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 78 („Пѣсни о свободномъ словѣ“); „Живописное Обозрѣніе“, №№ 13 и 14, стр. 193 и 215 (ст. В. Быкова).

**) Сочиненія Д. И. Писарева. Ч. 1-я.

Впрочемъ, опять-таки говорю, вы вольны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, воленъ обсуждать вашу дѣятельность, какъ *мнѣ* угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на одни мои глаза покажется больно пустою и безцвѣтною. Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простого человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: „Филантропъ", „Эпилогъ къ ненаписанной поэмѣ", „Ѣду ли ночью по улицѣ темной", „Саша", „Живя согласно съ строгою моралью",—тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаетъ и любитъ живая Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современнаго развитого человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, трезвое міросозерцаніе, какъ творца: „Трехъ смертей", „Савонароллы", „Приговора" и т. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ версификаторовъ, о которыхъ я говорилъ на предыдущей страницѣ".

Подводя итоги своей статьи („Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ"), Писаревъ между прочимъ говоритъ: „Я считаю трехъ названныхъ мною романисговъ (Пис. Тург. и Гонч.) важнѣйшими представителями современной поэзіи и отвергаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова*).

Д. Писаревъ.

---

*) Критическая статья Писарева—„Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ" первоначально появилась въ печати въ 1861 г., въ „Русскомъ Словѣ", №№ 11 и 12.—Еще Писаревъ упоминаетъ о Некрасовѣ (въ подобномъ-же смыслѣ) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ сочиненій (см. часть II, стр. 203 *и 224; часть* VI, стр. 82).

1868 г.

*) Упоминая о стихотвореніяхъ Некрасова, помѣщенныхъ въ январской книгѣ „Отеч. Записокъ" за 1868 г., М. А. Загуляевъ говоритъ: „Странное впечатлѣніе производили на меня эти плоды поэтическихъ досуговъ нѣкогда столь любимаго публикою стихотворца. Лично мы никогда не сочувствовали жанру г. Некрасова. На насъ всегда непріятно дѣйствовало его натягиваніе за волоса разныхъ идеекъ гражданской скорби, но все-таки мы не могли не признать творческой силы и потрясающаго эффекта многихъ изъ этихъ стихотвореній. Чѣмъ-то могучимъ вѣяло отъ стиха г. Некрасова, и это невольно заставляло относиться съ уваженіемъ даже и къ такимъ вещамъ, какъ „Филантропъ" и нѣкоторыя позднѣйшія сатиры, напримѣръ „Убогая и нарядная" и проч. Увы! ничего подобнаго не встрѣтили мы въ двухъ новыхъ сатирахъ г. Некрасова: „Судъ" и „Причта о киселѣ". Чѣмъ-то старческимъ, безсильнымъ вѣетъ отъ этихъ сатиръ, юморъ поэта принимаетъ какой-то водевильный характеръ (особенно въ „Причтѣ о киселѣ"), его сатира мельчаетъ, размѣниваясь на балагурство, ни одного крика честнаго негодованія, ни одного сильнаго слова... Сопоставляя эти отрицательныя качества со слабостью третьяго стихотворенія—„Выборъ", имѣющаго чисто лирическій характеръ, невольно приходитъ въ голову мысль, что пѣсенка г. Некрасова спѣта, и дарованіе его выдохлось".

М. Загуляевъ.

* * *

**) Г-нъ Н. Соловьевъ, обсуждая сліяніе „Современника" съ „Отечественными Записками", въ статьѣ „Критика направленій" между прочимъ говоритъ:

„Если люди положительнаго направленія ничему особенному не могутъ въ настоящее время радоваться, то зато

---

*) „Всемірный Трудъ" 1868 г., № 2. Статья „Столичная жизнь".

**) „Всемірный Трудъ" 1868 г. № 4.

наши отрицатели должны отъ всей души благодарить судьбу за ниспосланныя на нихъ милости. Праздникъ на ихъ улицѣ. Исторія затянулась опять надолго. Еще такъ недавно не было ни для кого секретомъ, что журналы отрицательнаго направленія начали терять кредитъ, подписку, словомъ падать. Но имъ не дали умереть своей собственной смертью, и вотъ новый фениксъ опять возсталъ изъ своего пепла. Возставши для новой жизни, онъ, впрочемъ, не сразу выступилъ на поприще дѣятельности. Сперва носились въ обществѣ слухи о намѣреніи возстановить „Современникъ;“ но потомъ сдѣлалось общеизвѣстнымъ, что „Современникъ“ въ настоящемъ, неподдѣльномъ своемъ видѣ, открытъ быть не можетъ. За этимъ опять сдѣлалось тихо, и потомъ вдругъ раздалась вѣсть, что „Современникъ“ соединяется съ „Отечественными Записками“ и что давно насиженное мѣсто будетъ занято людьми, оставшимися безъ мѣста. Словомъ, сдѣлалось несомнѣннымъ, что червякъ направленія зашевелился опять и одна половинка его пристала, присосалась къ г. Краевскому. Обстоятельство это считаемъ мы въ нѣкоторомъ родѣ событіемъ въ литературѣ. До сихъ поръ „Отечественныя Записки“, несмотря на свою кажущуюся скромность и солидность, наносили по временамъ отрицателямъ самые сильные удары. „Время“ и „Библіотека для Чтенія“ еще мирволили съ ними, а иногда даже вступали и въ нѣжности; „Отечественныя же Записки“ всегда болѣе или менѣе выпускали противъ нихъ ехидныя статьи, отъ которыхъ „Современнику“ и „Русскому Слову“ оставалось только отмалчиваться. Даже когда „Голосъ“ въ первые годы своего существованія не установился въ своихъ тенденціяхъ, „Отечественныя Записки“ неизмѣнно старались противодѣйствовать отрицателямъ. Понятно теперь, что для ихъ партіи было въ высшей степени выгодно занять ту позицію, съ которой пущено въ нихъ столько вредныхъ снарядовъ. Самое возстановленіе „Современника“, если бы оно осуществилось, не пошло бы имъ такъ въ прокъ, какъ проповѣдь идеи этого журнала съ каѳедры умѣреннаго направленія. „Современникъ“ въ послѣдній годъ сталъ ужъ терять подписку; „*Отечественныя* же Записки“, проѣхавшія столько десятилѣ-

тій по рельсамъ русской литературы, не могли вдругъ остановиться. Новый возница, новый экипажъ и сѣдоки между тѣмъ могли возбудить любопытство публики, тѣмъ болѣе, что старые поклонники „Отечественныхъ Записокъ" не могли отъ нихъ отойти. Что вкусъ, стремленіе къ поглощенію „Отеч. Зап.", иниціатива нападенія на этотъ постъ возникли въ головѣ отрицателей, что г. Краевскій тутъ игралъ не активную, а пассивную роль, въ этомъ и сомнѣнія не можетъ быть для людей, понимающихъ дѣло, а не судящихъ только по объявленіямъ. Прогрессисты тутъ обошли консерваторовъ. На то, дескать, вы и консерваторы. Это все равно, что исторія съ нашими клубами, принявшими теперь такой модный оттѣнокъ. Ужъ съ какой бы стати съ клубомъ художниковъ сойтись людямъ, понимающимъ искусство à la Прудонъ и пишущимъ стихи à la маіоръ Бурбоновъ. Такъ нѣтъ же, засѣли и тамъ. Мы нарочно указываемъ на этотъ, въ сущности, ничтожный фактъ потому, чтобы показать, какою силой интриги, способностью являться во всевозможныхъ образахъ, поддѣлываться подъ всѣ положенія, обладаютъ наши отрицатели.

Между тѣмъ, какъ люди положительнаго направленія все еще спорятъ, на чемъ имъ сойтись: на народѣ или на дворянствѣ, на господствующемъ языкѣ или на господствующей церкви, для отрицателей всѣ подобные вопросы, доводящіе иногда до самой неблагоразумной вражды,—не существуютъ. Они ихъ игнорируютъ. Ни демократизма ни аристократизма для нихъ нѣтъ, а есть только одинъ семинаризмъ. Спѣшимъ оговориться, что подъ словомъ этимъ мы разумѣемъ не что нибудь бранное, какъ это у насъ водилось до сихъ поръ, а просто особый слой или новую породу людей, прошедшихъ сквозь огонь и воду той ужасной школы, которую когда-либо создавала старая педагогія. Эти прошедшіе черезъ всѣ мытарства семинарскаго воспитанія въ свою очередь уже повліяли на другихъ силою и энергіей, ими пріобрѣтенныхъ. И вотъ такимъ образомъ у насъ и образовался цѣлый классъ общества, который никакъ не хочетъ слиться съ другими. Въ этомъ-то и есть вся причина ихъ стремленія заключить себя въ комунны, ассоціаціи, отдѣль-

ные кружки, огородить себя отъ общества подъ видомъ молодого поколѣнія, молодой или юной Россіи, реалистовъ, нигилистовъ... Даже и на женщинахъ нашихъ отразилась эта смѣсь семинарской грубости съ чисто-военной храбростью— явились холостыя дѣвушки. Какихъ-нибудь задатковъ революціоннаго движенія, какъ воображали себѣ нѣкоторые трусливые люди, у нихъ нѣтъ и слѣда: опасность тутъ не для государства, а для общества, не для законовъ, а для принциповъ жизни. Не гражданинъ можетъ пострадать отъ наплыва всѣхъ этихъ теорій и словоизверженій, а просто человѣкъ и семья. Въ юридическомъ и философскомъ отношеніяхъ они нерѣдко были и правы, но въ отношеніи къ жизни они самые великіе грѣшники на Руси.

Со стороны той половины „Современника“, которая теперь завладѣла „Отечественными Записками“, была впрочемъ большая смѣлость выступить въ одиночку. Ученіе о новой породѣ людей, о новыхъ воззрѣніяхъ на искусство и науку не только не дало имъ ни одного поэта и ни одного ученаго, но даже отняло у нихъ и тѣ немногіе дары, которыми ихъ Богъ наградилъ. Нельзя поэтому было написать болѣе обманчивой рекламы, какъ ту, съ которой выступили новыя „Отечественныя Записки“: почти во всѣхъ именахъ, заманчиво выставленныхъ въ объявленіи пришлось читателямъ разочароваться. Г. Некрасовъ, тотъ самый Некрасовъ, который волновалъ когда-то наши юношескія головы, является теперь какимъ-то литературнымъ покойникомъ и пишетъ себѣ журнальную эпитафію размѣромъ стиховъ, изобрѣтенныхъ „Искрою“:

Вечерній звонъ, вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ!

Печально затягиваетъ поэтъ Некрасовъ извѣстный романсъ, и затѣмъ вдругъ, переходя въ хихиканье, восклицаетъ:

А звонъ зловѣщій, роковой
Межъ тѣмъ на мигъ не умолкалъ,
Пока я брюки надѣвалъ.

Какіе брюки!? Что вы, г. Некрасовъ? Съ какой стати вы *говорите о брюкахъ?* Вѣдь это и въ „Искрѣ“, пожалуй, та-

кую поэзію забраковали бы. Положимъ, тамъ тоже любятъ пародировать поэтовъ, да только не такихъ старыхъ, какъ Козловъ и не такихъ почтенныхъ, какъ Лермонтовъ. А притчу-то вы кому говорите? — Киселю? Сначала мы подумали, что это не знаменитымъ ли овсянымъ киселемъ хочетъ угостить г. Некрасовъ публику; ничуть не бывало. Это просто какой-то человѣкъ, да еще, какъ видно, его знакомый. Кисель, брюки—вотъ они, цвѣты-то поэзіи!

Мысль эту изложивъ круглѣе,
Передаетъ секретарю:
Дабы переписалъ крупнѣе
Для поднесенья визирю.

Учитесь, молодые поэты, всѣ вы, маіоры Бурбоновы, Пальмины и проч.! Передъ вами живой примѣръ человѣка съ именемъ, ломающаго русскій стихъ, какъ ломаются только палки.

Вслѣдъ за поэтомъ Некрасовымъ на катафалкѣ литературныхъ покойниковъ вынесенъ „Отечественными Записками" юмористъ Щедринъ. Что это былъ тоже человѣкъ съ именемъ и извѣстностью въ литературѣ — и сомнѣнія не можетъ быть. Какъ г. Некрасовъ создалъ у насъ гражданскую поэзію и заставлялъ когда-то проникнуться многихъ гражданскою скорбью, такъ и г. Щедринъ произвелъ у насъ гражданскую сатиру. Можно даже сказать, что г. Некрасовъ ровно настолько заставлялъ наше поколѣніе плакать гражданскими слезами, насколько г. Щедринъ заставлялъ смѣяться его гражданскимъ смѣхомъ. Въ свое время такая противоположность въ настроеніи ихъ лиръ была умѣстна: сѣтованія казались естественны, смѣхъ заразителенъ. Теперь совсѣмъ другое—лиры ихъ звучатъ совершенно одинаково и ни на кого не дѣйствуютъ. Можно подумать, что имъ и самимъ-то въ душѣ не очень-то смѣшно; обстоятельства такъ перемѣнились, а между тѣмъ они ужъ привыкли смѣяться на старыя темы. Особенно это можно сказать о г. Щедринѣ, который такъ смѣшилъ насъ въ былые годы, пошедшіе на осмѣяніе земской полиціи, и который нагоняетъ теперь такую зѣвоту, говоря о земствѣ. Смѣшныя

заглавія онъ еще можетъ придумать, но въ самомъ текстѣ не попадается уже ни одной строки веселой; такъ что члены земства напрасно на него и вознегодовали. Стрѣлы его остроумія могли попадать въ чиновниковъ, исправниковъ, засѣдателей, губернаторовъ, но не въ то, что народилось въ послѣдніе годы.

Н. Соловьевъ.

* * *

*) Мыслящему педагогу современная наша жизнь представляетъ не мало многознаменательныхъ явленій, изъ которыхъ иныя яркимъ свѣтомъ освѣщаютъ многія фазы духовнаго развитія общества. И кто же бросаетъ этотъ яркій свѣтъ на совершающуюся предъ нами жизнь? Кто учитъ, или вѣрнѣе сказать, научаетъ насъ, взрослыхъ людей, тому, до чего мы долго не додумались бы? Дѣти—наши учители. Часто смотришь на ребенка внимательнымъ глазомъ, часто прислушиваешься къ его разговору, слѣдишь за его играми, затѣями, повѣряешь его склонности и говоришь съ утѣшеніемъ самому себѣ: ты додѣлаешь то, чего не могли додѣлать твои отцы! Ты своею дѣятельностію внесешь въ жизнь уже не вопросы, выпавшіе на долю отцовъ, а дѣло, фактъ! Все, все малѣйшее движеніе въ тебѣ, дорогое дитя, говоритъ мнѣ, зрителю, что ты будешь новымъ человѣкомъ. Не привыкшій вдумываться въ явленія совершающейся жизни отецъ, воспитатель никакихъ задатковъ для новаго будущаго не замѣтитъ въ тебѣ — ни въ твоихъ играхъ ни въ твоихъ занятіяхъ. Много, много, что онъ замѣтитъ съ величайшимъ удивленіемъ странное для него явленіе: ребенокъ съ бо́льшимъ удовольствіемъ занимается геометріей, чѣмъ чтеніемъ стиховъ. Безъ сомнѣнія, его собственный ребенокъ любитъ стихи и, уже, разумѣется, не предпочтетъ стихамъ геометріи; нѣтъ, тотъ или другой отецъ, воспитатель замѣчаютъ упомянутое странное явленіе на чужомъ ребенкѣ. И ничего особеннаго не скажетъ имъ подобное явленіе, не въ силахъ они додуматься до того, что насколько

---

*) Н. Л—ъ. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г. № 143.

въ подобномъ явленіи участвуютъ вліяніе отца, воспитателя, настолько же и вліяніе новой жизни, новыхъ жизненныхъ началъ, не для всякаго уловимыхъ, но которыя уже народились, какъ невидимо для нашего глаза и уха нарождаются различныя атмосферическія явленія, рано или поздно долженствующія совершить свое дѣло. Дѣйствительно, г. Некрасовъ, есть дѣти, народились они, которыя даже ваши стихи, гладкіе, звучные, не предпочтутъ геометріи или какому бы то ни было другому предмету. Когда вашъ „Генералъ Топтыгинъ" былъ полученъ, и когда мы предложили ребенку прочитать его, онъ отвѣчалъ: „я послѣ прочитаю, а теперь кончу планъ квартиры". Ребенокъ (11-лѣтняя дѣвочка) наносилъ въ это время квартиру на планъ. Черезъ два дня только дѣвочка вспомнила о стихахъ, да и то по нашему напоминанію, и прочитала ихъ. „Послушай, дядя, сказала дѣвочка, обращаясь къ намъ: какіе пустяки написаны въ „Генералѣ Топтыгинѣ!"—Какіе же пустяки, моя милая? „Да то, что ямщикъ и вожакъ ушли въ кабакъ, гдѣ они оставались очень долго; вотъ и Некрасовъ пишетъ, что они были въ кабакѣ очень долго; какимъ же образомъ лошади все это время могли стоять покойно, когда въ телѣгѣ сидѣлъ Мишка? Помнишь, въ деревнѣ проведутъ, бывало, медвѣдя, то лошадь, какъ только издалека завидитъ его, такъ и побѣжитъ со всѣхъ ногъ. Лошадь слышитъ даже медвѣжій духъ. Мишку посадить въ телѣгу не легко, чтобъ лошади не замѣтили этого. Онѣ должны были непремѣнно понести еще въ то время, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Телѣга безъ клади, тройка почтовыхъ лошадей, да вѣдь онѣ разнесли бы всю телѣгу, а тутъ вдобавокъ ко всему написано, что лошади покойно стояли у кабака, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Это сказка. Тоже про коробейника Якова написано, что ему и лошадкѣ, на которой онъ ѣздилъ, было 100 лѣтъ. Лошадь живетъ до 25-ти лѣтъ. Если коробейнику Якову было 75 лѣтъ, то лошади было 25 лѣтъ, а такая лошадь ногъ не волочитъ. Гдѣ уже ей бѣгать по дорогамъ съ тяжелымъ возомъ. Некрасовъ пишетъ, что у Якова возъ былъ тяжелый, нагруженный разнымъ товаромъ. Слѣдовательно, надобно предположить, что коробейнику

было 80 лѣтъ, но тогда онъ самъ не могъ ѣздить по дорогамъ. Все это очень странно, дядя!" Я могъ сказать моей дѣвочкѣ только то, что люди, которые пишутъ стихи, называются поэтами; что этимъ поэтамъ позволяется иногда написать и разсказать, напримѣръ, происшествіе, котораго никакъ случиться не можетъ. Трудно мнѣ было объяснить одно: зачѣмъ разсказывать неправду и то, чего не можетъ случиться. Разумѣется, я прибавилъ, что найдутся на свѣтѣ и 80-лѣтніе старики, способные работать и ѣздить по дорогамъ; но не рѣшился убѣждать дѣвочку въ томъ, что найдутся лошади, не боящіяся медвѣдя. Да и дѣвочка-то такая, что до той поры не повѣритъ, пока сама не увидитъ. Мы никогда не писали бы настоящей замѣтки, если бъ не прочитали въ *Отечественныхъ Запискахъ* о намѣреніи г. Некрасова издать книгу стихотвореній для дѣтей, т. е. не для большихъ дѣтей, а для маленькихъ. Пусть г. Некрасовъ приметъ къ свѣдѣнію, что въ числѣ будущихъ его читателей найдутся такіе, которые способны подвергнуть стихотворенія анализу, если только какимъ-нибудь образомъ стихотворенія попадутъ имъ въ руки, ибо, какъ мы сказали выше, дѣти съ здоровой головой особеннаго расположенія къ чтенію стиховъ не проявляютъ, ихъ не ищутъ и о полученіи книжки со стихами не хлопочутъ. Это тѣ дѣти, которыя отъ души смѣются надъ Вагнеромъ, разсказывающимъ, что березкѣ очень больно, когда ее срубаютъ, что она плачетъ; что известнякъ, лишенный друга (углекислоты), чувствуетъ сильную потребность соединиться снова съ изгнаннымъ товарищемъ. Его дурное расположеніе духа, вслѣдствіе отсутствія углекислоты, становится просто опаснымъ. (См. книгу Вагнера: „Изъ природы". Разсказы для дѣтей"). Что же касается до педагогическаго значенія вообще всѣхъ стихотвореній г. Некрасова, то рано или поздно, конечно, будетъ сказано объ этомъ честное и правдивое слово.

Напередъ знаемъ, что на нашу замѣтку послѣдуютъ обычныя замѣчанія: воображеніе дѣтей требуетъ пищи, сухіе предметы — ариѳметика и геометрія — не могутъ дать *ничего воображенію*, слѣдовательно чтеніе стиховъ прино-

ситъ дѣтямъ извѣстную долю пользы. Подобные, важные по своему содержанію, вопросы требуютъ не коротенькихъ отвѣтовъ, а обстоятельнаго и подробнаго изслѣдованія, чего въ короткой замѣткѣ сдѣлать нельзя. Но теперь можемъ сказать лишь то, что ничего и не говоримъ противъ необходимости питать воображеніе дѣтей, но утверждаемъ, что точныя науки должны составить исключительный предметъ ихъ занятій безъ малѣйшихъ промежутковъ; хотя не согласимся съ тѣмъ, чтобы геометрія, ариѳметика не могли дать пищи воображенію; задаемъ лишь вопросы: не найдется ли для пищи другихъ матеріаловъ, кромѣ стиховъ, и если этимъ матеріаломъ являются стихи, то какіе они должны быть и въ какой степени могутъ быть передаваемы дѣтямъ? Ни время, ни мѣсто не позволяютъ намъ указать на этотъ другой матеріалъ, который есть и которымъ дѣльный педагогъ сумѣетъ воспользоваться. Безъ сомнѣнія, если уже давать дѣтямъ для чтенія стихи, то лучше тѣ, которые взяты изъ дѣйствительной жизни, чѣмъ неизвѣстно о чемъ говорящіе. Планъ такихъ стихотвореній, т. е. взятыхъ изъ дѣйствительной народной жизни, задуманъ г. Некрасовымъ, сколько можно судить по образцамъ, напечатаннымъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", вѣрно; но сочинять стихи надобно поосторожнѣе; во имя прелести избранной картины, всегда соблазнительной для поэтовъ, не пренебрегать и истиной, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ увѣришь какого-нибудь милаго ребенка (милыя дѣти очень любятъ стихи), что лошадь такъ же покойно повезетъ въ телѣгѣ медвѣдя, какъ она везетъ покойно кошку или собаку. Зачѣмъ же въ самомъ дѣлѣ сбивать дѣтей съ толку! Можетъ быть, вслѣдствіе этой замѣтки, г. Некрасовъ отнесется къ задуманной имъ книгѣ болѣе положительно и реально*).

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей" 1868 г.
Статья Н. Л—ъ.

---

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1868 г.—въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ", № 345 (въ фельетонѣ) и „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ", № 106.
Примѣч. В. Зелинскаго.

1869 г.

*) Некрасовъ исписался! Некрасова можно назвать литературнымъ покойникомъ! Вотъ тѣ возгласы, которые раздавались въ послѣднее время среди нашей періодической прессы. Справедливо ли это, и если справедливо, то въ какой степени, вотъ вопросъ, на который намъ надобно отвѣтить. Какъ извѣстно, приговоры нашихъ критиковъ и фельетонистовъ часто не отличаются строгою обдуманностью, но относительно Некрасова, въ ихъ крикахъ была нѣкоторая доза справедливости, такъ какъ послѣднее произведеніе его „Судъ" было очень слабо и по художественному выполненію и по идеѣ; но появившаяся на страницахъ „Отеч. Записокъ" сказка: „Кому на Руси жить хорошо", разомъ опрокидываетъ ихъ приговоръ. Въ этомъ новомъ произведеніи Некрасовъ является опять тѣмъ же знатокомъ народныхъ потребностей и тѣмъ же художникомъ въ дѣлѣ изобразительности, какимъ былъ нѣкогда. Упомянутая нами сказка состоитъ изъ двухъ частей. Первая не представляетъ ничего особеннаго и состоитъ въ томъ, какъ нѣсколько крестьянъ заспорили о томъ, кому на Руси жить хорошо, и въ чаду спора сбились съ дороги, по которой имъ надобно было итти домой. Вторая часть состоитъ въ описаніи ярмарки. Описаніе это знакомитъ читателя съ сельской ярмаркой и рисуетъ хмельныя картины, сопровождающія всякую ярмарку. Картины эти отличаются, конечно, отсутствіемъ изящества, но зато въ нихъ сквозитъ правда. Вотъ, напримѣръ:

Средь самой, средь дороженьки
Какой-то парень тихонькой
Большую яму выкопалъ.
— Что дѣлаешь ты тутъ?
„А хороню я матушку".
— Дуракъ! какая матушка!
Гляди поддевку новую
Ты въ землю закопалъ!
Иди скорѣй, да хрюкаломъ

*) „*Кіевскій* Телеграфъ" 1869 г., № 57. (Статья М. Велинскаго).

Въ канаву лягъ, воды испей!
Авось, соскочитъ дурь.
„А ну давай потянемся!"
Садятся два крестьянина,
Ногами упираются
И жилятся и тужатся,
Крехтятъ—на скалкѣ тянутся,
Суставчики трещатъ.
На скалкѣ не понравилось:
„Давай теперь попробуемъ
Тянуться бородой!"
Когда порядкомъ бороды
Другъ дружкѣ поубавили, и т. д.

Какія пошлыя, циническія сцены, скажетъ благовоспитанный читатель. Что же дѣлать, отвѣтимъ мы, если другихъ въ нашемъ простонародьи мы не находимъ. Вотъ еще:

Въ канавѣ бабы ссорятся.
Одна кричитъ: домой итти
Тошнѣе, чѣмъ на каторгу!
Другая: врешь, въ моемъ дому
Похуже твоего!
Мнѣ старшій зять ребро сломалъ,
Середній зять клубокъ укралъ;
Клубокъ—плевокъ, да дѣло въ томъ,
Полтинникъ былъ замотанъ въ немъ.
А младшій братъ все ножъ беретъ,
Того гляди—убьетъ, убьетъ!

Вотъ въ краткихъ словахъ очерченъ семейный бытъ. Или, быть можетъ, поэтъ въ угоду читателямъ долженъ былъ нарисовать идиллическую картину семейнаго счастья, гдѣ живетъ старая тёща съ тремя зятьями, которые ей во всемъ угождаютъ, наперерывъ одинъ передъ другимъ стараются выказать ей свое усердіе и заботы, — но въ такомъ случаѣ поэтъ пересталъ бы быть вѣрнымъ истинѣ, потому что свѣтлыя явленія въ простонародьи чрезвычайно рѣдки, а поэзія, по справедливому выраженію одного нашего писателя, заключается въ правдѣ жизни. Всѣмъ мыслящимъ людямъ, я думаю, уже извѣстно, что въ настоящее время, для того, чтобы быть поэтомъ, недостаточно описывать, какъ роза цвѣтетъ, соловей поетъ, водопадъ шумитъ—или сочинять хвалебныя оды хорошенькимъ глазкамъ А., миленькой ножкѣ

Д. и т. д., потому что такія стихотворенія не могутъ приносить ничего, кромѣ пріятнаго усыпленія. Такимъ образомъ возникаетъ вопросъ: какимъ цѣлямъ должна служить поэзія? Научнымъ и прогрессивнымъ, отвѣтимъ мы. Идеалъ науки и прогресса: *развитіе человѣчества въ интеллектуальномъ, моральномъ и матеріальномъ отношеніяхъ.* Этотъ идеалъ долженъ руководить и поэта. Возвышеннѣй и благороднѣй этого идеала нѣтъ для поэта. Работая въ такомъ направленіи, онъ долженъ брать факты изъ окружающей насъ дѣйствительности и воспроизводить ихъ силою своего художественнаго таланта. Кромѣ того, поэту надо руководствоваться и идеей при выборѣ фактовъ, чтобы не обратиться изъ художника въ фотографа, и для избѣжанія такой метаморфозы брать только то, что соотвѣтствуетъ его цѣли, т. е. тѣ явленія, существованіе которыхъ препятствуетъ достиженію идеала, или тѣ, воспроизведеніе которыхъ можетъ служить энергическимъ толчкомъ къ болѣе быстрому движенію общества, возбуждая и выводя его изъ апатіи. „Но вѣдь это значитъ заключить поэзію въ тѣсную рамку служенія будничнымъ интересамъ и лишить ее независимости“, скажутъ намъ. Совсѣмъ нѣтъ; напротивъ того, мы желаемъ очистить ее отъ мелкихъ цѣлей и узкихъ интересовъ и обратить въ служеніе истинно-человѣческимъ стремленіямъ, слѣдовательно, сдѣлать ее наиболѣе независимою, такъ какъ всякая идея свободы связана неразрывными узами съ законами справедливости и гуманности. Вотъ нашъ взглядъ на поэзію. Мы признаемъ міровое значеніе такихъ поэтовъ, какъ Шиллеръ, Гёте, Гейне и др., но не можемъ придать такого же значенія ихъ подражателямъ, потому что то, что у первыхъ прекрасно и самобытно, то у послѣднихъ просто пошло. Что же касается насъ, русскихъ, то мы въ настоящее время не можемъ найти никого, заслуживающаго больше правъ называться поэтомъ, кромѣ Некрасова, поэтомъ въ томъ значеніи, въ которомъ мы понимаемъ это слово. Для болѣе яснаго подтвержденія только что сказаннаго нами слѣдовало бы разобрать, по крайней мѣрѣ, нѣсколько стихотвореній, но такъ какъ это будетъ несообразно съ объемомъ нашей статьи, то мы должны довольствоваться нѣкоторыми

мѣстами вышеупомянутой сказки. Возьмемъ хотя то мѣсто, гдѣ одинъ странствующій господинъ началъ говорить мужикамъ о томъ, что они много пьютъ.

Крестьяне рѣчь ту слушали,
Поддакивали барину,
Павлуша (баринъ) что-то въ книжечку
Хотѣлъ уже записывать,
Но выискался пьяненькой
Мужикъ,—онъ противъ барина
На животѣ лежалъ,
Въ глаза ему поглядывалъ,
Помалчивалъ, да вдругъ
Какъ вскочитъ! Прямо къ барину—
Хвать карандашъ изъ рукъ!
— Постой, башка порожняя!
Шальныхъ вѣстей безсовѣстныхъ
Про насъ не разноси!
Чему ты позавидовалъ,
Что веселится бѣдная
Крестьянская душа?
Пьемъ много мы по времени,
А больше мы работаемъ,
У насъ на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьютъ, а такъ же маются—
Ужъ лучше бъ пили, глупые,
Да совѣсть такова.

Сколько здраваго смысла и жизненной правды заключается въ этихъ немногихъ словахъ и сколько снисходительности и сочувствія могутъ вселить эти строки къ простому и незатѣйливому горю крестьянина, которое однако вслѣдствіе его невѣжества находитъ исходъ только въ пьянствѣ. Вопросъ о народномъ пьянствѣ и причинахъ его—одинъ изъ животрепещущихъ въ наше время. Существуютъ двѣ партіи, изъ которыхъ одна утверждаетъ, что пьянство есть главнѣйшая причина бѣдности простого народа, другая, напротивъ того, считаетъ пьянство однимъ изъ слѣдствій бѣдности и нужды, и никакъ не хочетъ признать, чтобы пьянство имѣло сильное вліяніе на богатство народа. Какъ то, такъ и другое мнѣніе, разсматриваемое въ отдѣльности, крайне одно-

сторонне, но несмотря на то, послѣднее имѣетъ больше шансовъ на справедливость, потому что

У насъ на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьютъ, а такъ же маются—
Ужъ лучше бъ пили, глупые.

Совершенно вѣрно. Кому случалось видѣть въ деревняхъ пьющія и непьющія семьи, тотъ знаетъ, что разница не велика, а слѣдовательно, пьянство вовсе еще не есть такой сильный источникъ бѣдности, какъ это воображаютъ многіе. Что же касается причины пьянства, столь сильно распространеннаго въ народѣ, то ею можетъ быть не одна бѣдность, но также и невѣжество, хотя послѣднее въ гораздо слабѣйшей степени, чѣмъ первое.

„Нѣтъ мѣры хмелю русскому".
А горе наше мѣряли?
Работѣ мѣра есть?
Вино валитъ крестьянина.
А горе не валитъ его?
Работа не валитъ?

На эти строки приходится говорить то, что мы уже только что говорили, т. е., что только близорукій можетъ внушить такое понятіе, что одно лишь пьянство есть источникъ всѣхъ золъ въ народѣ.

Даже немногихъ строкъ, выписанныхъ нами, достаточно для того, чтобы читатель могъ видѣть, какъ Некрасовъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи остался вѣренъ всегдашней своей идеѣ: возбуждать сочувствіе высшихъ классовъ къ простому люду, его нуждамъ и потребностямъ. Многіе говорятъ, что стихотворенія его могли имѣть значеніе только при крѣпостномъ правѣ, но никакъ не теперь, когда положеніе крестьянъ значительно улучшено и имъ остается только трудиться, чтобы еще болѣе улучшать его. Совершенно вѣрно, положеніе крестьянъ въ настоящее время несравненно лучше, но еще далеко не такъ хорошо, какъ это полагаютъ нѣкоторые. И мы увѣрены, что само правительство, которому дорого народное благосостояніе, никакъ не остановится на настоящемъ положеніи дѣлъ, а будетъ продолжать свои неусыпныя дѣйствія относительно улучшенія участи простого

народа; но, какъ извѣстно, всякая реформа, производимая администраціей, часто встрѣчаетъ въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего общества и литературы тупое недовольство, если только она идетъ въ ущербъ кастовымъ интересамъ, а потому такіе люди, какъ Некрасовъ, умѣющіе рисовать дѣйствительность во всемъ ея неприглядномъ цвѣтѣ, возбуждающіе интересъ и сочувствіе къ сермягѣ, намъ нужны, отчасти потому, что они способны уничтожать сословный антагонизмъ и приготовлять общество къ воспріятію безъ ропота благодѣтельныхъ реформъ администраціи, которая въ своихъ распоряженіяхъ всегда далеко опережаетъ общественную мысль.

Изъ „Кіевскаго Телеграфа“. Статья М. Велинскаго.

* * *

*) Г. Некрасовъ недавно воспѣлъ времена Грановскаго и Бѣлинскаго, и мы познакомимъ нашихъ читателей съ этими пѣснопѣніями, въ которыхъ видимъ ту же черту— превознесеніе чистаго западничества, составляющаго нынѣ идеалъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ литературныхъ партій. Стихи, которые мы выпишемъ, находятся въ *Сценахъ изъ лирической комедіи „Медвѣжья Охота“*, напечатанныхъ въ прошломъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а потомъ перепечатанныхъ въ книгѣ: *Стихотворенія Некрасова,* часть IV.

Замѣчательный талантъ г. Некрасова представляетъ большую сложность, въ силу которой, вѣроятно, онъ до сихъ поръ и не оцѣненъ надлежащимъ образомъ нашею критикою. Какъ сатирикъ, г. Некрасовъ не ограничился однимъ восхваленіемъ сороковыхъ годовъ; онъ схватилъ и смѣшныя стороны тогдашняго настроенія и написалъ на него слѣдующіе водевильные куплеты:

Діалектикъ обаятельный,
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ,
Помню я твой взоръ мечтательный,
Либералъ-идеалистъ!
Созерцающій, читающій,
Съ неотступною хандрой
По Европѣ разъѣзжающій,
Здѣсь и тамъ—всему чужой и т. д.

*) „Заря“ 1869 г., № 7. „Критическія замѣтки“. (Статья, кажется, Н. Страхова).

(Выписка оканчивается стихами:

Ты стоялъ передъ отчизною
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ
Воплощенной укоризною
Либералъ-идеалистъ!)

Несмотря на сочувственный тонъ, тутъ не мало горькихъ истинъ. Эти рыцари добраго стремленія были всему чужіе и въ Россіи и въ Европѣ; естественно, что ихъ одолѣвало уныніе.

Всего плачевнѣе та ихъ черта, которая, какъ видно, особенно нравится г. Некрасову. Эти верхогляды, жившіе зря, люди безпутнаго житья, неспособные ни къ какому реальному усилію, немощные и унылые, считали себя однакоже въ правѣ осыпать укоризнами свое отечество, для котораго они были чужіе. Такъ какъ они были честны мыслью и чисты сердцемъ, такъ какъ они обходили грязь жизни, то они думали, что могутъ не только обличить грязь и нечистоту отдѣльныхъ лицъ, но даже поставить себя выше всей своей отчизны и служить для нея „воплощенной укоризною".

Увы! это право не такъ легко пріобрѣтается, какъ они думали. Для этой роли пророка требуется много любви, много душевной силы, а ничего подобнаго у нихъ не было; у нихъ было только самолюбіе, вслѣдствіе котораго имъ нравилось ставить свою личность выше незнаемой и пренебрегаемой отчизны. Въ другомъ мѣстѣ (въ поэмѣ *Саша*) г. Некрасовъ изобразилъ этихъ героевъ еще болѣе реальными чертами; либералъ-идеалистъ былъ вотъ каковъ:

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ,
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо итти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала да разумъ развитый.
— Нѣтъ, я души не растрачу моей
На муравьиной работѣ людей;
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Міръ—говоритъ—осчастливить хочу!
Что жъ подъ руками, того онъ не любитъ,

То мимоходомъ безъ умысла губитъ.

. . . .

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

. . . .

Самъ на душѣ ничего не имѣетъ,
Что вчера сжалъ, то сегодня и сѣетъ.

. . . .

Это въ простомъ переводѣ выходитъ,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ;
Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
Міръ виноватъ въ неудачѣ тогда,
Чуть поослабнутъ нетвердыя крылья,
Бѣдный кричитъ: „безполезны усилья!"
И ужъ куда какъ становится золъ
Крылья свои опалившій орелъ....

Таковы были люди, которыхъ породило у насъ чистое западничество, которыхъ оно отрывало отъ всякаго дѣла и отъ пониманія Россіи. Это было очень печальное явленіе; страданія ихъ были слѣдствіемъ того фальшиваго положенія, въ которомъ они находились—и изъ котораго выйти они не могли, такъ какъ у нихъ недоставало ума, чтобы понять это положеніе, и сердца, чтобы вырваться изъ него инстинктивнымъ усиліемъ. Не будемъ судить ихъ строго, но не будемъ и принимать болѣзненное явленіе за что-то хорошее. Если они прошли, эти либералы-идеалисты, то можно этому только порадоваться.

Само собою разумѣется, что предыдущіе стихи и куплеты и отрывокъ изъ *Саши* относятся не къ Грановскому, а изображаютъ болѣе ходячій и обыкновенный типъ тогдашнихъ образованныхъ людей. Грановскому же прямо посвящены г. Некрасовымъ слѣдующіе стихи болѣе возвышеннаго тона, произносимые однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ *Медвѣжьей Охоты.*

Грановскаго я тоже близко зналъ—
Я слушалъ лекціи его три года.
Великій умъ! Счастливая природа!
Но говорилъ онъ лучше, чѣмъ писалъ.
Оно и хорошо—писать не время было:
Почти что ничего тогда не проходило.

. . . .

Передъ рядами многихъ поколѣній
Прошелъ твой свѣтлый образъ: чистыхъ впечатлѣній
И добрыхъ знаній много сѣялъ ты,
Другъ Истины, Добра и Красоты!
Пытливъ ты былъ; искусство и природа,
Наука, жизнь—*ты все познать желалъ*,
И въ новомъ творчествѣ ты силы почерпалъ,
И въ геніи угасшаго народа...
И всѣмъ дѣлиться съ нами ты хотѣлъ!
Не диво, что тебя мы горячо любили;
Терпимость и любовь тобой руководили.
Ты настоящее оплакивать умѣлъ
И брата узнавалъ въ рабѣ иноплеменномъ,
Отъ насъ вѣками отдаленномъ!
Готовилъ родинѣ ты честныхъ сыновей,
Провидя лучъ зари за непроглядной далью.
Какъ ты любилъ ее! Какъ ты скорбѣлъ о ней!
Какъ рано умеръ ты, терзаемый печалью!
Когда надъ бѣдной русскою землей
Заря надежды медленно всходила,
Созрѣлъ недугъ, посѣянный тоской,
Которая всю жизнь тебя крушила...

Здѣсь тѣ-же черты либерала-идеалиста, но только облагороженныя и имѣющія наилучшій видъ, какой для нихъ возможенъ; то же неопредѣленное поклоненіе истинѣ, добру и красотѣ, то же стремленіе къ разнообразнымъ познаніямъ, та же тоска человѣка, понятія котораго не встрѣчаютъ на родинѣ ничего имъ соотвѣтствующаго, наконецъ, та же роль не дѣятеля, не ученаго, а проповѣдника идей, почерпаемыхъ, повидимому, ото всѣхъ народовъ, старыхъ и новыхъ, въ сущности же заимствуемыхъ отъ Запада *).

Изъ „Зари“ 1869 г.

---

*) Еще см. на этотъ годъ о Некрасовѣ въ „Портретной галлереѣ русскихъ дѣятелей“, т. 2, изд. А. Мюнстера. Кромѣ того, 1869-й годъ богатъ литературой о Некрасовѣ полемико-біографическаго свойства. Вотъ она: „Матеріалы для характеристики современной русской литературы: I) Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ М. А. Антоновича и II) Post-scriptum... Ю. Г. Жуковскаго“.—„Биржевыя Вѣдомости“, № 153.—„Всемірный Трудъ“, № 3.—„Вѣсть“, № 248.—„Донъ“, № 60.—„Дѣло“, № 4, стр. 90—93. — „Заря“, № 5, стр. 151 — 174, Н. Страхова. — „Одесскій Вѣстникъ“, № 137 и 139 („Новое явленіе въ литературѣ“).—„Отечественныя *Записки“, № 4, отд. 2,* стр. 274—283 и 336—368.—„Литературное паденіе

Критика семидесятыхъ годовъ.

1870 г.

*) Богаты мы или бѣдны лириками? Стоитъ только начать счетъ, васъ поразитъ обиліе именъ, повѣдавшихъ міру свои думы, чувства и помышленія; не говоря уже о такихъ именахъ, какъ Некрасовъ, вспомните, сколько еще лирическихъ разрядовъ, расположенныхъ по нисходящимъ степенямъ. Минаевъ, Курочкинъ, Плещеевъ, Вейнбергъ, Полонскій, Пальминъ, Вормсъ и т. д. и т. д. А загляните въ недавнее прошлое? Мей, Кроль, В. Крестовскій, А. Майковъ, Тютчевъ, Ѳ. Бергъ, Фетъ... а сколько русскихъ людей еще кропаютъ стишки, воспѣвая сладчайшія чувствія, стараясь метать громы или стремясь въ тѣ счастливыя страны, о которыхъ сами кропатели не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. „Стихи" такого рода вещь, что, по крайней мѣрѣ, по убѣжденію кропателей, ихъ можно писать, не имѣя въ головѣ никакой опредѣленной мысли. Состряпаетъ иногда та-

---

гг. Антоновича и Жуковскаго", И. Рождественскій, отдѣльн. изданіе, Спб. 1869 г. — „Космосъ", № 4 (М. Антоновича, „Неизвѣстному другу"); тамъ же № 8. — („Объ отношеніяхъ Некрасова къ Бѣлинскому). Воспоминанія И. С. Тургенева: „Вѣстникъ Европы" № 4 (см. также Соч. Тургенева, т. 1).—„Космосъ", 2-е полугодіе, приложеніе № 1, стр. 84—102 (о Воспоминаніяхъ Тургенева).—„С.-Петербургскія Вѣдомости", №№ 187 и 188 (Письма Бѣлинскаго къ В. П. Боткину) — „Космосъ", 2-е полугодіе, стр. 113—120 (по поводу письма Бѣлинскаго).—„С.-Петерб. Вѣдом.", № 211 (фельетонъ Незнакомца). — „Заря", № 9, стр. 207--209 (Грановскій въ стихахъ Некрасова. См. тамъ же о письмѣ Некрасова къ Тургеневу, гдѣ онъ убѣждаетъ Тургенева отдать въ „Современникъ" романъ „Отцы и Дѣти"

*) М. М. „Иллюстрированная Газета" 1870 г., № 12.

Примѣч. В. Зелинскаго.

кой кропатель три или четыре десятка строчекъ, и ужъ чего не придумаетъ. Тутъ у него и „мечты" о чемъ-то, тутъ не обходится безъ „пустоты", тутъ и вздохи, и слезы, и грезы, и грозы, — однимъ словомъ, чего хочешь, того просишь, только смысла не спрашивай. Между любителями „стиховъ" есть и такіе, которые только всего и ищутъ „мѣрнаго паденья риѳмы" и „звучности" стиха, а до смысла, до опредѣленной мысли имъ нѣтъ дѣла. Мысль въ стихотвореніи, по ихъ мнѣнію, „мочальный хвостъ", и потому они предпочитаютъ стихотворенія „безхвостыя". Но увы! подобнаго рода вирши давно потеряли значеніе въ болѣе развитой части общества, котораго вниманіе привлекаютъ только Минаевъ, Некрасовъ и Курочкинъ. Всѣ они больше или меньше—сатирики, всѣ владѣютъ мастерски стихомъ, который имъ дается легко и безъ труда. Некрасову все еще принадлежитъ первое мѣсто. Его сатира—глубже захватываетъ жизненныя стороны, у него она шире, нежели у двухъ другихъ, названныхъ нами. Правда, его „ноющее" настроеніе нѣсколько устарѣло, но внесенное въ сатиру, придаетъ ей разнообразіе и способно внушить даже и простоватому читателю, что здѣсь дѣло въ серьезъ идетъ, а не смѣха ради. Напримѣръ:

Пріунылъ и мужикъ.—Чѣмъ я буду топить?
Говоритъ онъ, лицо свое хмуря:
„Ты не будешь топить—будешь пить",
Завываетъ въ отвѣтъ ему буря.

Въ IV ч. стихотвореній въ первый разъ напечатаннаго — немного. Въ большинствѣ ея содержаніе составляютъ стихотворенія, напечатанныя въ „Современникѣ" 1865 г., 1866 г. и въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1868 г. Главное дополненіе составляютъ отрывки изъ „Медвѣжьей Охоты", подъ заглавіями: „Пѣсня о трудѣ" и „Пѣсня любви"; первая изъ нихъ — простое указаніе на измѣнившіяся, въ послѣднее время, экономическія условія нашей жизни, или отрицаніе паразитства, а вторая — тоже указаніе на новыя стремленія русской женщины; впрочемъ, сущность этихъ стремленій гораздо опредѣленнѣе въ самой дѣйствительности, нежели у Некрасова. Вотъ, напримѣръ, что поетъ у не-

го Люба: „Мнѣ здѣсь скучно, потому что здѣсь жизнь тянется вяло. Но я выросла у моря, т. е. на просторѣ, а большому кораблю — большое и плаваніе. Жалѣть меня нечего; все равно—не спасти; не сегодня, завтра грянетъ буря и погубитъ меня, потому что кланяться и покоряться я не хочу и не умѣю... Отпусти меня, родная, на просторъ широкій, все же я, прежде чѣмъ сломлюсь, хоть не долго буду счастлива. Я помню, какъ ты грудью разсѣкала волны, была бодра, смѣла, хоть и не долго, хоть и не съ побѣдной пѣснью пристала къ берегу, но знала, что такое счастье. Я тоже хочу счастья, должна его искать... Отпусти меня!“ Слова нѣтъ — стремленія, требованія новыя, если бы только не одна несчастная черта: дѣвушка проситъ позволенія у мамаши выйти на новый путь. Но это бѣда небольшая; мамаша, безъ сомнѣнія, дозволитъ, понимая, что у нея просятъ позволенія только для формы. Слѣдовательно, упрекнуть Некрасова можно за форму, въ которую онъ облекъ новое женское требованіе. Но неопредѣленности самаго требованія — оправдать нельзя, потому что въ жизни оно заявило себя очень опредѣленно и безъ фразъ, такъ что поэтъ нѣсколько опоздалъ со своею пѣснью. Едва ли кто теперь станетъ ее пѣть.

Наше соображеніе подтверждается еще и стихотвореніемъ, посвященнымъ „неизвѣстному другу“, особенно слѣдующими строками:

... И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться въ ней успѣла
Къ тебѣ, моя родная сторона.
За то, что я, черствѣя съ каждымъ годомъ,
Ее умѣлъ въ душѣ моей спасти,
За каплю крови, общую съ народомъ,
Мои вины, о родина, прости!

Сравните двѣ послѣднія выписки. Не та ли же самая въ нихъ пѣснь искупленія. Само собою, что побудительная причина, вызвавшая подобную пѣснь, никогда и никѣмъ гласно не высказывалась. Но гласное опроверженіе клеветы было необходимо въ интересахъ читающихъ людей, которые знали о существованіи нѣкоторыхъ, невыгодныхъ для поэта,

слуховъ. Теперь есть возможность взглянуть на дѣло безпристрастно и припомнить, что года полтора тому назадъ приходилось волей-неволей издавать фальшивые звуки или не издавать вовсе никакихъ: это было время, удобное для всякой клеветы и инсинуаціи.

Въ „Приложеніи" къ IV ч. стихотвореній помѣщены: поэма „Папаша", въ первый разъ напечатанная въ „Современникѣ" 1860 г., и еще нѣсколько небольшихъ стихотвореній.

Изъ „Иллюстр. Газеты". Статья М. М.

* * *

*) Во второмъ нумерѣ „Отечественныхъ Записокъ" помѣщено продолженіе поэмы Н. А. Некрасова, „Кому на Руси жить хорошо?" Поэма эта нѣсколько растянута, въ ней вы встрѣчаете многія сцены, совершенно излишнія, мѣшающія общему впечатлѣнію, напрасно утомляющія читателя и тѣмъ не мало вредящія цѣльности впечатлѣнія. Но при всемъ томъ поэма Некрасова имѣетъ неотъемлемыя достоинства: въ ней столько чувства, столько глубокаго пониманія жизни, что какъ-то невольно забываются, изглаживаются всѣ мелкіе недостатки. Многія сцены этой поэмы прочувствованы и выражены такъ ярко и сильно, что невольно пробѣгаешь ихъ по нѣскольку разъ, и чѣмъ больше вчитываешься въ нихъ, тѣмъ прекраснѣе онѣ кажутся.

Изъ „Новаго Времени". Статья Л. Л.

* * *

**) Мы уже не разъ высказывали убѣжденіе, что русская литература, хотя о ней всѣ толкуютъ взапуски, хотя каждый считаетъ себя въ правѣ судить и рядить о ней, есть предметъ въ высшей степени темный и трудный. Но всего труднѣе и темнѣе въ русской литературѣ — ея поэзія, всего загадочнѣе тѣ писатели, которые принадлежатъ къ чистѣйшей и спеціальнѣйшей поэтической области, т.-е. лирики-стихотворцы. Каждый разъ когда мы хотѣли взять-

---

*) Л. Л. „Новое Время" 1870 г., № 109.

**) *Н. Страховъ.* „Заря" 1870 г. № 9.

ся за нашихъ поэтовъ, чтобы разбирать ихъ, насъ останавливала чрезвычайная запутанность и странность этихъ явленій, и мы принимались за что-нибудь другое.

Изложимъ дѣло со всею откровенностію. Сравнительно легко писать о такихъ крупныхъ и ясныхъ явленіяхъ, какъ Герценъ, гдѣ можно коснуться, по мѣрѣ силъ, важныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, бывшихъ предметомъ общаго вниманія и долгихъ толковъ. Еще легче писать статьи о „женскомъ вопросѣ“ и о томъ, что человѣкъ имѣетъ душу. Твердить общія истины, писать трактаты въ опроверженіе дикихъ мнѣній или въ защиту ясныхъ какъ день положеній, — дѣло, которое легче многихъ другихъ. И если бы насъ соблазняли лавры Добролюбова и Писарева, то мы гораздо чаще предавались бы этого рода литературнымъ упражненіямъ, которыя притомъ для многихъ, вѣроятно, весьма не безполезны. Но намъ все *совѣстно* касаться общихъ и избитыхъ темъ, и мы сами добровольно запираемъ себѣ путь къ славѣ. Мы принимаемся за эти легкіе предметы не иначе, какъ съ большими предосторожностями, чтобы, поучая неразумныхъ читателей, не наскучить какъ-нибудь разумнымъ. Мы въ этомъ случаѣ держимся той мысли, которою заключается одно стихотвореніе г. Некрасова; вмѣстѣ съ поэтомъ мы часто говоримъ себѣ:

И погромче насъ были витіи,
Да не сдѣлали пользы перомъ...
Дураковъ не убавимъ въ Россіи,
А на умныхъ тоску наведемъ.

Итакъ, есть не мало предметовъ, о которыхъ писать было бы легко, такъ какъ для этихъ предметовъ есть и публика, то есть существуютъ извѣстные интересы и вопросы въ массѣ читателей, есть и ясныя основанія, то есть существуютъ очень простыя и широкія точки опоры, на которыхъ мы можемъ установить свои сужденія. Но какъ писать о поэзіи? Гдѣ наша публика, читающая поэтовъ? Гдѣ взять мѣрки для сужденія о нашихъ лирикахъ?

Если мы вспомнимъ, что въ нынѣшнемъ году оконченo новое, весьма полное изданіе сочиненій Полонскаго, въ прошломъ году вышло пятое изданіе стиховъ Некра-

сова, въ позапрошломъ вновь изданы и теперь уже, кажется, раскуплены стихотворенія Хомякова и Тютчева, что до сихъ поръ пишутъ Майковъ, Алексѣй Толстой, Алмазовъ и другіе, то окажется, что мы вовсе не бѣдны лирическою поэзію и что есть же для нея читатели, требующіе новыхъ изданій своихъ любимыхъ поэтовъ. Г. Некрасовъ, конечно, первенствуетъ въ этомъ случаѣ, онъ вышелъ уже пятымъ изданіемъ. Но какъ ни старались журналы, руководимые г. Некрасовымъ, отбить у читателей охоту отъ всякой поэзіи, кромѣ той, которою занимается г. Некрасовъ, они, очевидно, въ этомъ не успѣли. Напримѣръ, успѣхъ Тютчева, поэта очень глубокомысленнаго, очень высокаго по строю своей лиры, ясно показываетъ, что у насъ есть еще значительная публика для самыхъ высокихъ родовъ поэзіи. Мы были очень изумлены, прочитавши въ прошломъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“ такое извѣстіе: „Г. Полонскій очень мало извѣстенъ публикѣ“ (см. „Отеч. Зап.“ 1869 г. сентябрь, стр. 47). Какъ? Полонскій, знаменитый Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Вѣдь, поворачивается же у людей языкъ на подобныя выходки! Я думаю, наборщикъ, набиравшій эту страницу, и корректоръ, правившій ее въ типографіи г. Краевскаго, смѣялись надъ непомѣрнымъ безстыдствомъ этой лжи. Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Подобныя вещи можно писать только для гимназистовъ перваго класса, только въ явномъ расчетѣ на такую публику, которая понятія не имѣетъ о русской литературѣ, и станетъ учиться ей по рецензіямъ „Отеч. Записокъ“, станетъ на этомъ журналѣ развивать свой умъ и воспитывать свои сердечныя чувства.

Такая публика, конечно, есть, и объ ней, конечно, очень хлопочутъ такіе журналы, какъ „Отеч. Записки“. Они никогда не прочь привлечь эту публику на свою сторону и очень желали бы увѣрить ее, что не стоитъ и обращать вниманія на всю остальную литературу. Всегда есть мальчики, только что принимающіеся за чтеніе книгъ, всегда есть множество и зрѣлыхъ людей, которые, какъ выразился Гоголь, „нѣсколько беззаботны насчетъ литературы“. Для *нихъ мож*но смѣло печатать, что Полонскій есть писатель

очень мало извѣстный, а что о Тютчевѣ никто даже никогда не слыхалъ. Но есть другая публика — вотъ къ чему мы клонимъ свою рѣчь. Есть же въ немаломъ числѣ такіе удивительные люди, которые любятъ поэзію и не считаютъ знакомство съ русскою литературою за дѣло лишнее и безполезное. Такіе люди всѣ до единаго знаютъ и любятъ Полонскаго, котораго, впрочемъ, мудрено не знать и тѣмъ, которые его не любятъ. Полонскій пишетъ около тридцати лѣтъ (знаменитыя стихотворенія: „Солнце и мѣсяцъ", „Пришли и стали тѣни ночи" написаны—первое въ 1841, второе въ 1842 году); въ теченіе этого времени онъ написалъ не мало произведеній *первостепенныхъ*, то-есть представляющихъ несомнѣнное, чистое золото поэзіи („Бэда проповѣдникъ", „У Аспазіи", „Статуя", „Кузнечикъ Музыкантъ", „Наяды", и проч.); въ силу этого онъ сталъ однимъ изъ образцовыхъ *классическихъ* нашихъ поэтовъ, то-есть такимъ, который всегда съ почетомъ поминается при перечисленіи сокровищь нашей литературы и безъ произведені котораго не обходится ни одна хрестоматія. Притомъ г. По лонскій пишетъ до сихъ поръ и пишетъ такъ, что ничт не обличаетъ ослабленія его таланта. Мы можемъ ждать от него такихъ же великолѣпныхъ произведеній, какими он отъ времени до времени дарилъ насъ и прежде. Въ док зательство укажемъ на „Царя Симеона", напечатаннаго і майской книжкѣ „Зари". Вотъ положеніе г. Полонскаго литературѣ. Онъ такой *извѣстный* писатель, что извѣстн и быть невозможно при маломъ количествѣ, при мал нашей любви къ родной литературѣ. Но—*что такое* Пол скій? Въ чемъ смыслъ его поэзіи? Какія ея отличитель черты? На эти вопросы дѣйствительно не существу отвѣта. Мальчики въ школахъ учатъ наизусть его сті всѣ знаютъ, други и недруги, что онъ отличный поэтъ *что такое* его поэзія—такъ же мало извѣстно, какъ извѣстно значеніе Пушкина, какъ мало ясенъ и поня ходъ всего развитія нашей литературы. И въ этомъ шеніи получаетъ нѣкоторый смыслъ дерзкая выходка чественныхъ Записокъ", рѣшившихся провозгласить, Полонскій очень мало извѣстенъ читателямъ. Подъ зло

доходящею до такой наивности, скрывается слѣдующая мысль: г. Полонскій есть явленіе неясное, непонятное; никто не знаетъ, что оно такое, и такимъ образомъ публика намъ повѣритъ, если мы скажемъ, что онъ не имѣетъ никакого значенія въ литературѣ, что онъ не имѣетъ даже извѣстности, такъ какъ нечѣмъ было ее возбудить и заслужить.

Умные люди, такіе, напримѣръ, какіе пишутъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", не любятъ никакихъ неясныхъ, непонятныхъ явленій. Для умника всякое явленіе этого рода—обида, такъ какъ оно ясно свидѣтельствуетъ о несостоятельности его ума, о мелкости его понятій. Въ такихъ случаяхъ умные люди прибѣгаютъ нерѣдко къ очень глупому средству: для спасенія чести своего ума въ своихъ и чужихъ глазахъ, они *отрицаютъ* непонятное явленіе, стараются отнять у него всякое значеніе. Вотъ причина, по которой въ наши дни такъ ожесточенно напали на Пушкина; для умниковъ нашъ великій поэтъ—бѣльмо на глазу, камень преткновенія. Вотъ главная существенная причина и нападеній на Полонскаго, поэта, который, повидимому, ничѣмъ не могъ раздражить ни одной изъ литературныхъ партій. Онъ раздражаетъ умничающихъ самымъ своимъ существованіемъ, самою своею извѣстностію, и вотъ они утверждаютъ, что онъ вовсе не извѣстенъ, что его имя отнюдь не числится въ числѣ именъ русскихъ поэтовъ, что настоящіе наши *извѣстные* поэты, это—г. Некрасовъ, г. Минаевъ и г. Курочкинъ. Для поясненія и сравненія обратимся къ г. Некрасову. Г. Некрасовъ дѣйствительно находится въ другомъ положеніи, чѣмъ г. Полонскій; о г. Некрасовѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, что онъ поэтъ *неизвѣстный*. Почему же? Не потому, что онъ выдержалъ пять изданій, тогда какъ Полонскій выдержалъ только два; обиліе читающихъ можетъ быть только *внѣшнимъ* успѣхомъ, только доказывать, что книга угодила *толпѣ*, пришлась по вкусу людямъ грубымъ и посредственнымъ, составляющимъ большинство всякой публики. Некрасова нельзя назвать неизвѣстнымъ потому главнымъ образомъ, что онъ будто бы поэтъ совершенно опредѣленный, что онъ явленіе вполнѣ ясное и понятное.

Г. Некрасовъ есть первообразъ нашихъ обличительныхъ

поэтовъ, — коихъ было и есть множество. Онъ всю жизнь обличалъ язвы нашего отечества, пороки и страданія чиновниковъ, пустую и развратную жизнь офицеровъ, гнусности Невскаго проспекта, а главное — страданія простого народа во всѣхъ ихъ многоразличныхъ видахъ, начиная отъ бабы, которая

Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянетъ уродливо грудь,

и до мужика, у котораго

Губы безкровныя, вѣки упавшія,
Язвы на тощихъ рукахъ,
Вѣчно въ водѣ по колѣна стоявшія
Ноги опухли, колтунъ въ волосахъ.

Въ силу этого г. Некрасовъ самъ о себѣ говоритъ слѣдующимъ образомъ:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Въ силу всего этого не только теперь, когда существуетъ пять изданій стиховъ г. Некрасова, но и десять лѣтъ тому назадъ, когда ихъ существовало только два, уже нельзя было сказать, что г. Некрасовъ поэтъ мало извѣстный. Всякій не только слыхалъ о немъ, но и зналъ, что онъ такое; въ то время, какъ къ Полонскому обращались съ тѣми вѣчными вопросами, которые слышалъ Пушкинъ:

О чемъ бренчитъ? Чему насъ учитъ?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ?
Какъ своенравный чародѣй?

Этихъ вопросовъ нельзя было предлагать г. Некрасову, такъ какъ *направленіе* его музы было совершенно ясно.

Вотъ мы и договорились до нѣкоторой точки зрѣнія, съ которой можно, повидимому, судить нашихъ поэтовъ, съ которой довольно ясно и прямо можно было бы произвести имъ оцѣнку. Стоитъ только задать вопросъ: какого направленія поэтъ? и расхвалить или разбранить его, смотря по тому, согласны ли мы съ этимъ направленіемъ или нѣтъ.

Написать можно очень много и даже очень занимательно, потому что можно было бы вложить въ статью весь задоръ и всѣ тѣ мысли, какія возбуждены и выяснены долгою и упорною борьбою.

Особенно соблазнительно—написать такую *критику* на г. Неркрасова. Статейку можно было бы сдѣлать преядовитую, притомъ такую, которая была бы и небезполезна и справедлива. Можно было бы съ избыткомъ отплатить г. Некрасову за всѣ обиды, которыя въ теченіе долгихъ лѣтъ были наносимы другимъ поэтамъ въ журналахъ, стоявшихъ и стоящихъ подъ его начальствомъ. Можно было бы перебрать по пальцамъ и выставить на видъ всѣ тѣ пошлости и фальшивыя ноты, безъ которыхъ не обходится почти ни одна страница его стиховъ. Г. Некрасовъ есть поэтъ чисто петербургскій; онъ носитъ на себѣ всѣ характерныя черты нашей Сѣверной Пальмиры, онъ ея духовное дѣтище. Это поэтъ Александринскаго театра, Невскаго проспекта, петербургскихъ чиновниковъ и петербургскихъ журналистовъ. Стихи его по тону и манерѣ очень часто сбиваются на водевильные куплеты того особаго рода, который нѣкогда процвѣталъ въ нашей александринкѣ. Петербургская погода, картины и сцены петербургскихъ улицъ отразились въ стихахъ г. Некрасова, какъ предметы сильно и постоянно волновавшіе его музу. Что касается до народа, то поэтъ, конечно, глубоко сожалѣетъ о немъ, но сожалѣетъ именно такъ, какъ это свойственно петербургскимъ просвѣщеннымъ чиновникамъ и либеральнымъ писателямъ. Народъ для него—страждущая масса, которую не только слѣдуетъ облегчить отъ несомыхъ ею тягостей, но еще болѣе слѣдуетъ просвѣтить, освободить отъ ея дикихъ понятій, облагородить, очистить, преобразовать. Г. Некрасовъ никогда не можетъ воздержаться отъ этой роли просвѣщеннаго, тонко развитого петербургскаго чиновника и журналиста, и такъ или иначе, но всегда выкажетъ свое превосходство надъ темнымъ людомъ, которому сочувствуетъ. Цѣлый рядъ стихотвореній этого поэта посвященъ изображенію грубости и дикости русскаго народа. Какъ изящное чувство г. Некрасова оскорбляется *передникомъ, завязаннымъ подъ мышки*, такъ его гуманныя и про-

свѣщенныя идеи постоянно въ разладѣ съ грубымъ бытомъ, съ грубыми понятіями, съ грубой душой и рѣчью простыхъ людей. Онъ пишетъ особыя стихотворенія на такія будто бы глубоко *народныя* темы:

Милаго побои не долго болятъ *(Катерина, Ч. IV)*.

или:

Намъ съ лица не воду пить,
И съ корявой можно жить и т. д.

(Сватъ и женихъ, Ч. IV).

Онъ всегда не прочь грустно посмѣяться или тоскливо поглумиться надъ народомъ.

И вотъ истинная причина г. Некрасова; онъ какъ разъ пришелся по вкусу тому обществу, которое гордится своею образованностію, весьма жалѣетъ мужика, но въ то же время чуждается народнаго духа. Почитатели г. Некрасова, твердя его стихи, могутъ вполнѣ сохранять свой презрительный взглядъ на народъ, могутъ по прежнему не имѣть ничего общаго съ народомъ и самая любовь къ нему у нихъ является не какъ простой долгъ, не какъ благоговѣйное подчиненіе его духу, а какъ заслуга ихъ гуманныхъ понятій, какъ просвѣщенное сожалѣніе о дикихъ и грубыхъ людяхъ. Таково настроеніе г. Некрасова; онъ думалъ, какъ мы видѣли, что небеса его призвали бросить нѣкоторый *лучъ сознанія* на путь, которымъ Богъ ведетъ русскій народъ. Всѣ эти обличители суть вмѣстѣ и просвѣтители; они не хотятъ учиться у народа, а сами хотятъ его учить. Дѣйствительно, мы не видимъ, чтобы народныя понятія и идеалы составляли предметъ мыслей и пѣснопѣній г. Некрасова; толкуя безпрестанно о народѣ, онъ ни разу не воспѣлъ намъ того, чѣмъ собственно *живетъ* народъ, — ни единаго чувства, ни единой думы, въ которыхъ бы отразилось внутреннее развитіе народа, сказалась бы его великая духовная сила. Нѣтъ ни единаго событія во всей русской исторіи, которое внушило бы что-нибудь г. Некрасову, котораго смыслъ отразился бы въ его стихахъ хотя слабымъ отраженіемъ.

Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.

Вотъ настоящій взглядъ г. Некрасова на Россію и русскій народъ; при такомъ взглядѣ мудрено быть народнымъ поэтомъ и бросать лучи сознанія на пути провидѣнія, выразившіеся въ нашей исторіи.

Итакъ приговоръ *направленской* критики относительно г. Некрасова могъ бы быть очень строгъ; этотъ поэтъ есть выразитель и покровитель направленія, которое давно ославило себя крайностями и нелѣпостями, которое составляетъ истинную *болѣзнь* русскаго общества; г. Некрасовъ есть одинъ изъ писателей наиболѣе страдающихъ этою болѣзнію.

Н. Страховъ.

*
* *

Вступаясь за Полонскаго по поводу критики произведеній послѣдняго, помѣщенной въ сентябрьской книжкѣ „Отеч. Запис." за 1869 г., Тургеневъ между прочимъ говоритъ:

*) „Что же касается до критика „Отечественныхъ Записокъ", то ограничусь тѣмъ, что выражу одно мое убѣжденіе, надъ которымъ онъ, вѣроятно, вдоволь посмѣется. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, въ его глазахъ, патронъ его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше Полонскаго, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ еще перечитывать лучшія стихотворенія Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что съ бѣлыми нитками, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ „скорбной" музы г. Некрасова—ея-то, поэзіи-то и нѣтъ на грошъ, какъ нѣтъ ея, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ всѣми уважаемаго и почтеннаго А. С. Хомякова, съ которымъ, спѣшу прибавить, г. Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго".

И. Тургеневъ.

---

*) „*С.-Петербургскія* Вѣдомости" 1870 г., № 8.

* * *

*) Отъ колоссальныхъ политическихъ интересовъ мнѣ еще предстоитъ перейти къ маленькимъ интересамъ литературнымъ и указать въ сентябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ на весьма выдающееся стихотвореніе г. Некрасова — „Дѣдушка“. Образъ „дѣдушки“ въ стихотвореніи задуманъ очень удачно и крайне симпатиченъ въ своей простотѣ. Разумѣется, пьеса, какъ это почти всегда бываетъ у г. Некрасова, вылилась не вполнѣ и отчасти фальшива въ художественномъ отношеніи. Какъ на такую фальшь, можно указать, напримѣръ, на слѣдующее: въ пьесѣ возвращенный изъ Сибири декабристъ бесѣдуетъ со своимъ маленькимъ внукомъ, который съ дѣтскимъ любопытствомъ заинтересованъ таинственною прошлою судьбой дѣда. Скрывая отъ ребенка эту судьбу, на томъ основаніи, что ему еще рано узнавать о „великой были“, что эта быль еще недоступна для дѣтскаго пониманія, дѣдушка, однако, не стѣсняется повѣствовать младенцу о томъ, какъ въ старые годы помѣщики пользовались своими крѣпостными, разстроивая крестьянскія свадьбы и отбирая въ дѣвичью понравившихся имъ особъ прекраснаго пола, говоритъ о стонѣ рабовъ, свистѣ бичей и т. п. Я знаю, что мнѣ могутъ возразить: такъ незьзя судить о художественномъ произведеніи; бесѣда дѣда съ внукомъ только художественный пріемъ, и подобное *формальное* его толкованіе не можетъ имѣть мѣста. Отчего, однако жъ? Я допускаю какіе угодно „художественные пріемы“, но только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ ихъ внѣшняя форма не стояла въ явно фальшивомъ противорѣчіи съ естественностью.

За всѣмъ тѣмъ, указавъ на недостатокъ пьесы г. Некрасова, все-таки слѣдуетъ признать ее во многихъ отношеніяхъ вполнѣ прекрасною. Теплота чувства, простота и выразительность стиха порою такъ хороши, что напоминаютъ лучшія строфы поэта. Появись „Дѣдушка“ раньше, напримѣръ, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда само названіе декабристъ считалось чѣмъ-то запрещеннымъ, это стихотвореніе произ-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1870 г., № 277. Ст. Z. (В. Буренина).

вело бы огромный эффектъ и было бы, конечно, поставлено въ число перловъ поэзіи г. Некрасова. Теперь, послѣ того, какъ наши спеціальныя изданія историческихъ документовъ дали уже нѣсколько мемуаровъ дѣятелей 14-го декабря, послѣ того, какъ въ „Русскомъ Архивѣ" даже начинаютъ обнаруживаться нѣкоторыя пререканія между этими дѣятелями (смотр. замѣчанія г. Свистунова въ 8 и 9 выпуск.)— теперь, разумѣется, стихотвореніе утрачиваетъ большую долю впечатлѣнія. Его замѣтитъ и оцѣнитъ не масса публики, а лишь нѣсколько любителей поэзіи, которые, конечно, съ удовольствіемъ признаютъ, что талантъ г. Некрасова не угасаетъ, и муза его, хотя нѣсколько поздно, находитъ прекрасные поэтическіе мотивы и теплое чувство для ихъ выраженія.

В. Буренинъ.

* * *

*) Бѣлинскій, прочитавши первые опыты стиховъ г. Некрасова, со свойственной ему истинной проницательностію высказалъ объ нихъ такое мнѣніе: „Они проникнуты мыслію; это не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, *дѣльнаго* и современнаго". Это мнѣніе Бѣлинскій высказалъ въ сорокъ шестомъ году, т. е. почти четверть столѣтія назадъ, когда всѣ глубокомыслящіе и неглубокомыслящіе люди того времени только и желали видѣть въ поэзіи безсодержательность, облеченную въ „металлическій стихъ", и когда собственно Некрасовскихъ стиховъ, выдвинувшихъ ихъ автора изъ длиннаго ряда „увлекавшихъ талантомъ графовъ Толстыхъ, Фетовъ, и просто Толстыхъ", еще не появлялось на свѣтъ. Слово—„дѣльнаго" отмѣчено самимъ Бѣлинскимъ. Великій критикъ сказалъ въ своей рецензіи о выступившемъ поэтѣ только двѣ строки, и этими двумя строками съ поразительной ясностью подмѣтилъ и очертилъ всю сущность его сильнаго таланта. Глубина и истинность такого приговора, высказаннаго мимоходомъ, небрежно,— удивительна! Несмотря на множество протекшихъ лѣтъ, они

*) *„Новое Время"* 1870 г., № 164. Статья Ива (И. В. Андреева?).

съ рѣдкой точностью опредѣляютъ намъ образъ г. Некрасова, рисуютъ его всего, во весь ростъ, со всѣми его высокими и исключительными достоинствами... Дѣйствительно, если имѣя теперь въ своихъ рукахъ цѣлыхъ четыре тома неизвѣстныхъ критику произведеній нашего поэта, мы пожелали бы въ настоящее время проникнуть въ глубину его думъ, сказавшаго о себѣ, что онъ призванъ

. . . . . . воспѣть твои страданья,
Терпѣніемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ...

и пожелали бы вмѣстѣ съ этимъ опредѣлить ихъ характеръ и отличительныя свойства, то присутствіе мысли, обнаруженіе сильнаго ума, современности, въ особенности *дѣльность*, отмѣченная Бѣлинскимъ, прежде всего кинулись бы намъ въ глаза... И въ самомъ дѣлѣ, г. Некрасовъ столько же поэтъ, сколько и мыслитель... Поэтъ — и мыслитель! Поэтъ—и объясняетъ народу пути его шествія!... Да съ чѣмъ же это сообразно? гдѣ видано? на что похоже? Гдѣ же божественное вдохновеніе? Гдѣ художественность, поэзія? Гдѣ эстетическія красоты, облагораживающія души смертныхъ людей и возвышающія ихъ надъ мірскою грубостію и порочностію?—Все прямо или косвенно отвергнуто г. Некрасовымъ;—эстетическія красоты имъ поруганы, божественное вдохновеніе опозорено, поэзія оставлена, какъ сусальное золото, только младенцамъ, страдающимъ наслѣдственной золотухой... Вотъ почему, имѣя все это въ виду, нельзя не сознаться, что произведенія г. Некрасова имѣютъ для насъ весьма важное и весьма глубокое значеніе и что на свидѣтельство ихъ можно особенно довѣрчиво положиться.

Въ настоящихъ статьяхъ я не намѣренъ розсматривать всѣхъ стиховъ г. Некрасова, заключающихся въ вышедшемъ въ прошломъ году четвертомъ томѣ... Я ограничусь только тремя, много пятью, ближе другихъ подходящими къ моей цѣли, и попытаюсь отнестись къ нимъ, какъ къ трудамъ мыслителя... Впрочемъ, позвольте,—проиэ-

нося слово „стиховъ", „стихи", а не *стихотворенія*, какъ бы слѣдовало по заведенному обычаю произносить, я считаю не лишнимъ оговориться. Я знаю, что такое съ моей стороны своеволіе легко можетъ быть найдено очень многими выходящимъ изъ границъ приличія, почему иные читатели могутъ съ рѣшительнымъ негодованіемъ отвернуться отъ меня, какъ отъ заблудшей овцы, не признающей многаго святого и неприкосновеннаго. Мнѣ, конечно, это было бы весьма обидно... Несмотря на это, однако, риѳмованно переданныя мысли я все-таки считаю болѣе благоразумнымъ называть „стихами", а не стихотвореніями, и именно главнымъ образомъ потому, что сомнѣваюсь въ существованіи творческой силы, въ существованіи безсознательнаго и священнаго творчества, этого небеснаго огня, снисходящаго на избранныхъ любимцевъ музъ. А само собою разумѣется, что если дѣйствительно нѣтъ этой священной творческой силы, то нѣтъ и творенія, нѣтъ и *стихотворенія*, а есть просто стихи, какъ есть просто и проза. Каждый поклонникъ подобнаго небеснаго огня очень хорошо знаетъ, что такой огонь снисходитъ въ извѣстныхъ, въ риторикѣ прописанныхъ, случаяхъ и на главу того, кто передаетъ свои мысли прозой, и что въ прозѣ, какъ поясняется въ тѣхъ же риторикахъ, можно передавать все то же, что передается въ стихахъ. Однако, зная это, даже самый строгій поклонникъ, повторяю, не осмѣлится назвать грубую прозу — „прозотвореніемъ!" Я не говорю уже о настоящемъ времени; нѣтъ, но и въ прежнія времена, во времена господства эстетическихъ изліяній и восторговъ, когда выходили „Бѣдныя Лизы", „Тарасы Бульбы" и проч., даже и тогда никто не осмѣливался поступить такъ. Почему же слово „творенія", а не писанія не сочиненія, являются монополіей однихъ поэтовъ? Почему, какой-нибудь г. Н. Боевъ, выжимающій съ великимъ трудомъ свои пустые риѳмованные куплеты, и тотъ называетъ ихъ стихотвореніями, и даже, вѣроятно, обидится, когда ихъ ему назовутъ просто стихами? Творческой силы въ подобныхъ бездарностяхъ, конечно, нѣтъ никакой, какъ нѣтъ ее въ сочиняемыхъ казенныхъ объявленіяхъ и проч. За что же *первыя произведенія* считаются все-таки *твореніями*, а вто-

рыя нѣтъ? Ужасная несправедливость!.. Къ произведеніямъ же г. Некрасова слово *„стихотворенія“* относится еще меньше, чѣмъ къ другому. Онъ не поэтъ, если понимать это слово такъ, какъ понимаютъ его словесники. Его каждый стихъ—есть очень умная статья; онъ просто писатель. Еще можно допустить, что г. Боевъ способенъ иногда что-нибудь сотворить, при чемъ творческая безсознательность способна въ такія минуты его одушевить съ головы до ногъ; но допустить то же самое въ г. Некрасовѣ или даже въ гг. Курочкинѣ и Минаевѣ, есть грубое заблужденіе. Эти люди не творятъ, а думаютъ, соображаютъ и пишутъ. Поэтъ прежняго времени, найдя, напр., въ какой-нибудь завалявшейся у себя книжонкѣ забытый неизвѣстно чьей рукой цвѣтокъ, сейчасъ же садился за столъ, клалъ этотъ несчастный цвѣтокъ передъ собой и начиналъ его допрашивать: чей онъ? откуда? кѣмъ положенъ? и проч. На первомъ планѣ у него тутъ, конечно, начинала рисоваться неземная барышня, съ волнистою грудью, прелесть созданія, она, луна и проч. Творческая сила послѣ этого на поэта нисходила необузданная, онъ впадалъ въ безсознательное состояніе и, не отдавая себѣ никакого отчета въ томъ: дѣло онъ дѣлаетъ или нѣтъ (это значитъ осѣняясь вдохновеніемъ)—писалъ, писалъ съ увлеченіемъ, съ жаромъ, ни о чемъ не думая, ничего не имѣя въ виду, ни съ чемъ не согласуясь, ни къ чему не стремясь. Изъ *ничего* такимъ образомъ получалось *нѣчто*, за что, мимоходомъ не излишне замѣтить, платились ему червонцы. Тутъ было твореніе... Въ настоящее время писателю-поэту не приходится этого дѣлать. Забытый кѣмъ-нибудь въ его книгѣ цвѣтокъ теперь уже если и привлечетъ его вниманіе, то развѣ только затѣмъ, чтобы выкинуть его вонъ. Теперь для поэта существуютъ другія условія, другія темы, обязательно требующія съ его стороны основательныхъ размышленій, глубокаго анализа и широкихъ знаній. Теперь ему приходится думать, соображать и „бросать хоть единый лучъ сознанія на путь“, по которому намъ приходится двигаться. Принципъ пользы, универсальный и всемогущій принципъ пользы, теперь долженъ руководить имъ ежеминутно, неотступно, слѣдуя по пятамъ его мышленія, какъ тѣнь,

какъ самый строгій, самый зоркій педагогъ; тамъ же, гдѣ есть размышленіе и анализъ, тамъ уже не можетъ быть безсознателенаго творчества. Эти психическія состоянія взаимно уничтожаютъ одинъ другого. Сознательность и безсознательность есть понятія діаметрально-противоположныя, и рѣшительно исключаютъ другъ друга. Г. Некрасовъ вполнѣ удовлетворяетъ упомянутымъ реальнымъ требованіямъ времени. Поэтому, я еще разъ повторяю, слово *„стихотворенія“* приложимо къ его произведеніямъ меньше, чѣмъ къ кому-либо; оно вовсе не вяжется съ ними, не вяжется настолько, насколько не вязалось бы слово „ученотворенія“, поставленное на сочиненіяхъ Спенсера или Милля, или „прозотворенія“, поставленное на сочиненіяхъ Тургенева, Гончарова. Оно даже кажется оскорбительно для трудовъ г. Некрасова; по крайней мѣрѣ, мнѣ всегда какъ-то странно его видѣть выставленнымъ на его книгахъ... Пора бы реальному мышленію относиться съ меньшею сердобольностью къ стѣсняющимъ его традиціоннымъ формамъ, какихъ бы маловажныхъ размѣровъ ни были эти формы, и пора бы ему повыкидать вонъ изъ употребленія множество устарѣлыхъ словъ, только затемняющихъ понятія и сбивающихъ людей съ толку.

Итакъ, намѣреваясь побесѣдовать съ читателями по поводу стиховъ г. Некрасова, я ограничусь въ своихъ статьяхъ только нѣкоторыми изъ нихъ, именно: „Публикой“, „Газетной“, „Пропала книга“, „Судомъ“ и „Осторожностью“, составляющими совершенно особый элементъ, особенную тему, въ его сочиненіяхъ. Тема эта вызвана нашей прессой и ея измѣнившимся положеніемъ; она вполнѣ закончена и представляетъ много интереса какъ для журналистики, такъ и для общества. Слѣдовательно, какъ читатель и догадывается, я буду имѣть главнымъ образомъ дѣло съ его „пѣснями о свободномъ словѣ“. Хорошо, посмотримъ же, что это за пѣсни, какимъ матеріаломъ онѣ могутъ служить намъ и на какія размышленія могутъ наводить публику. Въ виду постоянно ходящихъ грозныхъ слуховъ о совершающемся у насъ пересмотрѣ дѣйствующаго нынѣ устава о печати, мы думаемъ, что такія размышленія будутъ особенно не лишни.

II.

Но вотъ свобода слова
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково
Теперь пойдутъ дѣла.
Н. Некрасовъ.

Характеристическимъ отпечаткомъ человѣчества служитъ его стремленіе къ истинѣ. Это стремленіе играетъ въ его судьбѣ роль неизсякаемаго источника, освѣщающаго его историческое шествіе, его вѣковое существованіе. Безъ этого плодотворнаго источника невозможно себѣ представить, въ какомъ скотскомъ, идіотическомъ состояніи присмыкались бы люди. Ихъ исторія была бы тогда самая печальная и самая жалкая исторія.

Стремленіе къ истинѣ, а черезъ нее — къ измѣненію внѣшнихъ условій жизни, мнѣній, привычекъ, знаній,— къ устраненію непріятностей и достиженію довольства, является въ людяхъ настолько преобладающимъ и настолько повсемѣстнымъ, что мы не знаемъ ни одного человѣка, ни одного народа, которые прямо или косвенно не направляли бы къ достиженію всего этого своихъ умственныхъ и физическихъ усилій. Каждый человѣкъ желаетъ приблизиться къ истинѣ, желаетъ имѣть истинныя мнѣнія, понятія, знанія, желаетъ этого если не открыто, то тайно, если не активнымъ желаніемъ, то пассивнымъ, если не мытьемъ, то катаньемъ. Объясненіе этого явленія лежитъ въ раціональной способности человѣческаго ума. Этотъ умъ такъ устроенъ и ему присуще такое безцѣнное свойство, обладая которымъ, онъ имѣетъ способность замѣтить свои ошибки и потомъ исправлять ихъ, основываясь на опытѣ и руководясь критикой. Опытъ и критика есть единственныя орудія прогресса, безъ которыхъ немыслимо никакое развитіе, никакой успѣхъ, ничего, кромѣ застоя и мертвенности.

Постоянныя стремленія людей къ истинѣ — съ одной стороны, и не ослабляющаяся способность людского ума исправлять свои ошибки черезъ опытъ и критику — съ другой стороны, имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что мнѣнія и понятія мѣнялись. Считавшіяся истинными въ одно время опровергались и разрушались въ другое, считавшіяся ве-

ликими и многоцѣнными однимъ поколѣніемъ, отвергались и забывались послѣдующими. Лѣтописи прожитой человѣческой жизни поясняютъ намъ, что каждый вѣкъ имѣлъ свои истины, за абсолютную справедливость которыхъ каждый вѣкъ, въ лицѣ своихъ болѣе лучшихъ представителей, готовъ былъ идти на костеръ и отдаваться самымъ страшнымъ мученіямъ. Стоитъ припомнить громадность такихъ историческихъ случаевъ, существующихъ на свѣтѣ, вмѣстѣ съ первымъ постиженіемъ человѣкомъ истины и до нашихъ дней, чтобы прійти отъ нихъ въ изумленіе и убѣдиться въ подвижности и измѣняемости не только умственныхъ, но и многихъ изъ нравственныхъ истинъ, обыкновенно считающихся неподвижными и неизмѣняющимися... Какъ же измѣнялись эти истины? При какихъ условіяхъ и при какихъ обстоятельствахъ совершалось въ исторіи паденіе однихъ и возникновеніе на ихъ развалинахъ другихъ, снова въ свою очередь смѣнявшихся третьими? Въ чемъ именно должно видѣть единственный путь къ открытію истины?—На рѣшеніи этого вопроса, весьма важнаго для моей цѣли, я пока и остановлю вниманіе благосклоннаго читателя.

Если всѣ мы, вслѣдствіе ли экономическихъ соображеній, грубаго разсчета выгодъ, или вслѣдствіе другихъ, болѣе деликатныхъ соображеній, стремимся къ истинѣ, къ истиннымъ знаніямъ, мнѣніямъ, правиламъ поведенія, — а что мы всѣ къ этому стремимся и всѣ этого желаемъ, то противъ дѣйствительности и справедливости такого мнѣнія не можетъ быть представлено никакихъ возраженій даже самыми отпѣтыми обскурантами; смѣлая недобросовѣстность врядъ ли можетъ дойти до такого нахальства, чтобы прямо и открыто рѣшиться утверждать, что человѣчество не хочетъ истины и вовсе не желаетъ достигать ни болѣе истинныхъ мнѣній, ни болѣе истинныхъ понятій!—Если всѣ мы, говорю еще разъ, стремимся къ истинѣ и желаемъ ее знать, то знаніе условій, путей, при которыхъ только и могутъ быть осуществимы наши желанія, — знаніе такихъ путей, открывающихъ истины, представляется для насъ самымъ существеннымъ и самымъ желательнымъ вопросомъ. Зная *правильное разрѣшеніе* этого вопроса, мы этимъ только

однимъ дѣлаемъ уже половину дѣла, потому что избавляемъ себя отъ безплодной необходимости бродить съ завязанными глазами по пустыннымъ полямъ невѣдѣнія и не рискуемъ, вмѣсто обрѣтенія истины, расшибить себѣ черепъ объ первое поставленное препятствіе. Люди зрячіе имѣютъ полные шансы прямымъ путемъ достигать спасительнаго острова, путемъ,—составляющимъ предметъ искренней зависти людей слѣпыхъ.

Когда человѣку желательно поступить такъ, чтобы его поступокъ могъ служить образцовымъ правиломъ для другихъ, или когда ему желательно вообще поступить безукоризненно справедливо, онъ начинаетъ обыкновенно размышлять... Кажется, тутъ нѣтъ ничего неестественнаго?—онъ представляетъ себѣ вопросъ, сосредоточившій его вниманіе, открытымъ, самъ дѣлаетъ на его возраженія, самъ опровергаетъ эти возраженія, и продолжаетъ заниматься такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока запасъ аргументовъ, имѣвшихся въ его умственномъ арсеналѣ, окончательно не истощится, и пока послѣднее слово не останется за тѣмъ или другимъ изъ передуманныхъ имъ мнѣній. Тогда мучительныя сомнѣнія окончены, и человѣкъ поступаетъ именно такъ, какъ указываетъ ему строгій разумъ. Поступая же въ подобномъ случаѣ извѣстнымъ образомъ, онъ остается совершенно спокоенъ относительно правильности и безпристрастности своего дѣйствія, ибо сознаетъ, что имъ было сдѣлано все, что только можно было сдѣлать для полученія истиннаго правила поведенія. Точно также поступаютъ и тѣ, кто, по малоумію, въ дѣлахъ, лично касающихся ихъ самихъ, обращается за свѣтомъ къ другимъ, и тѣ, кто, по добросовѣстности, въ дѣлахъ непосредственно касающихся постороннихъ лицъ, обращается за выслушаніемъ мнѣній къ этимъ постороннимъ лицамъ. Всюду, слѣдовательно, преобладающей чертой рельефно обнаруживается такая черта; по которой для полученія истиннаго руководящаго начала, истиннаго мнѣнія по открывшемуся обстоятельству, первоначально требуется его всестороннее обсужденіе, независимая критика, такое обсужденіе и такая критика, которыя не оставили бы въ разсматриваемомъ обстоятельствѣ ни одной

мельчайшей частицы, не представивъ противъ нея все, что только можетъ представить къ обвиненію самый „грозный прокуроръ“, разумѣется, ничего не искажающій и ничего не утаивающій. Положенныя на вѣсы безпристрастія доводы прямо и просто покажутъ тогда каждому, что именно при такомъ условіи должно быть принято и что должно быть за негодностью отвергнуто. Справедливость тогда удовлетворена и истина открыта...

Такимъ образомъ, всесторонность обсужденія, полная свобода, добросовѣстность и не устрашимость требуются отъ каждаго человѣка, если онъ вознамѣривается достигнуть правильнаго пониманія своихъ поступковъ и если въ особенности ему желательно, чтобы принципы, управляющіе его дѣйствіями, отличались бы истинностью. Условія не очень тяжелыя и, кажется, для каждаго сподручныя... Въ самомъ дѣлѣ, какъ можете вы убѣдиться въ истинности извѣстнаго мнѣнія, не выслушавъ внимательно все, что только можетъ быть представлено человѣческимъ умомъ, имѣющихъ полнѣйшую основательность считаться современнымъ,—представлено въ защиту и противъ этого мнѣнія? Какъ можете вы быть увѣрены, что ваше сужденіе, хотя бы о весьма маловажномъ предметѣ, истина, если оно не подверглось самому строгому инспекторскому осмотру, и если этотъ инспекторскій осмотръ не остался имъ доволенъ? Вглядитесь въ себя внимательнѣе и скажите: когда именно убѣжденія, которыя вы имѣли случай сами вырастить, заслуживаютъ въ вашихъ глазахъ полной увѣренности и не заставляютъ васъ болѣе сомнѣваться относительно своихъ достоинствъ? Тогда, когда окружающіе васъ люди, возставая противъ нихъ, истощили къ ихъ опроверженію всѣ свои возраженія, когда убѣжденія все-таки остались непоколебимы, и когда, оставаясь такими, держатся вами открыто, гласно, предлагаясь всѣмъ желающимъ ежеминутно снова опровергать ихъ, т. е. именно тогда, когда они охраняются не бдительными, стоокими драконами, а своей внутренней, этимъ убѣжденіямъ присущей силой. Тогда вы торжествуете; вашимъ радостямъ и наслажденіямъ нѣтъ конца. Вы довольны, спокойны, счастливы. Вы очень хорошо видите, что

вы поступили самымъ разумнымъ образомъ, что не оставили безъ вниманія ни одного мнѣнія, терпѣливо выслушали даже нелѣпѣйшія изъ нихъ, еще съ большимъ терпѣніемъ представили противъ высказанныхъ нелѣпостей свои объясненія, инквизиторски не закрывали ушей, когда вамъ говорили дѣло—и несмотря на это, истинность вашихъ мнѣній осталась все-таки не разрушенной и не покачнувшейся. Держа ихъ для всѣхъ открытыми, а не въ тайнѣ, не подъ запрещеніемъ критикѣ касаться ихъ, вы предлагали каждому желающему ихъ опровергать; но желающихъ больше не явилось, опроверженій больше не представилось, — и вотъ ваши мнѣнія, возможно испытанныя и никѣмъ больше незадерживаемыя, какъ непреложно истинныя разлетаются по всему свѣту. Теперь они дѣйствительно будутъ всѣми признаны за истинныя... Подобное торжество и наслажденіе испытываетъ, напр., въ настоящую минуту „почтенный старецъ“ Дарвинъ, благополучно управившійся съ господами Келликерами и имъ подобными. Онъ теперь съ гордостью видитъ, какъ противъ его убѣжденій оказались безсильны всѣ іезуитскія ухищренія противниковъ, и какъ выношенная имъ теорія, разрушая старыя основанія науки, оказалась побѣдительницею и величественно разносится по всѣмъ образованнымъ странамъ міра... Отсюда, слѣдовательно, весьма явственно вытекаетъ тотъ немудреный выводъ, что непоколебимымъ, незыблемымъ ручательствомъ истинности извѣстнаго ученія или теоріи служитъ не авторитетъ, не ихъ многовѣчность, не вѣра въ нихъ громаднаго большинства (а сколько у насъ такихъ „истинъ“, о которыхъ ничего нельзя говорить и которыхъ требуютъ считать за истины!), а то обстоятельство, что эти теоріи, находясь въ глазахъ всѣхъ людей открытыми для гласнаго, всесторонняго и свободнаго обсужденія, не встрѣчаютъ больше противъ себя никакихъ возраженій. Вотъ фундаментъ истины и увѣренности въ ней для каждаго. Безъ этого фундамента не можетъ быть ни того ни другого. Безъ него мнѣніе, признающееся за истинное, есть мертвая буква, неразумная увѣренность — слѣпое и безотчетное поклоненіе. Возьмите какую угодно изъ дѣйствительныхъ истинъ — только возьмите изъ „дѣйствитель-

ныхъ“, имѣющихъ подъ собой указанный фундаментъ и защищающихъ себя не съ помощью насилія, а своей внутренней силой, — возьмите хоть вращеніе земли, тяготѣніе тѣлъ, въ которыя вы вѣрите... Взяли? — Прекрасно. Рѣшите же теперь, что служитъ для васъ непоколебимымъ ручательствомъ истинности этихъ великихъ законовъ. То ли вы видите тутъ, что и относительно другихъ истинъ, о которыхъ вамъ говорятъ, что они потому истинны, что „освящены вѣками“, и поэтому относительно ихъ не можетъ быть допущена никакая свободная критика! Но могутъ ли, при подобномъ условіи, онѣ быть приняты за непреложныя, не вызывающія сомнѣнія истины?... При какихъ же обстоятельствахъ люди могутъ принять извѣстное мнѣніе за истинное? Въ чемъ именно слѣдуетъ видѣть единственный путь къ открытію истины и что именно должно служить твердымъ ручательствомъ ихъ дѣйствительности?... Подумайте объ этомъ хорошенько и отвѣтьте себѣ, благосклонный читатель.

III.

Дыбомъ становится волосъ,
Чѣмъ наводнилась печать!...
Н. Некрасовъ.

*) „Понятно, понятно!“ говоритъ мнѣ читатель, въ которомъ, однако, нетрудно угадать читателя неблагосклоннаго.—Вы стараетесь доказать, что нѣтъ такихъ истинъ, которыя сами, безъ объясненій и обсужденій, непосредственно, убѣждали бы людей въ своей непогрѣшимости. Вы думаете, что каждое мнѣніе непремѣнно требуетъ провѣрки, строгаго анализа и свободной критики... Вы внушаете, что такому только мнѣнію и можно оказывать довѣріе, которое имѣло всѣ средства быть истиннымъ, черезъ обсужденіе его со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, черезъ выслушиваніе всевозможныхъ возраженій, черезъ самое безпристрастное сравненіе, сопоставленіе и проч. Вы, слѣдовательно, только въ этомъ видите единственный путь къ открытію истины, единственное ручательство истинности? Понятно!... Но вы заблуждаетесь, отвѣчаютъ мнѣ, глубоко заблуждаетесь! Вѣдь,

*) „Новое Время“ 1870 г., № 165.

это можетъ распространить ужасныя послѣдствія. Вѣдь, это можетъ повести за собой то, что...

Дыбомъ становится волосъ,
Чѣмъ наводнится печать,—
Даже умѣренный „Голосъ"
Станетъ не въ мѣру кричать!

Я спѣшу перебить такого читателя, докладывая ему, что у насъ давно уже и свободное слово и многое другое допущены самимъ правительствомъ, слѣдовательно, объ этомъ говорить много нечего. Въ подтвержденіе же дѣйствительности этого событія, я даже сошлюсь ему, для большей убѣдительности, на приводимаго г. Некрасовымъ разсыльнаго, дѣдушку Миная, тридцать лѣтъ добывающаго себѣ хлѣбъ литературнымъ трудомъ и досконально знакомаго со всѣми вопросами, касающимися отечественной прессы. Онъ торжественно объясняетъ:

— „Баста ходить по цензурѣ!
Ослобонилась печать,
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ
Только и носимъ статьи...
Словно повысились въ чинѣ,
Ожили, дѣтки мои!

(„Разсыльн.")

Слѣдовательно, не подлежитъ сомнѣнію, что у насъ въ настоящее время существуетъ свобода слова, а вмѣстѣ съ этимъ и всѣ требующіяся основанія для свободной критики... Во всякомъ случаѣ, какъ бы то ни было, но тотъ фактъ, который характеризуетъ отношеніе публики къ этому новому еше у насъ явленію, освобождающему мысль изъ-подъ сковывающей ее опеки, разрушающему общественныя тридиціи и ведущему народъ къ свѣту, — этотъ фактъ заслуживаетъ большого вниманія. Несмотря на всю очевидную необходимость и пользу независимаго слова и независимой критики, эта публика относится, однако, къ нимъ крайне враждебно. Она видитъ въ нихъ самаго злѣйшаго врага своимъ вѣрованіямъ, нравамъ и всему тому, что ее кормитъ и поитъ, и

что боится вызвать о себѣ сужденія... Конечно, тутъ предполагается только *извѣстная* публика, никакъ не все общество, всегда высоко цѣнящее свободу слова, именно—та публика, члены которой „другого закона", кромѣ дендизма въ жизни, не знаютъ, которые живутъ людьми хорошаго тона и умирать ими желаютъ, которые поздно привыкли ложиться, поздно привыкли вставать, кушать кофе, помадиться, бриться, ногти точить и усы завивать; часъ или два передъ тонкимъ обѣдомъ „Невскій проспектъ шлифовать", изъ которыхъ болѣе лучшіе—

Систему полумѣръ принявъ за идеалъ,
Ни прогрессистъ ни консерваторъ,
Добро ты портилъ, зла не улучшалъ,
Но честный былъ администраторъ...

(*„Медвѣжья Охота".*)

Всѣ эти высокіе господа, когда говорятъ имъ о свободной литературѣ, о свободѣ мнѣній, требуемыхъ и разумомъ и общимъ благосостояніемъ, возстаютъ противъ нихъ со всею энергіею честолюбивыхъ душъ. Дозволять каждому высказывать безъ стѣсненія свой образъ мыслей, свободно представлять возраженія и доказательства противъ истинъ и порядковъ, хотя бы освященныхъ и опробованныхъ вѣками, это значитъ, по ихъ убѣжденію, прямо смущать неопытные умы, потрясать всѣ священныя основы въ самомъ ихъ основаніи! Это значить допускать, чтобы братъ подымалъ руку на брата, сынъ на отца, чтобы всѣхъ обуяло самое дикое невѣріе и чтобы во всемъ воцарилась самая ужасная анархія!... Но такъ ли это? Не вызываются ли подобныя сужденія другими мотивами, менѣе умозрительными, отвлеченными и болѣе наглядными?

Въ стихѣ „Публика" г. Некрасовъ мастерски представилъ намъ именно этихъ людей своеобразнаго образа мыслей, ихъ credo—самое жалкое и самое убогое; объ немъ не дозволяется свое сужденіе имѣть не почему другому, какъ только потому, что его поклонники не желаютъ утратить—„кровныя лошади... поваръ французъ, и, Боже! какіе давать *обѣды: роскошь, изя*щество, вкусъ!"—Это credo, какъ не труд-

но догадаться, и заставляетъ ихъ съ такимъ ожесточенiемъ накидываться на независимую свободу мнѣнiй... Вотъ сiи отчаянные вопли разстроившихся обѣдовъ съ роскошью, изяществомъ, вкусомъ, глубоко захвачены и воспроизведены съ достовѣрностью и точностью лѣтописца г. Некрасовымъ. Онъ передаетъ это „бѣшеное завыванiе волковъ, у которыхъ выпали зубы", ихъ собственными словами, не могущими не возбуждать чувства нерасположенiя и злости. Вотъ они:

Боже пошли намъ терпѣнье!..
Или цензура воспрянь!
Всюду одно осужденье,
Всюду нахальная брань!
Въ цивилизованномъ классѣ
Будто растленье одно,
Бѣдность безмѣрная въ массѣ
(Гдѣ же берутъ на вино?)
Въ каждомъ найдется старанье,
Въ каждомъ продажная честь,
Только подъ шубой бараньей
Сердце хорошее есть!..

Нынче журналы читая,
Просто не вѣришь глазамъ,
Слышали—новость какая?
Мы же должны мужикамъ!..

Слышали? Все лишь подобье,
Все у насъ маска и ложь,
Глупость, развратъ, узколобье...

Мало, что въ сферѣ публичной
Трогаютъ всякiй предметъ,
Жизни касаются личной!
Просто спасенiя нѣтъ!
Если за добрымъ обѣдомъ
Выпилъ ты лишнiй бокалъ
И, поругавшись съ сосѣдомъ,
Громкое слово сказалъ,
Не говорю ужъ—подрался
(Рѣдко другъ друга мы бьемъ),
Хоть бы ты тутъ же обнялся
Съ этимъ случайнымъ врагомъ—
Завтра жъ въ газетахъ напишутъ!
Господи! что за скоты!..

Просто не стало свободы,
Чести нельзя защитить...
Эхъ, эти новыя моды!

Прежде лишь мелкій чиновникъ
Былъ твоей жертвой, печать,
Если жъ военный чиновникъ—
Стой! ни полслова! молчать!
Но отъ чиновниковъ быстро
Дѣло дошло до тузовъ,
Даже коснулся министра
Неустрашимый Катковъ!..

Къ той же категоріи особъ слѣдуетъ причислить и героя другого стиха г. Некрасова—„Газетная", о которомъ я буду подробно говорить въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Его разсужденіе также заслуживаетъ вниманія, ибо оно, по глубинѣ анализа, весьма поучительно и весьма достовѣрно характеризуетъ озлобленіе противъ свободы мнѣній человѣка, весь свой вѣкъ кормившагося несвободой и стѣсненіемъ этихъ мнѣній. Этотъ отставной цензоръ восклицаетъ:

Ужасаюсь, читая журналы!
Гдѣ я? гдѣ? Цѣпенѣетъ мой умъ!
Что ни строчка,—скандалы, скандалы!
Вотъ взгляните—мой собственный кумъ
Обличенъ! Моралистъ-проповѣдникъ,—
Цыцъ! умолкни журнальная тварь!..
Онъ дѣйствительный статскій совѣтникъ,
Этотъ чинъ даровалъ ему Царь!
Мало имъ, что они Маколея
И Гизота въ печать провели,
Кровопійцу Прудона, злодѣя
Тьера выше небесъ вознесли,
Къ украшенью имперіи смѣютъ
Прикасаться нечистой рукой!
Будетъ время—пожнутъ, что посѣютъ!—
(Старецъ грозно качнулъ головой).
— А свобода, а земство, а гласность!
(Крикнулъ онъ и очки уронилъ):
Вотъ гдѣ бѣдствіе, вотъ гдѣ опасность
Государству...

(„Газетная".)

Все пошатнулось... *О, гдѣ ты*
Время безъ бурь и тревогъ?..
Въ Бога не вѣрятъ газеты,
И отрицаютъ поэты
Пользу желѣзныхъ дорогъ!
Дыбомъ становится волосъ,
Чѣмъ наводнилась печать!

(*„Публика“.*)

Однако, я думаю, будетъ не лишнимъ нѣсколько пріостановиться и посмотрѣть, что это за время безъ бурь и тревогъ, дающее, какъ видно, прочныя основанія для людей своеобразнаго образа мыслей изливать имъ свои недоброжелательныя разсужденія. Можетъ быть, это было хорошее и счастливое время, о которомъ нельзя не сожалѣть и къ которому нельзя не стремиться. Можетъ быть, тогда довольство было такъ всеобще, такъ глубоко и полно, что исключало всякія поводы для бурь и тревогъ. Но -- увы!.. Время это, съ достаточною отчетливостью воспроизведенное въ прежнихъ произведеніяхъ г. Некрасова, имѣетъ ключъ къ своему пониманію и въ разсматриваемомъ нами IV томѣ. Я ограничусь только нѣкорыми данными изъ одного этого тома. Это время безъ бурь и тревогъ было вотъ какое время:

... писать не время было:
Почти что ничего тогда не проходило!
Бывали случаи: весь вѣкъ
Считался умнымъ человѣкъ,
А въ книгѣ глупымъ очутился:
Пропалъ и умъ, и слогъ, и жаръ,
Какъ будто съ умнымъ приключился
Апоплексическій ударъ!..

—

Когда одни житейскія условія
Сближали насъ, а попросту расчетъ,
И лишь въ одномъ сближались всѣ сословья,
Что дружно налегали на народъ.

—

Не думая о томъ, что будетъ далѣ,
Мы всѣ тогда жирѣли, наживали
Всѣ, разумѣется, кромѣ крестьянъ.

—

... давно не очень
Жизнь на Руси груба была
И, какъ подъ музыку, текла
Подъ градъ ругательствъ и пощечинъ...

—

Великій вѣкъ—великихъ мѣръ!
„Не разсуждать—повиноваться!“
Девизъ былъ общій...
Когда въ отвѣтъ стенаніямъ народа,
Мысль русская стонала въ полу-тонъ.

(Изъ „Медвѣжьей Охоты“.)

Но довольно... Это время безъ бурь и тревогъ мы теперь знаемъ; оно извѣстно всѣмъ. Оно и теперь еще живо въ русской памяти и не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ. Достаточно произнести одно слово, чтобы это время мрачной картиной воздвиглось передъ каждымъ... Такъ вотъ чего вы желаете! вотъ изъ какого золотого источника выходятъ ваши отрицанія свободы мысли, ваши опасенія и ваши своекорыстныя мѣропріятія! Вотъ почему вы считаете вредной независимую критику, и не желаете допустить свободы мнѣній! Вамъ не нужны дѣйсвительныя истины...

Такимъ образомъ, выходя изъ такого нечистаго источника, прикрываясь тѣмъ или другимъ знаменемъ, особаго закала публика полагаетъ, что свободное выраженіе мнѣній, свободное обсужденіе всѣхъ вопросовъ и всѣхъ степеней важности можетъ повести за собой не добро, а зло, не благо, всегда и вездѣ зависящее отъ количества изслѣдованныхъ и открыто содержимыхъ мнѣній, находящихся въ пользованіи страны, а обратно: повести повальное нравственное и умственное разложеніе. Свои мнѣнія и вѣрованія этого рода публика считаетъ такимъ образомъ абсолютно-правильными, неприкосновенными и священными. А считая ихъ съ видимой самоувѣренностью такими, они далѣе утверждаютъ, что допустить ихъ изученіе и свободное выраженіе объ нихъ сужденій—рѣшительно нельзя, ибо сейчасъ же явятся ложные пророки, ложныя толкованія, посѣются сѣмена сомнѣнія, смущенія, и всѣ мирные граждане, въ самое непродолжительное время, совратятся съ путей добродѣтели... Слѣдова*тельно, для того* чтобы разрѣшить — на чьей сторонѣ, въ

настоящемъ случаѣ, скрывается справедливость, намъ нужно рѣшить слѣдующіе вопросы. Во-первыхъ: если общепринятыя мнѣнія и именно тѣ мнѣнія, которыя отстаиваетъ эта публика, дѣйствительно истинныя, то свободное обсужденіе ихъ, т. е. обсужденіе уже ложное, неосновательное, ведетъ ли всегда за собой разрушительные для общества результаты, ведетъ ли къ невѣрію, къ анархіи, или, какъ утверждаемъ мы, — напротивъ, оно благотворно. Потомъ второй вопросъ, обратно: если общепринятыя общественныя мнѣнія ложныя, и свободно обсуждающія ихъ—истинныя, то тогда что... Мы остановимся предварительно на первомъ положеніи. Слѣдовательно, намъ нужно будетъ допустить, что всѣ наши общепринятыя мнѣнія, считающіяся большинствомъ за истинныя — дѣйствительно истинныя... Хорошо, мы и допускаемъ.

IV.

*) Исторія намъ свидѣтельствуетъ, что люди очень часто самообольщались открытыми ими истинами. Какъ ни прискорбно такое явленіе, но оно находитъ себѣ мѣсто во всѣ времена, ибо, какъ оказывается, всегда отыскивались личности, которымъ подобныя самообольщенія приносили прямыя или косвенныя выгоды. Достигая только до относительной истинности извѣстнаго мнѣнія, теоріи или доктрины, они начинали утверждать, что постигали ихъ абсолютно, на всѣ времена, непогрѣшимо... Возмутительное явленіе! Стыдъ и позоръ кладетъ оно на лица людей, считающихъ себя разумными и мыслящими существами!

Мы можемъ наслаждаться, гордиться найденными нами истинами, — держа ихъ все-таки для обсужденія постоянно открытыми, если только не желаемъ умышленно надувать себя ихъ правильностью; но сладко и самоувѣренно дремать съ ними, воспрещая безпристрастной и свободной критикѣ касаться ихъ, — не достойно мыслящаго существа. Честный и мыслящій человѣкъ можетъ въ подобномъ случаѣ говорить только одно: я обладаю истиною... пока противное не будетъ доказано. Своекорыстное несоблюденіе этого ра-

*) „Новое Время“ 1870 г., № 169.

зумнаго правила породило офиціальныя истины. Отсюда же вытекла ложная и пошлая увѣренность людей въ непогрѣшимости своихъ сужденій, расплодившихъ нетерпимость и гоненія. Событія доказываютъ, что человѣческія мнѣнія, по мѣрѣ развитія знаній, измѣняются,—и съ этимъ согласны всѣ. И несмотря на это, относительно нѣкоторыхъ, болѣе важныхъ мнѣній, все-таки люди утверждаютъ, что они всевѣчны! Есть ли тутъ логическая послѣдовательность?... Но недопускать высказывать сужденія противъ мнѣній, хотя бы истинныхъ и самыхъ цѣнныхъ (явятся или не явятся желающіе принять на себя такой трудъ—это для насъ въ данномъ случаѣ совершенно различно), не допускать высказывать сужденія только потому, что намъ кажется ихъ истинность завершенною, это значитъ признавать себя непогрѣшимѣйшими судьями въ самыхъ труднѣйшихъ вопросахъ. Это значитъ признавать свои убѣжденія безусловно правильными, и убѣжденія всѣхъ другихъ людей — безусловно ложными. Но можетъ ли здравый человѣческій разумъ дойти до такой дерзкой смѣлости? Разумѣется, нѣтъ. Каждый мыслящій человѣкъ, который имѣлъ бы уже больше основаній утверждать противное, непремѣнно возстанетъ противъ такого шарлатанства невѣждъ. И чѣмъ онъ будетъ болѣе убѣжденъ, чѣмъ, слѣдовательно, будетъ, повидимому, имѣть больше основаній утверждать противное, тѣмъ онъ и возстанетъ энергичнѣе. Для примѣра я возьму самый наглядный примѣръ. Я пишу настоящую статью стальнымъ перомъ, ручка котораго выточена изъ дерева. Въ томъ, что эта ручка дѣйствительно выточена изъ дерева и что она деревянная—въ истинности этого „мнѣнія“ я убѣжденъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ истинности всѣхъ отвлеченныхъ доктринъ, которыя я, однако, считаю за истинныя и въ которыя вѣрю. Я убѣжденъ въ истинности этого мнѣнія до такой степени живой увѣренности, до какой, смѣю думать, самъ Филиппъ II не былъ убѣжденъ въ истинности своей святой католической вѣры. Я объявляю всѣмъ, что ручка, которою я пишу, дѣйствительно деревянная... Но вотъ ко мнѣ подходятъ люди и также объявляютъ, что они имѣютъ *нѣкоторыя основанія* предполагать, что ручка, о которой я

съ такою увѣренностью говорю, есть не деревянная!!! Какъ я откажусь отъ выслушанія ихъ мнѣнія (воспрещу ли имъ говорить его, или только не пожелаю его слушать—это все равно)... Какъ я заранѣе, не зная ихъ доводовъ, окрещу таких людей именемъ лжецовъ и еретиковъ? Напротивъ, я съ полнѣйшею радостью стану внимать ихъ возраженіямъ. Я даже самъ отправлюсь отыскивать такихъ людей, если только узнаю навѣрное, что такіе господа дѣйствительно существуютъ и докажутъ мнѣ мое заблужденіе. Я отдамъ имъ за это свое разубѣжденіе все, что имѣю, даже сниму послѣдній крестъ съ себя... Такъ сильно увѣренъ я въ истинности этого мнѣнія и такъ горячо я желалъ бы, чтобы даже и въ такомъ случаѣ мнѣ было доказано мое заблужденіе! И такимъ образомъ непремѣнно поступитъ каждый со своими истинами, если только онъ не захочетъ себя недобросовѣстно обманывать. Тутъ является полнѣйшее желаніе слышать убѣжденіе противное нашему, имѣющее смѣлость говорить намъ, что мы заблуждаемся. Тутъ могутъ встрѣчаться такія столкновенія, когда человѣкъ дѣйствительно легко рѣшится поставить на карту все, чтобы только имѣть пріятность видѣть себя разубѣжденнымъ. И вотъ законъ для разумныхъ людей: чѣмъ глубже мыслящій человѣкъ убѣжденъ въ истинности извѣстнаго мнѣнія, тѣмъ шире въ немъ желаніе выслушать объясненія, доказывающія его заблужденіе, т.-е. что убѣжденіе въ истинности мнѣнія прямо пропорціонально желанію слышать доказательства неистинности мнѣнія.

Устанавливая такой законъ, я не думаю его ограничивать для громаднаго большинства неразумныхъ людей, изъ которыхъ, какъ мнѣ могутъ возразить, очень много найдется глубоко убѣжденныхъ въ истинности своихъ мнѣній, и въ то же время вовсе не желающихъ слышать доказательства ихъ истинности. Въ подтвержденіе справедливости такого возраженія, иные, можетъ быть, сочтутъ нужнымъ представить тьму историческихъ личностей, во вкусѣ упомянутаго сейчасъ мною Филиппа II. Но всѣ эти факты и все ихъ краснорѣчіе ровно ничего не будетъ доказывать. Дѣло въ томъ, что убѣжденіе убѣжденію — розь бываетъ. Одну увѣренность въ истинности извѣстнаго мнѣнія можно

назвать глубокимъ убѣжденіемъ, и это будетъ дѣйствительное убѣжденіе, потому что основано на самыхъ лучшихъ началахъ, а другая увѣренность будетъ чортъ знаетъ что, „сапоги всмятку", а не убѣжденіе. И не можетъ оно назваться убѣжденіемъ никогда, потому что оно не прошло черезъ тѣ реторты и снаряды, черезъ которые проходитъ всякое дѣйствительное убѣжденіе, прежде чѣмъ оно сдѣлается такимъ: — оно не жглось въ пламени свободной критики. Вотъ, если бы всѣ эти убѣжденія погорѣли бы въ немъ, да закалились бы—ну, тогда дѣло другое; тогда можно было бы ихъ назвать глубокими убѣжденіями, а безъ этого всякій сумбуръ, всякую белиберду, витающую въ головахъ такихъ публицистовъ,—какъ Краевскаго, Каткова или Старчевскаго, болѣе порядочные люди всегда будутъ величать ихъ неотъемлемыми именами.

Такимъ образомъ, слѣдовательно, обнаруживается, что люди, чѣмъ слабѣе убѣждены въ истинности извѣстныхъ мнѣній, тѣмъ они больше не желаютъ выслушивать доказательствъ мнѣній противныхъ, тѣмъ они, значитъ, нетерпимѣе. Изъ весьма достовѣрныхъ источниковъ извѣстно, что человѣкъ, чѣмъ вообще имѣетъ меньше убѣжденій, тѣмъ онъ неразсудительнѣе и невѣжественнѣе. Это кажется очень просто. Наши провинціи могутъ въ этомъ отношеніи служить самыми убѣдительными примѣрами.—Такіе люди, думающіе и разсуждающіе только желудкомъ, отличаются самой необузданной и самой дикой нетерпимостью. Слѣдовательно: непогрѣшимость и невѣжество — синонимы. Но если допустить свободное выраженіе мнѣній и противъ высочайшихъ истинъ, важность которыхъ не имѣетъ предѣловъ, то не значитъ ли этимъ прямо обнаружить свое сомнѣніе въ этихъ истинахъ, свою неувѣренность въ ихъ непогрѣшимости? Мыслящіе люди требуютъ анализа вопросовъ, основанія которыхъ непоколебимы. Мы не знаемъ, къ чему приведутъ ихъ изслѣдованія, но если они уже будутъ во всякомъ случаѣ анализировать такія истины, которыя стоятъ выше всякаго анализа,—то этого достаточно, чтобы такое дерзкое помышленіе могло счесться оскорбительнымъ для святости истины. Какъ ни лукавствуйте, но, желая

свободнаго обсужденія общепринятыхъ истинъ, вы, мыслящіе люди, непремѣнно не вѣрите въ нихъ. Грубое заблужденіе! Вы говорите, что это высочайшія истины?—Хорошо. Но въ такомъ случаѣ дайте же намъ возможность и убѣдиться въ этой важности настолько же полно и глубоко, насколько того требуетъ сама важность вопроса. Мыслящимъ людямъ желательны тѣ истины, значеніе которыхъ, по вашимъ словамъ, не имѣетъ предѣловъ, видѣть въ своемъ сознаніи не закрытыми глазами, а открытыми; они хотятъ знать ихъ такъ, какъ только можетъ разумное существо знать самыя драгоцѣнныя для него мнѣнія, т. е. всесторонне и всеобъемлюще. Путь къ этому извѣстенъ... Вотъ только объ этомъ мы и хлопочемъ.

Итакъ, говорю еще разъ, я допускаю, что всѣ мнѣнія, общепринятыя въ нашемъ обществѣ, абсолютно истинны; болѣе важныя — охраняются имъ болѣе бдительно, менѣе важныя — менѣе бдительно. Будемъ же теперь смотрѣть, какія разрушительныя послѣдствія вытекаютъ для неразвитыхъ массъ отъ свободнаго обсужденія болѣе важныхъ изъ такихъ непреложныхъ мнѣній.

„Освободитель умственнаго развитія Европы“, Декартъ, устанавливая принципы новой философіи, которая, впрочемъ, для нашего времени уже давно перестала быть новой, высказалъ также положеніе, — „что умъ человѣческій долженъ останавливаться только на очевидности, имъ самимъ пріобрѣтенной“. Положеніе это, взятое отдѣльно, безъ общихъ толкованій Декарта, справедливо. „Когда я, говоритъ французскій философъ, приступилъ къ изысканію истины, я нашелъ, что лучшее средство для этого отбросить все, что я получилъ, и отказаться отъ моихъ старыхъ мнѣній, съ тѣмъ чтобы положить имъ новое основаніе; я думалъ, что такимъ образомъ легче выполню великую задачу жизни, чѣмъ если бы держался старыхъ началъ, которыя я принялъ въ молодости, не разсматривая, дѣйствительно ли они вѣрны (Бокль. „Исторія Цивилизацій“ Кн. II, стр. 439). Изъ такихъ объясненій, слѣдовательно, вытекаетъ, что для того, чтобы познать истину, „прежде всего должно освободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью отвергнуть до но-

ваго испытанія все, что мы приняли прежде", и затѣмъ, приступая къ изысканіямь, останавливаться уже только на тѣхъ очевидностяхъ, которыя будутъ тогда *нами* замѣчены. Слѣдовательно, въ основѣ изысканія истины человѣкомъ, должно лежать его „я", а не я какого-нибудь Ивана Яковлевича Корейши...

Не подлежитъ сомнѣнію, какъ я уже и говорилъ,—что истина, чѣмъ значительнѣе въ глазахъ общественнаго мнѣнія, тѣмъ съ большею силою она должна приковывать наше вниманіе, тѣмъ съ большею энергіею, откинувъ предразсудки и предвзятыя понятія, мы должны приложить и стараніе убѣдиться въ ея очевидности. Надъ чѣмъ же мыслящимъ существамъ и раскрывать свои способности, какъ не надъ предметами первостепенной важности?... Устанавливая въ своей философіи принципъ, могущій для очень многихъ казаться атеистическимъ, Рене Декартъ обратился къ самому драгоцѣннѣйшему мнѣнію для людей, именно къ вопросу о существованіи Бога. Но анализируя его (вопросъ), онъ пришелъ въ окончательномъ результатѣ къ тому выводу: что такъ какъ „я есмь то, что думаетъ,—то бытіе Бога не подлежитъ никакому сомнѣнію". Не правда ли, какъ это просто и остроумно?... Не вытекаетъ ли отсюда то, что истина всегда останется истиной,—и только заблужденія, при правильномъ методѣ изслѣдованія, выкинутся вонъ?

Но не въ этомъ кроется главная сторона дѣла. Недопущеніе свободнаго и всесторонняго обсужденія мнѣній, считающихся за непреложно истинныя, ведетъ за собой еще болѣе важныя послѣдствія. Всякая истина, если она не имѣетъ людей, которые посвятили бы себя ей на безкорыстное служеніе, которые бы изслѣдовали ее и о которой свободно излагали бы свои мнѣнія, всякая такая истина, захваченная въ руки однихъ благорожденныхъ и слѣпыхъ послѣдователей, неизбѣжно современемъ покрывается плѣсенью и наградитъ своихъ адептовъ еще большей слѣпотой и скудоуміемъ. Плѣсенью она покрывается оттого, что до нея не касаются человѣческія руки, и она пребываетъ въ ненарушимомъ спокойствіи; слѣпота же послѣдователей обнаруживается оттого, что они, ничего не считая нужнымъ разсма-

тривать, до крайней степени отучаютъ свое зрѣніе совершать его спеціальное отправленіе. Когда въ полѣ нѣтъ враговъ, говоритъ одно старинное поученіе, то воины обыкновенно дремлютъ или засыпаютъ, когда же враги наступаютъ, воины пробуждаются, воодушевляются и оказываютъ удивительнѣйщіе подвиги геройства и мужества. Въ жизни всѣхъ вѣковъ, если мы обратимся къ прожитымъ событіямъ, люди дѣйствительно только тогда и являются передъ нами болѣе энергичными и болѣе дѣятельными, когда то или другое обстоятельство ихъ затрогиваетъ за живое. Обыкновенное ихъ состояніе было состояніемъ мертваго могильнаго покоя, именно такого состоянія и такого покоя, которые самымъ неизбѣжнымъ образомъ ведутъ всѣхъ и каждаго къ отупѣнію и идіотизму. Живая увѣренность въ истинности мнѣнія при такомъ условіи исчезаетъ; имѣвшіяся кой-какія разумныя основанія засариваются, теряютъ всякую разумность и всякое внутреннее достоинство; истина извращается въ догму, въ пустое слово, въ форму съ испарившимся содержаніемъ; люди не замѣчаютъ по слѣпотѣ, что и они точно такъ же, какъ и ихъ истины, начинаютъ покрываться толстымъ слоемъ плѣсени,—и все другое, великое, потомъ и кровью доставшееся одному поколѣнію, погибаетъ на неопредѣленное время въ мирной средѣ послѣдующихъ поколѣній... Всѣ нравственныя доктрины испытали такую судьбу. Пока онѣ были гонимы, пока имъ приходилось вести ожесточенную борьбу за свое существованіе и отстаивать всѣми своими наличными средствами каждый день своей жизни, онѣ казались энергичны, дѣятельны, предпріимчивы; онѣ дышали терпимостью, всепрощеніемъ, братской любовью; онѣ съ изумительной послѣдовательностію прилагали свои нравственные принципы ко всѣмъ поступкамъ; онѣ были разсудительны, внимательны къ доводамъ противниковъ; онѣ приводили всѣхъ въ восторгъ своею добропорядочностью. Но лишь только подымался для нихъ попутный вѣтеръ, лишь только такія гонимыя доктрины начинали ощущать подъ ногами твердую почву и замѣчать, что онѣ пріобрѣтаютъ права гражданства, признаются господствующими,—тактика ихъ начинала очень быстро перемѣняться. Онѣ зазнавались; прежняя

добропорядочность, какъ рукой снималась, — и на мѣсто ея гордой поступью выходили двѣ кровныхъ родственницы: непогрѣшимость и нетерпимость. Припомните для большей наглядности первыхъ христіанъ и ихъ братское, коммунистическое сожительство.

Точно въ такомъ-же родѣ приключаются исторіи, когда въ среду того или другого народа, сладко спящаго подъ плѣсенью со своими сгнивающими истинами, вступаетъ новое ученіе, отвергающее туземное. Люди тогда быстро просыпаются, протираютъ глаза и принимаются за дѣло. Истлѣвшіе остатки истинъ собираются и старательно обчищаются. Возгорается жаркій споръ, обмѣнъ мнѣній, свободная критика. Всѣ стоятъ на ногахъ; всѣмъ приходится работать головой, искать доводовъ, убѣждаться, сознательно осмысливать свои сужденія... Когда протестантизмъ ворвался въ католическую Францію и бурной рѣкой понесся по ея равнинамъ, то растлевающее французское общество вдругъ хватилось за голову и съ небывалой энергіей приступило къ обчищенію своихъ мнѣній. Для папы наступила въ такую пору довольно щекотливая минута. Но это происходило только вслѣдствіе того, что онъ самъ слишкомъ мало былъ увѣренъ въ истинности принциповъ, отъ которыхъ держалъ въ своихъ рукахъ ключъ, и еще меньше былъ увѣренъ въ крѣпости сердецъ своей покорной паствы. Кореро, бывшій посланникомъ въ то время во Франціи, писалъ по этому случаю слѣдующее въ 1569 году:—„По моему, писалъ онъ, папа могъ бы сказать, что онъ отъ этихъ волненій гораздо болѣе выигралъ, нежели проигралъ, ибо мнѣ кажется, что до этого раздвоенія распущенность жизни была столь велика, и благоговѣніе къ Риму, къ тому, что въ немъ находилось, столь слабо, что папа считается скорѣе италіанскимъ государемъ, нежели главою церкви и отцомъ всемірной паствы. Но какъ только поднялись гугеноты, католики стали чтить его и самого его признавать истиннымъ намѣстникомъ Христовымъ; они все болѣе и болѣе укрѣплялись въ этомъ убѣжденіи по мѣрѣ того, какъ власть папы отрицалась и ниспровергалась гугенотами“. Такимъ образомъ, гугеноты, нападая на господствовавшее ученіе во Франціи, недовольствуясь старыми фор-

мами и отыскивая новыя, тѣмъ самымъ пробудили людей и послужили, съ самою примѣрною преданностью, къ благоденствію тѣхъ истинъ, противъ которыхъ они вооружились. Безъ нихъ, святой отецъ, можетъ быть, потерялъ бы со временемъ для французскихъ католиковъ всю свою святость, потерялъ бы безвозвратно, навсегда. Но гугеноты предупредили такое трогательное для папской власти событіе. Они, вызванной ими борьбой, укрѣпили ея истинность въ сознаніи массъ, влили жизнь, силу въ истлѣвавшіе принципы. Гугеноты погибли. Условія, при которыхъ они окончили свое земное странствованіе, весьма назидательны и достойны упоминовенія. Они самымъ удовлетворительнымъ образомъ объясняютъ намъ, до какой степени иногда бываетъ неосновательна боязнь того, что въ сущности далеко не имѣетъ устрашающихъ послѣдствій, и до такой степени бываютъ напрасны опасенія людей, впадающихъ въ ярость, когда они замѣчаютъ, что въ ихъ уютныя помѣщенія пробирается новая мысль, проникаетъ новая струя воздуха. Когда явился протестантизмъ во Франціи, его сейчасъ же поспѣшили отправить подъ спудъ, какъ вещь зловредную, могущую совратить съ путей добродѣтели благочестивыхъ гражданъ и потрясти всѣ священныя и неприкосновенныя основы государства. Но чудное дѣло! — протестантизмъ подъ спудомъ не только не унялся, но дѣйствовалъ еще съ большей энергіей, плодился и множился, какъ песокъ морской, ежеминутно стремясь съ невѣроятной силой выйти наружу и затопить все святое... Тогда нашлись такіе смѣлые люди, которые выпустили его на Божій свѣтъ и снова: о, чудное дѣло! -- протестантизмъ сталъ истощаться и вымирать: — вожди покидали своихъ преслѣдователей, церкви закрывались; по прошествіи непродолжительнаго времени онъ и совсѣмъ прекратился, такъ что страшныхъ гугенотовъ какъ будто никогда и не существовало, и какъ будто они никогда не грозили опасностью государству. Кто знаетъ, до какихъ громадныхъ размѣровъ, можетъ быть, дошла бы подземная дѣятельность протестантовъ, не усыпленныхъ еще покровительствомъ правительства, если бы не проникъ вмѣстѣ съ ними во французское общество и болѣе свѣтскій взглядъ на богословскіе вопросы, и

если бы не выступилъ на арену политической дѣятельности Ришелье. Можетъ быть, въ настоящее время, вслѣдствіе болѣе продолжительнаго гнета и гоненія новыхъ мнѣній, мы имѣли бы теперь передъ своими глазами совсѣмъ другія декораціи во Франціи, чѣмъ мы ихъ видимъ... Нашъ расколъ, извѣстный намъ доволно близко, какъ нельзя лучше подходитъ тоже сюда. Его настоятельное преслѣдованіе и гоненіе, его истязаніе, пытки и казни, недозволеніе ему открыто и свободно высказать свои мудрствованія и выслушать на нихъ объясненія, породили множество тайныхъ толковъ и размножили его послѣдователей чуть ли не до десяти милліоновъ! Теперь же, съ объявленіемъ всѣмъ этимъ господамъ ихъ терпимости, ростъ ихъ остановился; они уже не множатся, а видимо ослабѣваютъ, теряютъ для неразвитыхъ людей весь свой букетъ; они вымираютъ. Будетъ, конечно, время, когда изъ подобныхъ людей не останется ни одного сторонника, и послѣдуетъ оно тѣмъ скорѣе, чѣмъ всестороннѣе имъ будетъ оказана терпимость. Въ особенности это близко относится до толковъ, признающихся еще отчасти и теперь зловредными. И не только до однихъ раскольничьихъ толковъ, но и вообще всякихъ толковъ, не исключая изъ этого числа и такъ называемыхъ неугомонныхъ соціалистовъ, кажущихся теперь въ глазахъ однихъ ангелами спасителями, а въ глазахъ другихъ исчадіями ада. Дайте человѣку высказаться вполнѣ, совѣтуетъ житейскій опытъ, не прерывайте его потоковъ краснорѣчія (не говорю уже: поддакивайте ему; тогда онъ даже со злостью замолчитъ, возьметъ шляпу и уйдетъ отъ васъ), — нѣтъ, а вы только не прерывайте потоковъ его краснорѣчія, дайте ему договориться до конца, дайте натерѣть кровяныя мозоли на языкѣ — и онъ утратитъ для васъ всю очаровательность, которая такъ ярко блистала при вашемъ поверхностномъ на него взглядѣ. Онъ поблекнетъ, завянетъ... Никогда не слѣдуетъ забывать, что праотецъ Адамъ вкусилъ съ Евою запрещенный плодъ отъ древа познанія добра и зла только потому, что онъ имъ былъ строжайшимъ образомъ запрещенъ. Преданіе тутъ весьма вѣрно подмѣтило одну изъ самыхъ крупныхъ особенностей въ человѣческомъ характерѣ. Подобные несчастные

случаи совершаются и въ настоящее время тысячами съ нашими молодыми людьми, вкушающими горькіе плоды отъ древа соціализма. Гдѣ больше строгости, тамъ всегда больше и грѣха.

Но, можетъ быть, иные скажутъ, что истины, имѣя всегда около себя сонмъ друзей и учителей, не нуждаются въ открытой борьбѣ съ врагами именно потому, что эти друзья и учители сами собой неусыпно блюдутъ за ихъ чистотой и цѣломудріемъ. Они ихъ изучаютъ, поясняютъ и изукрашиваютъ для всѣхъ. Они сами воображаютъ передъ собой враговъ, сообщаютъ своимъ слушателямъ ихъ еретическія мнѣнія и представляютъ на эти еретическія мнѣнія свои возраженія; сами учатъ свою паству познавать лжеумствованія противниковъ обнаженіемъ ихъ ложныхъ основаній, ихъ началъ, на которыхъ созидаются противниками отступническія и дикія убѣжденія... Развѣ этого недостаточно для сравненія, размышленій и сознательнаго постиженія истины? О, конечно, далеко не достаточно! Истина нуждается въ настоящихъ, живыхъ врагахъ, а не въ бумажныхъ куклахъ; нуждается въ настоящей борьбѣ, со всѣми ея кровавыми ужасами, а не въ кукольномъ театрѣ, могущемъ оказывать пользу только одному антрепренеру. Друзья всегда своекорыстны, пристрастны, лукавы; они всегда стараются показывать дѣйствительность въ ложномъ свѣтѣ: они искажаютъ факты противниковъ, опускаютъ изъ нихъ одни, умышленно обходятъ молчаніемъ другіе, лгутъ, клевещутъ. Таковы всѣ друзья,—и такіе вѣрные, преданные друзья для истины, конечно, хуже враговъ...

По теоріи Дарвина, совершенствуется въ выгодномъ для себя и для своего рода направленіи только то, что, во-первыхъ, ведетъ борьбу, находится въ дѣятельномъ, энергическомъ и напряженномъ состояніи, а во-вторыхъ, что обставлено естественными условіями. У дойныхъ коровъ, проживающихъ въ безмятежномъ спокойствіи, никакихъ способностей, выгодныхъ для нихъ и ихъ потомковъ, развиваться не можетъ. Все, что появляется и совершенствуется въ организаціи такихъ безсловесныхъ животныхъ, все это идетъ въ пользу не имъ, а поступаетъ въ карманы ихъ

попечителей, заботящихся исключительно только о томъ, изъ чего можетъ представиться возможность извлекать самое большое количество котлетъ и ростбифовъ. Съ истинами, прибывающими не на свободѣ, а въ неволѣ, въ „прирученномъ“ состояніи, дѣлается то же самое... Слѣдовательно, мы теперь приходимъ къ открытію совершенно обратныхъ послѣдствій, вытекающихъ для общества отъ свободнаго выраженія мнѣній по вопросамъ всѣхъ степеней важности, чѣмъ это увѣряетъ „публика“. Именно мы убѣждаемся теперь, что всесторонній анализъ, добросовѣстное обсужденіе, свобода, свобода и еще разъ свобода оказываются весьма необходимы для всѣхъ истинъ...*)

Изъ „Новаго Времени“. Статья Ивы (И. В. Андреева?).

1872 г.

**) Поэзія г. Некрасова составляетъ явленіе до сихъ поръ необъясненное нашей критикой. Въ то время, когда стихи его читались и заучивались чуть ли не всею Россіей, и въ особенности Петербургомъ, гдѣ онъ имѣлъ наибольшее число поклонниковъ—критика или молчала о немъ, или ограничивалась голословными похвалами или не менѣе голословными намеками личнаго и мелочного свойства. Въ то время, когда журналы наши старались „проводить въ публику“ гг. Майкова, Полонскаго, Фета, Тютчева, Мея, разъясняя тонкія красоты ихъ поэзіи и борясь всѣми силами съ тѣмъ равнодушіемъ, въ которомъ естественно упорствовала публика, еще очень мало развившая и очистившая свой вкусъ и неподготовленная къ эстетическимъ наслажденіямъ—никто изъ лучшихъ критиковъ той эпохи, ни Бѣлинскій, ни Боткинъ, ни Аполлонъ Григорьевъ, не предпринимали подобныхъ усилій ради г. Некрасова. А между тѣмъ г. Некрасова полюбили, талантъ его поняли, и было время—именно въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ—когда этотъ поэтъ пользовался популярно-

*) Еще за 1870 г. о Некрасовѣ см. „Иллюстрированная Газета“ № 2 (ст. М. М—на); „Искра“, № 11 („Господа потише“); „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 115.

**) *„Русскій Міръ“* 1872 г., № 122. Статья А. О. (В. Г. Авсѣенко).

стію и любовью своихъ многочисленныхъ почитателей въ большей степени, чѣмъ самые даровитые корифеи новой русской литературы. Случилось такъ, что г. Некрасовъ *самъ* провелъ себя въ публику, заставилъ понять и полюбить себя помимо критическихъ толкованій и разъясненій, безъ которыхъ стихи г. Фета, напримѣръ, едва ли сдѣлались бы доступны значительной массѣ читателей.

Если мы правильно объяснимъ себѣ, почему именно поэзія г. Некрасова нашла такой легкій доступъ къ сочувствію и пониманію массъ, тогда какъ для того, чтобы провести въ ту же самую публику другихъ поэтовъ, потребовалось не мало талантливыхъ усилій лучшихъ знатоковъ и цѣнителей поэзіи—тогда сами собой опредѣлятся для насъ значеніе и характеръ некрасовской музы. Ошибочно было бы думать, что поэзія г. Некрасова не нуждалась въ услугахъ журнальной критики по какимъ-либо подавляющимъ своимъ достоинствамъ, по своему превосходству, по своей несомнѣнности. Напротивъ, общія требованія поэзіи нигдѣ не получаютъ такого скуднаго удовлетворенія, какъ въ стихахъ г. Некрасова. Идеаловъ у него никакихъ, возбужденіе никогда не отзывается искренностью, образы большею частью блѣдны и шероховаты; самый стихъ г. Некрасова, въ то время какъ другіе поэты доводили выработанность его до удивительной виртуозности, отличался всегда тяжеловатой неуклюжестью, неровностью, и если по временамъ въ этомъ стихѣ чувствовалась сила, то эта сила весьма походила на заимствованную изъ передовыхъ статей и журнальныхъ трактатовъ. Въ этихъ-то свойствахъ поэзіи г. Некрасова и заключается, какъ намъ кажется, тайна той популярности, какою всегда пользовались произведенія его музы. Стихотвореніе, построенное на высшихъ, неуловимыхъ законахъ поэзіи, проникнутое красотой и страстью, облеченное въ гибкій, изящный, виртуозно-отчеканенный стихъ, нуждается въ присутствіи въ самомъ читателѣ нѣкоторой доли того высшаго развитія, которымъ обладаетъ поэтъ. Такіе читатели никогда не преобладаютъ въ массѣ. Напротивъ, поэзія нѣсколько грубоватая, облекающая въ выразительный стихъ ходячія, общедоступныя идеи, понятна и

родственна каждому. Она не требуетъ отъ читателя, чтобъ онъ оторвался отъ круга своихъ ежедневныхъ будничныхъ мыслей и вступилъ въ непривычную для него сферу приподнятыхъ идей, тонкихъ красотъ и эстетическаго сіянія: она сама услужливо спускается до его будничнаго уровня и увѣряетъ его, что за этимъ уровнемъ ничего нѣтъ и ничего не нужно.

Г. Некрасовъ всегда былъ по преимуществу поэтомъ массы. Никому не придетъ въ голову докапываться въ его стихотвореніяхъ глубины мысли или чувства. Идеи, въ которыхъ онъ почерпаетъ свое вдохновеніе, совершенно по плечу каждому, и въ особенности каждому петербургскому чиновнику, мало-мальски свободно относящемуся къ своему начальству. Если мы попробуемъ нанизать на ниточку идейки, особенно часто развиваемыя имъ и служащія основою самыхъ извѣстныхъ его стихотвореній, мы будемъ поражены ихъ незатѣйливостью. Нехорошо обжираться въ англійскомъ клубѣ и проматывать родовыя состоянія на француженокъ, нехорошо пьянствовать и ругаться; бѣдность не порокъ, особливо когда она есть результатъ честности; достойно сожалѣнія, когда честная мысль не можетъ быть свободно высказана; богатый и знатный человѣкъ обыкновенно нечувствителенъ къ горю бѣдняка; произволъ предварительной цензуры портитъ кровь у сочинителей, хорошая погода лучше дурной, а свобода лучше рабства—вотъ тотъ заколдованный кругъ идей, въ которомъ держится г. Некрасовъ и изъ котораго онъ не только не можетъ, но и не пытается вырваться. Подобныя идеи нельзя предвозвѣщать, потому что онѣ уже присутствуютъ во всякомъ мало-мальски сложившемся обществѣ, и потому г. Некрасовъ во всю свою двадцатилѣтнюю поэтическую дѣятельность ничего не предвозвѣстилъ и не открылъ, а только облекалъ въ стихъ маленькія мысли, высказываемыя свободно-мыслящими департаментскими чиновниками, не слишкомъ бойкими фельетонистами и совершенно темными литераторами, попавшими умирать въ обуховскую больницу. Высказывалъ все это г. Некрасовъ съ извѣстнымъ талантомъ, иногда не безъ *нѣкоторой* пикантности, а въ немногихъ случаяхъ съ не-

поддѣльною поэзiей (таково, напр., стихотворенiе: „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“). Правда, въ лучшихъ стихотворенiя г. Некрасова постоянно слышались отголоски тѣхъ мрачныхъ англiйскихъ и нѣкоторыхъ французскихъ поэтовъ, которыхъ въ послѣднее время въ такомъ обилiи переводятъ г. Минаевъ и прочiе поэты „Отечественныхъ Записокъ“, но для публики пятидесятыхъ годовъ фактъ заимствованiя оставался неизвѣстнымъ, а нѣкоторый петербургскiй оттѣнокъ, искусно сообщаемый г. Некрасовымъ своимъ произведенiямъ, придавалъ имъ оригинальный характеръ.

Съ прекращенiемъ „Современника“ муза г. Некрасова сохранила прежнюю плодовитость, но въ качественномъ отношенiи произведенiя ея обнаружили сильный ущербъ. Прежнiя достоинства оскудѣли, новыхъ не сказалось. Если г. Некрасовъ всегда отличался крайнимъ пренебреженiемъ къ формѣ (а зачѣмъ прибѣгать къ поэтической формѣ, когда ею пренебрегаешь?), то въ прежнее время онъ, по крайней мѣрѣ, строго слѣдилъ за выразительностью стиха и подобающею краткостью; въ послѣднихъ же его произведенiяхъ стихъ сдѣлался окончательно дряблымъ, болтливымъ, а размѣры ихъ дошли до крайнихъ предѣловъ. Такую длинную и водянистую вещь, какъ его поэма: „Кому на Руси жить хорошо“, едва ли одобрили даже записные поклонники нашего поэта. Въ настоящее время г. Некрасовъ задумалъ тоже весьма большой, повидимому, трудъ, подъ заглавiемъ „Русскiя Женщины“, часть котораго появилась въ апрѣльской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Если бы мы вздумали выловить изъ этой поэмы ея основную идею и формулировать краткой фразой ея мораль (извѣстно, что у г. Некрасова всегда есть мораль, и въ этомъ отношенiи онъ приближается къ баснописцамъ), мы, безъ сомнѣнiя, были бы до крайности поражены крохотностью и ветхостью этой идеи и этой морали. Дѣйствительно, г. Некрасовъ желаетъ только сказать, что декабристъ князь Т. былъ человѣкъ образованный и развитой, что жена его, рѣшившаяся слѣдовать за нимъ въ Сибирь, поступила великодушно, и что положенiе ихъ обоихъ было тяжелое. Противъ этого трудно спорить, но еще труднѣе не усомниться, чтобы во всемъ этомъ было

что-либо новое или глубокое. Затѣмъ остается изложеніе, развитіе сюжета—и увы!—въ этомъ отношеніи весьма немногія строки напоминаютъ прежняго г. Некрасова. Стихъ дряблый, безъ мѣры болтливый, устарѣлый, отзывается какими то давно забытыми виршами двадцатыхъ годовъ. Вотъ для примѣра такой куплетецъ:

Ей ленты алыя вплели
　　Въ двѣ русыя косы,
Цвѣты, наряды принесли
　　Невиданной красы.

Пишетъ ли кто-нибудь такъ въ настоящее время? Не напоминаетъ-ли этотъ куплетецъ старые-престарые вирши, предшествовавшіе русскимъ балладамъ Жуковскаго и сказкамъ Пушкина? Затѣмъ слѣдуютъ обильныя подражанія Рылѣеву:

Луна плыла среди небесъ
　　Безъ блеска, безъ лучей,
Налѣво былъ все тотъ же лѣсъ,
　　Направо — Енисей.
Темно! На встрѣчу ни души;
　　Ямщикъ на козлахъ спалъ,
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
　　Пронзительно стоналъ,
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
　　Играя на рѣкѣ,
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ
　　На *странномъ* (?!) языкѣ.
Суровымъ паѳосомъ звучалъ
　　Невѣдомый языкъ,
И пуще сердце надрывалъ,
　　Какъ въ бурю чайки крикъ.

Смѣемъ увѣрить г. Некрасова, что подобныя подражанія поэтамъ двадцатыхъ годовъ ничего не прибавятъ къ его литературной репутаціи.

В. Г. Авсѣенко.

---

* * *

I.

... Первые будутъ послѣдними!...

*) Современная русская беллетристика, съ нѣкотораго времени, служитъ козломъ очищенія на непорочномъ жертвенникѣ нашей журнальной критики. Нѣтъ такого литературнаго лагеря, который бы не считалъ своею священной обязанностью бросить въ нее своимъ осужденіемъ и рѣзкимъ приговоромъ. Со всѣхъ сторонъ сыпятся на нее обвиненія въ безцвѣтности и въ полнѣйшемъ отсутствіи художественнаго элемента. Говоря откровенно, даже въ обвиненіяхъ лиллипутовъ есть своя доля правды, и я вовсе не думаю принимать на себя защиту осуждаемой. Но когда суровые обличители современной беллетристики, обличая ея несомнѣнные недостатки, дѣлаютъ въ то же время умильные глазки беллетристикѣ 40-хъ и конца 50-хъ годовъ, когда они унижаютъ первую для того, чтобы возвеличить вторую, когда они тычатъ намъ въ глаза художественными авторитетами „временъ Бѣлинскаго"—то, уже извините, при всемъ моемъ предубѣжденіи къ оптимизму, я готовъ сдѣлаться въ этомъ случаѣ оптимистомъ, я готовъ воскликнуть: „нѣтъ, то, что *есть*, все же гораздо лучше того, что *было*"! „Яркость" и „художественность" беллетристикъ прошлыхъ десятилѣтій—это, мнѣ кажется, одно изъ самыхъ нелѣпыхъ и неосновательныхъ мнѣній: и „старые" беллетристы были такими же плохими ходожниками, какъ и новые, они отличались тѣми же недостатками, какими отличаются и „новѣйшіе"; такъ называемая „художественность" отсутствуетъ въ произведеніяхъ первыхъ столько же, сколько и въ произденіяхъ вторыхъ, если не больше. „Какъ! воскликнутъ защитники старыхъ авторитетовъ, какъ, а гг. Тургеневъ, Писемскій, Гончаровъ,—развѣ это не художники! Развѣ это не

---

*) „Дѣло" 1872 г., № 11. Статья Постнаго (П. Н. Ткачова), подъ заглавіемъ: „Неподкрашенная старина". Настоящая статья помѣщается здѣсь болѣе въ виду ея общаго смысла по отношенію къ русской литературѣ, нежели какъ разборъ романа „Три страны свѣта".

Примѣч. В. Зелинскаго.

„художественные перлы и алмазы“ беллетристики сороковыхъ годовъ. Найдите-ка что либо подобное имъ въ вашей современной беллетристикѣ!“ Ну, гг. Тургеневъ, Писемскій и Гончаровъ пишутъ и теперь, — отчего же, однако, ихъ „современныхъ произведеній“ никто не находитъ „художественными перлами и алмазами“? Отчего въ своихъ „Взбаламученномъ Морѣ“, „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и въ „Обрывѣ“ они такъ близко подходятъ къ новѣйшимъ сочинителямъ романическихъ сплетней, въ родѣ гг. Лѣсковыхъ и Клюшниковыхъ, что становится труднымъ опредѣлить, гдѣ кончается „старѣйшій“ беллетристъ и гдѣ начинается „новѣйшій“ Я знаю тѣ „смягчающія обстоятельства“, которыя приводятъ обыкновенно въ пользу старыхъ беллетристовъ; ихъ фіаско объясняется недостаточностью ихъ умственнаго развитія, общимъ складомъ ихъ міросозерцанія, помѣшавшимъ имъ понять и оцѣнить современное поколѣніе и современнныя потребности нашей жизни. Но, мнѣ кажется, это объясненіе нельзя считать вполнѣ удовлетворительнымъ; къ тому же, мнѣ кажется, что оно рѣшительно противорѣчитъ основнымъ догматамъ тѣхъ самыхъ эстетиковъ, которые сдѣлали изъ гг. Тургенева, Писемскаго и Гончарова художественные авторитеты. Съ точки зрѣнія этихъ догматовъ признано, что на произведенія истиннаго художника не можетъ имѣть существеннаго вліянія его теоретическое міросозерцаніе; что оно только направляетъ его художественную дѣятельность на тѣ или другія стороны жизни, что оно лишь ограничиваетъ извѣстнымъ образомъ кругъ доступныхъ ему преметовъ; но что самая *художественность* изображенія этихъ предметовъ—не зависитъ оттого, либералъ авторъ или консерваторъ, идетъ онъ въ уровень съ прогрессомъ своего времени или отсталъ отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите, напр., хоть Антони Тролопа. Это несомнѣнный консерваторъ, напыщенный тори, человѣкъ вполнѣ отсталый во всѣхъ отношеніяхъ,—однако, никто не станетъ утверждать, что собственно *художественная сторона* его произведеній страдаетъ отъ его консервативной отсталости. Изображаемые имъ характеры всегда производятъ на васъ впечатлѣніе характеровъ живыхъ *людей, а не ходячихъ* маріонетокъ, съ разными пришпилен-

ными къ нимъ ярлыками и аттестатами. А Тролопъ не Богъ знаетъ еще какой художникъ! Никто не поставитъ его на одну доску съ Диккенсомъ или Теккереемъ. Почему же онъ никогда не писалъ и не напишетъ ничего подобнаго „Взбаламученному морю", „Отцамъ и Дѣтямъ" и т. п? Почему онъ, отставая отъ своего времени, не перестаетъ быть художникомъ? Говорятъ, что художественность старыхъ авторитетовъ стала теперь *выдыхаться* (не я сочинилъ это слово; я беру его цѣликомъ изъ одной либеральной рецензіи, написанной по поводу одного изъ послѣднихъ разсказовъ г. Тургенева). Выдыхаться! но отчего же это только у однихъ насъ *выдыхаются* художники? Почему въ Англіи романы Диккенса и Теккерея, во Франціи романы Сю, Бальзака и Жоржъ-Занда, — романы, написанные лѣтъ 30, 40 тому назадъ, читаются и продолжаютъ интересовать публику; а мы считаемъ устарѣлыми и не станемъ перечитывать ни „Дворянскаго Гнѣзда", ни „Записокъ Охотника", ни „Тысячи Душъ", ни „Обыкновенной Исторіи" и т. п. Почему, однимъ словомъ, произведенія нашихъ беллетристическихъ авторитетовъ всегда такъ тѣсно связаны съ породившимъ ихъ *историческимъ моментомъ*, что чуть только прошелъ этотъ мементь, мы сейчасъ же и забываемъ ихъ? Неужели нашъ общественный прогрессъ такъ быстръ, что жизнь нашихъ отцовъ и даже нашихъ старшихъ братцевъ не представляетъ уже никакихъ общихъ интересовъ, никакихъ точекъ соприкосновенія съ нашею собственною жизнью? Очевидно, подобное объясненіе немыслимо, потому что въ два, три десятилѣтія люди еще никогда не перерождались, да и трудно до такой степени переродиться, чтобы утратить всякую связь съ людьми непосредственно-предшедствующихъ эпохъ. Отчего-же всѣ эти Лаврецкіе, Рудины, Калиновичи, Адуевы, Обломовы, переставъ быть современными, перестали быть и интересными? Могло ли бы это съ ними случиться, если бы они были изображены съ художественною правдивостью, если бы они и теперь продолжали производить на насъ впечатлѣніе живыхъ людей, а не мертвыхъ образовъ? Я думаю, что тогда бы этого не случилось. Донъ-Кихотъ — давно отжившій типъ, но мы увлекаемся имъ и теперь.

Дѣйствующія лица шекспировскихъ трагедій вѣрятъ въ вѣдьмъ и колдуновъ, и мы все-таки интересуемся ими. Члены Пиквикскаго клуба едва ли мыслимы въ современной Англіи, а мы не перестаемъ, однако, зачитываться геніальнымъ произведеніемъ великаго романиста. Въ „Notre Dame de Paris“ и въ „L'homme qui rit“, передъ нами раскапываются запыленные архивы поросшей мхомъ древности, но мы не отсылаемъ ихъ подъ столъ, мы не смотримъ на ихъ героевъ, какъ на нѣкоторые историческіе пергаменты, мы видимъ въ нихъ живыхъ людей, мы переносимся въ ихъ обстановку, мы входимъ въ ихъ интересы, мы дѣлаемъ эти интересы своими собственными интересами: намъ кажется, будто эти люди и теперь еще живутъ и дѣйствуютъ.

Почему-же насъ интересуютъ люди давно отжившихъ поколѣній, и не интересуютъ люди, современные нашимъ отцамъ, много, много что дѣдамъ? Какъ хотите, а тутъ что-нибудь да неладно. Или наши „художественные перлы“ совсѣмъ не перлы, и если произведенія этихъ „перловъ“ заинтересовали одно время публику, то причину этого нужно искать совсѣмъ не въ ихъ *художественности*, а просто въ ихъ современности, — или же... или же наша публика не любитъ своего, всего національнаго, всего русскаго. Но не правдоподобнѣе ли усомниться скорѣе въ художественномъ авторитетѣ нашихъ „перловъ“, чѣмъ въ партіотизмѣ всего „народа русскаго?“

Временное, мимолетное, чисто-историческое значеніе беллетристическихъ произведеній даже самыхъ талантливыхъ нашихъ романистовъ ясно показываетъ, что ихъ слишкомъ скоропреходящая популярность обусловливалась совсѣмъ не ихъ художественными достоинствами. Она просто зависѣла отъ тѣхъ мимолетныхъ интересовъ, съ которыми она такъ или иначе было связана. Перемѣнились интересы,—забыты и произведенія. Мнѣ, пожалуй, скажутъ, что это одинаково справедливо относительно всѣхъ продуктовъ человѣческаго ума, что каковы бы ни были ихъ внутреннія достоинства, но разъ миновались вызвавшіе ихъ *интересы*, изчезаетъ и ихъ цѣнность. Конечно, это правда.

Но дѣло въ томъ, что интересы — интересамъ рознь. Есть интересы такіе мелкіе и ничтожные, что они мѣняются каждый годъ, каждое десятилѣтіе, и есть интересы, съ одинаковою силою волнующіе человѣчество въ теченіи многихъ и многихъ вѣковъ, интересы не старѣющіе, вѣчно обновляющіеся... Истинно-художественное произведеніе, по самому существу своему, всегда опирается на эти послѣдніе интересы, на интересы касающіеся *человѣка вообще*, а не человѣка, одѣтаго въ *такое-то* именно *платье*, въ *такой-то* мундиръ, служащаго въ *такомъ-то* департаментѣ. Напротивъ, тѣ псевдо-художественныя творенія, которыя сегодня читаются съ восторгомъ, а завтра отъ скуки бросаются подъ столъ—эти творенія всегда исключительно связываются не съ общечеловѣческими интересами, а съ интересами такого-то лица или кружка, такой-то должности, такого-то чина. Измѣнился кружокъ, упразднена должность, переименованъ чинъ,—и старые интересы забыты; забыты и тѣ, которые ихъ воспѣвали. Я знаю, что, говоря это, я реставрирую азбучную истину. Но мнѣ кажется, что именно эта азбучная истина и можетъ объяснить ту мимолетную популярность, которою пользовались творенія „старыхъ авторитетовъ". Они отвѣчали *интересу минуты*, но дальше этого они не шли; минута прошла, а съ нею прошла и ихъ эфемерная слава. Та же участь постигнетъ, бѣсъ сомнѣнія, современныхъ беллетристовъ, но это все-таки не даетъ права „старѣйшимъ" поднимать носъ передъ „новѣйшими". Если бы возможно было искусственнымъ образомъ выдѣлить изъ произведеній нашей „старой" и „новой" беллетристики тѣ, такъ сказать, чисто-публицистическіе интересы, которые связывали или связываютъ ихъ съ живой дѣйствительностью, которые даютъ имъ цвѣтъ и теплоту, которые одухотворяютъ ихъ, то мы получили-бы мертвые остовы, одинаково непривлекательные, одинаково безобразные. Нѣтъ, я даже думаю или, лучше сказать, я увѣренъ, что „остовы" новой беллетристики оказались бы несравненно лучше и чище отдѣланными, чѣмъ „остовы" старой. Мнѣ скажутъ, что мое мнѣніе ни на чемъ не основано, что оно рѣшительно противорѣчитъ „установившимся" и „общепринятымъ" взглядамъ;

мало того, оно противорѣчитъ несомнѣнному и конкретному факту. А фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что популярность, которою пользовались „старые“ авторитеты, никогда не выпадала на долю „новыхъ“, и что даже ни одному изъ новѣйшихъ беллетристовъ не удалось сдѣлаться общепризнаннымъ авторитетомъ. Однако, этотъ фактъ ни мало не смущаетъ меня: когда потребности и интересы минуты можно выражать не иначе, какъ въ туманной и иносказательной формѣ *беллетристическихъ притчъ*, то понятно, что вниманіе публики исключительно сосредоточится на этихъ притчахъ, и что притчи, каково бы ни было ихъ внутреннее достоинство, будутъ пользоваться преимущественною популярностью. Чуть кому удастся хоть сколько-нибудь толково высказать въ притчѣ то, что всѣхъ занимаетъ, намекнуть на то, на что каждый киваетъ, а прямо указать не можетъ, — вотъ онъ и „авторитетъ“, его притча читается, перечитывается, ею восхищаются, въ ней открываютъ какія-то неизъяснимыя прелести, ее возводятъ въ „перлъ созданія“. А отнимите отъ этой притчи ея *иносказаніе*, посмотрите на нее не какъ на притчу, а какъ на *художественное произведеніе*, и вы съ удивленіемъ спросите себя: „да что же тутъ хорошаго? какъ могла такая ничтожная мысль растрогать читателя? какой же это „перлъ“, — это просто булыжникъ“.

Но сила иллюзіи велика: репутація, разъ созданная подъ ея вліяніемъ, упорно держится и переживаетъ самый предметъ. Съ „перломъ“ давно уже обращаются, какъ съ булыжникомъ, а все-таки его называютъ по старой памяти *перломъ*. Въ наше время притча уже не имѣетъ прежняго значенія; интересы, занимающіе въ данный моментъ публику, могутъ находить свое выраженіе въ иной, болѣе прямой формѣ... Потому наша современная беллетристика, за отсутствіемъ въ ней, какъ и въ беллетристикѣ прошлыхъ лѣтъ, всякихъ художественныхъ достоинствъ, не можетъ привлекать къ себѣ ни того всеобщаго вниманія, ни пользоваться тѣмъ авторитетомъ, о которыхъ говорятъ присяжные защитники стараго хлама. Вотъ, мнѣ кажется, совершенно *правдоподобное* объясненіе той популярности, которою въ

свое время пользовались „старые авторитеты“, того ореола (въ наши дни, правда, значительно потускнѣвшаго), которымъ преданіе и до сихъ поръ окружаетъ ихъ посѣдѣвшія головы. Однако, мнѣ справедливо могутъ замѣтить, что всѣ подобныя соображенія имѣютъ лишь значеніе отрицательныхъ доказательствъ—однихъ ихъ, очевидно, недостаточно; нужны доказательства положительныя. А гдѣ ихъ взять?

II.

Объ этомъ позаботились сами писатели „прошлыхъ лѣтъ“. Я сказалъ уже, что для прямого доказательства нужно *искусственно* отдѣлить отъ произведеній старой беллетристики всѣ тѣ *живыя нити*, которыя связывали ихъ съ окружавшею ее современностью. Самой критикѣ было бы довольно затруднительно, если даже не невозможно, произвести эту щекотливую операцію. Чего добраго, ее сейчасъ бы обвинили въ подлогѣ и злонамѣренности. Но на наше счастіе какой-то спиритъ убѣдилъ „убѣленную сѣдинами“ старину пристроиться съ своимъ забытымъ хламомъ къ современной литературѣ. Правда, старина сперва подкрасилась румянами изъ косметическаго магазина Лѣскова и К°, дѣло вышло, однако, дрянь. Нарумяненную „дѣву“ (т. е. якобы дѣву) сейчасъ же узнали и осмѣяли. Она, однако, ни мало этимъ не обезкуражилась. „А, вы думаете, что я и въ самомъ дѣлѣ румянюсь румянами г. Лѣскова и К°; нѣтъ,—я и безъ румянъ еще не дурна! Вотъ посмотрите!“ И, въ самомъ дѣлѣ, глубоко вѣруя въ свою красоту, почтенная старость выставила все свое богатство на литературный рынокъ. Гг. Лажечниковъ и Кукольникъ поползли въ редакцію г. Хана, г. Писемскій погналъ своихъ „Людей сороковыхъ годовъ“ въ стойло г. Кашпирева, г. Тургеневъ, пропѣвъ себѣ „Довольно“, поплелся, однако, къ г. Стасюлевичу и сталъ осыпать публику своими „художественными перлами“; разныя „темныя личности“, выросшія на старомъ болотѣ и въ 50-хъ годахъ читавшіяся „не безъ удовольствія“, въ родѣ Ольги Н. и Крестовскаго (псевдонима), и онѣ тоже присоединили

свой дѣтскій пискъ къ общему концерту старыхъ запѣвалъ. Началась литературная реставрація. Зачѣмъ? для чего? Неужели только для того, чтобъ доказать, что „почтенная старость“ можетъ обойтись и безъ румянъ? Не знаю, можетъ быть.

Говорятъ, впрочемъ, будто литература есть всегда лишь простое отраженіе жизни, говорятъ, будто жизнь устами „Гражданина“ требуетъ какихъ-то „точекъ“, будто требованіе это оказалось по справкѣ нѣсколько запоздавшимъ... Все это, однако, не имѣетъ для насъ въ настоящую минуту особаго значенія. Потому или по другому, такъ или иначе, но несомнѣнно, что реставрація совершилась и что она вполнѣ соотвѣтствуетъ „духу современности“. Опять-таки и для этого у насъ имѣется подъ руками безспорное доказательство. Г. Звонаревъ знаетъ этотъ „духъ“ наилучшимъ образомъ. Кому жъ и знать, какъ не ему? И чтоже? Онъ откапываетъ изъ архивовъ своего магазина забытый всѣми романъ гг. Некрасова и Станицкаго и приподноситъ его *третьимъ изданіемъ* почтеннѣйшей публикѣ. Вслѣдъ за этимъ, какъ слышно, онъ приготовляетъ новое изданіе „Ивана Выжигина“ и „Коломенской Розы“. Нѣтъ сомнѣнія, что послѣдній романъ будетъ имѣть огромный успѣхъ: онъ имѣетъ рѣшительное преимущество и передъ „И. Выжигинымъ“, и передъ „Тремя странами свѣта“: онъ гораздо короче ихъ, всего-то, кажется, въ двухъ частяхъ. Некрасовъже вкупѣ съ Станицкимъ растянули свои „Три страны“ на цѣлыхъ 8 частей или книгъ. Вотъ вамъ при самомъ началѣ вы уже наталкиваетесь на сравненіе „новой беллетристики“ „со старою“, весьма выгодное для первой. Въ новой беллетристикѣ самымъ *длиннымъ* романистомъ считается, и не безъ основанія, г. Боборыкинъ. Но и *самъ* г. Боборыкинъ никогда еще, кажется, не покушался итти далѣе *шести* книгъ. Вы, пожалуй, скажете, что это совсѣмъ не прогрессъ, а напротивъ, регрессъ. Да, правда, цыфра регрессируетъ, число частей уменьшается, но развѣ, пропорціонально этому уменьшенію, не увеличивается удовольствіе читателей?

Итакъ гг. Тургеневъ и Некрасовъ и ихъ издатели— *все* это люди весьма компетентные по части „духа време-

ни“—единогласно свидѣтельствуютъ, что теперь реставрація „неподкрашенной старины“ вполнѣ соотвѣтствуетъ этому „духу“. Но зачѣмъ же, однако, гг. Тургеневъ и Некрасовъ сами себя бичуютъ, зачѣмъ тщатся они, при содѣйствіи гг. Звонарева и Стасюлевича, уподобиться извѣстной Гоголевской бабѣ въ „Ревизорѣ“? Что касается г. Тургенева, то это, впрочемъ, не особенно удивительно; онъ еще и раньше съ большимъ апломбомъ фигурировалъ въ этой роли (вспомните его самооплеваніе по поводу Базарова); но г. Некрасовъ,—Некрасовъ, такой деликатный и щепетильный насчетъ своей литературной репутаціи,—Некрасовъ, такъ тщательно изгоняющій изъ изданій своихъ сочиненій всѣ дѣтскія ошибки и старческіе промахи не всегда трезвой музы,— г. Некрасовъ реставрируетъ „Три страны свѣта“! Мы никогда не повѣрили бы этому, если бы не имѣли подъ рукою факта. „Три страны свѣта“ лежатъ передъ нами, и не явись онѣ третьимъ изданіемъ, могли ли бы мы насладиться зрѣлищемъ „неподкрашенной старины“?

Но позвольте,—скажутъ мнѣ,—зачѣмъ-же вы берете г. Некрасова, какъ одного изъ представителей этой старины? Тургеневъ,—ну, это такъ; а Некрасовъ,—помилуйте, да кто же его когда-нибудь считалъ за выдающагося романиста „старой беллетристики“?

Я и беру его не какъ выдающагося романиста, а какъ романиста зауряднаго, притомъ романиста, не лишеннаго литературнаго таланта и имѣвшаго въ свое время значительный успѣхъ *), что доказывается тремя изданіями „Трехъ странъ свѣта“. Кромѣ того, этотъ романъ можетъ служить однимъ изъ *лучшихъ* представителей цѣлаго цикла романовъ „старой беллетристики“. Объ общемъ характерѣ этого цикла я скажу ниже; теперь же достаточно будетъ упомянуть, что онъ составляетъ прямую противуположность другому циклу, представителемъ котораго, съ полнымъ правомъ, можетъ быть названъ г. Тургеневъ. Такимъ образомъ, мы

*) Читатель долженъ принять къ свѣдѣнію, что говоря вездѣ о г. Некрасовѣ какъ объ авторѣ „Трехъ странъ свѣта“, я подразумѣваю тутъ же и г. Станицкаго, и только ради краткости я употребляю одну фамилію вмѣсто двухъ.

разсмотримъ „неподкрашенную старину“ въ двухъ ея главнѣйшихъ, хотя и весьма различныхъ проявленіяхъ. Правда, въ романѣ г. Некрасова она не совсѣмъ не подкрашена (какъ въ послѣднихъ повѣстяхъ г. Тургенева); въ ней осталось еще нѣсколько жилокъ, связывавшихъ ее съ окружавшею ее современностью; но жилокъ этихъ такъ мало и онѣ такъ тонки, что ихъ и разсмотрѣть-то трудно; при томъ-же разъ онѣ открыты, ихъ очень легко и удобно выбросить вонъ. Въ наше время, когда и проч., онѣ уже не могутъ имѣть ни въ чьихъ глазахъ никакого значенія и ни въ комъ не возбудятъ ни малѣйшей иллюзіи.

III.

Что же это такія за жилки? Или, говоря проще, чему былъ обязанъ *въ свое время* успѣхъ этого давно забытаго романа?

Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ весьма не трудно, если вспомнить, *каково было* это время. Объ этомъ *дореформенномъ* времени теперь уже можно говорить съ нѣкоторою отчетливостью. Одинъ этотъ фактъ лучше всякихъ краснорѣчивыхъ описаній показываетъ, что мы отдалились отъ него на весьма значительную дистанцію; а между тѣмъ, и „наше время“ никому не кажется особенно „новымъ“; каково же должно было быть то время, когда и эта дистанція не была еще пройдена!

Выражаясь словами одного изъ героевъ одной изъ лучшихъ повѣстей г. Гл. Успенскаго—это было время, когда „прижимка“ не только не думала „обмякнуть“, но, напротивъ, повсюду дѣйствовала съ полною силою и съ гордою самоувѣренностью; когда крѣпостное право считалось идеаломъ нашего благополучія, когда русскій человѣкъ, ежеминутно получая зуботычины, не осмѣливался даже спрашивать: а какой резонъ вы имѣете драться? потому что зналъ напередъ, что, вмѣсто отвѣта, получитъ новую зуботычину. И это называлось въ то время жить по-человѣчески, любить ближняго, какъ самого себя...

Но чѣмъ тяжелѣе время, переживаемое обществомъ, *тѣмъ* большимъ оптимизмомъ проникается его литература,

и въ особенности его беллетристика. Тутъ являются на сцену всевозможные богатыри, великіе или малые, смотря по тому, на какой ступени общественнаго и умственнаго развитія стоитъ общество, какіе интересы его занимаютъ, въ какую сторону направлена его практическая дѣятельность. Въ нашей беллетристикѣ, особенно той, которая предназначалась для услажденія наименѣе интеллигентныхъ классовъ общества (а слѣдовательно, наименѣе счастливыхъ), герой романа всегда представлялся въ видѣ такого богатыря (такъ называемые *положительные герои*). Мизеренъ и ничтоженъ этотъ богатырь; одѣтъ онъ не въ панцырь и латы, а въ какой-нибудь на прокатъ взятый фракъ или потасканный старомодный плащъ, или просто въ длиннополый купеческій сюртюкъ; не горы онъ сдвигаетъ, не змѣй-чудовищъ побѣждаетъ; нѣтъ, его богатырскіе подвиги состоятъ главнымъ образомъ въ томъ, какъ бы деньгу нажить, какъ бы и зубы въ цѣлости сохранить. Однако, если вы вспомните, что повсемѣстная, самая безцеремонная „прижимка" характеризовала режимъ того времени, то вы поймете, какъ много нужно было труда и усилій, чтобы выйти изъ этой „прижимки" цѣлымъ. Въ сущности говоря, это было даже невозможно, это была просто утопія. Но чѣмъ идеальнѣе, чѣмъ невѣроятнѣе была эта утопія, тѣмъ умилительнѣе и успокоительнѣе она дѣйствовала на людей того поколѣнія. Имъ пріятно было хоть помечтать о счастливцахъ, не испытавшихъ крѣпостныхъ порядковъ. Уровень идеала, широта утопіи всегда служитъ мѣриломъ уровня общественнаго развитія, широты доступнаго людямъ счастія. Посмотрите же, каковъ былъ этотъ идеалъ, какова была эта утопія.

Нѣкій юноша образованный, но бѣдный, способный и честный, но легкомысленный и слабохарактерный, влюбляется въ нѣкую „швейку", прекрасную и добродѣтельную, но тоже бѣдную. И „добродѣтельная швейка" и „образованный юноша", вкусивъ достаточное количество плодовъ отъ древа бѣдности, рѣшаются соединиться узами законнаго брака, но не иначе, какъ упрочивъ предварительно свое матеріальное положеніе. Задача при ихъ обстановкѣ довольно трудная; но она усложняется еще болѣе тѣмъ обстоятельствомъ,

что и швейка и юноша желаютъ и „капиталъ пріобрѣсти и невинность соблюсти“. Погоревавъ и поплакавъ, они, наконецъ, придумываютъ слѣдующую комбинацію: швейка остается въ Петербургѣ и на одну себя беретъ исключительную обязанность „сохранить невинность“, не думая о пріобрѣтеніи капитала; юноша же отправляется рыскать по свѣту и беретъ на себя исключительную обязанность пріобрѣсти капиталъ, не думая о невинности. Какъ задумано, такъ и сдѣлано: „добродѣтельная швейка“ оберегаетъ въ Петербургѣ свою невинность, „образованный юноша“ въ Новой Землѣ и въ Русской Америкѣ (тогда она, разумѣется, еще не была продана американцамъ) сколачиваетъ капиталъ. Затѣмъ онъ возвращается въ Петербургъ, и капиталъ соединяется съ невинностью. Такимъ образомъ, задача разрѣшается къ удовольствію читателей, никогда не видѣвшихъ въ практической жизни такого счастливаго сочетанія. Но читатель можетъ утѣшиться и не однимъ этимъ. Имъ, людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, вдругъ говорятъ, что собственными усиліями можно добиться богатства, т. е. силы, что упорное стремленіе къ цѣли, въ концѣ концовъ, всегда приводитъ къ ея достиженію, какъ бы ни были велики препятствія; имъ разсказываютъ о неисчерпаемыхъ запасахъ скрытой энергіи и предпріимчивости, таящихся въ ихъ собственной груди—въ груди русскаго человѣка. Развѣ это не утѣшительно? Правда, эта энергія добивается не болѣе, какъ 50-ти съ небольшимъ тысячъ, правда, эта предпріимчивость нейдетъ далѣе Новой Земли и Русской Америки, правда, „силы“, таящіяся, будто-бы, въ груди русскаго человѣка, ограничиваются лишь силою *пассивной выносливости*, но какъ бы то ни было, а для людей бѣдныхъ, вѣчно унижаемыхъ и оскорбляемыхъ и такая сила, и такая энергія, и такая предпріимчивость должны были казаться чѣмъ-то возвышеннымъ, идеальнымъ. Вы скажете, читатель, что это *возвышенное* слишкомъ мелко, что это *идеальное* слишкомъ пошло, но какова жизнь, таковы и ея идеалы.

Романъ г. Некрасова, утѣшая разныхъ, уже не воображаемыхъ, а дѣйствительныхъ *Каютиныхъ, Граблиныхъ, Душниковыхъ, Полинскихъ* и т. п., возвышая въ ихъ собствен-

ныхъ глазахъ цѣнность того единственнаго богатства, которымъ они обладали—способности трудиться, въ то же время выражалъ, хотя и въ слабой, весьма неопредѣленной формѣ, протестъ противъ тогдашнихъ порядковъ. Протестъ былъ еще мизернѣе оптимистическихъ идеаловъ, онъ не шелъ далѣе весьма деликатнаго указанія на мрачныя стороны помѣщичьей власти и безсмыслiе помѣщичьяго время-препровожденія (см. въ I томѣ, главы: *Свадьба, Деревенская скука*, во II-мъ—седьмую часть. стр. 243—320), на самодурство богачей, развращенныхъ крѣпостнымъ правомъ, въ родѣ Добротина, Кирпичева, на бѣдность и страданія „честныхъ тружениковъ", въ родѣ Граблина, дяди Полиньки, матери ея, ея самой, Душникова и т. п. Теперь все это должно показаться и слишкомъ старымъ и слишкомъ слабымъ. Но въ то время общее смутное недовольство и въ этихъ, единственно тогда возможныхъ, деликатныхъ указаніяхъ и блѣдныхъ намекахъ могло видѣть благородный протестъ. Ничего, что рядомъ съ злыми помѣщиками приводились примѣры помѣщиковъ добрыхъ, въ родѣ *Гульчанинова* и *Данкова*, рядомъ съ бѣдняками, вѣчно обиженными, выводятся бѣдняки счастливые и обогащающіеся—все это было лишь послѣдствіемъ неудачнаго сочетанія протеста съ оптимизмомъ. Оптимизмъ не только умѣрялъ, но даже извращалъ протестъ; преувеличивая значеніе личныхъ добродѣтелей человѣка, онъ тѣмъ самимъ низводилъ почти къ нулю значеніе общихъ условій жизни...

И такъ, слабый протестъ, разведенный на благодушномъ оптимизмѣ — вотъ, мнѣ кажется, та живая нитка, которая связывала романиста съ его читателями, вотъ что заставило ихъ раскупить два изданія „Трехъ странъ свѣта", что обезпечило этому роману его кратковременный успѣхъ. Въ наше время и авторскій протестъ и авторскій оптимизмъ не имѣетъ ни малѣйшаго смысла, они уже не производятъ ни малѣйшей иллюзіи, *современность* романа изчезла, и что же осталось? Восемь частей безцвѣтныхъ, скучныхъ нравоученій о награжденной добродѣтели и наказанномъ порокѣ,—нравоученіе иллюстрированное, ради наглядности, бумажными арлекинами, долженствующими изображать живыхъ людей.

IV.

Романъ г. Некрасова принадлежитъ къ категоріи романовъ, бьющихъ исключительно на внѣшніе эффекты, на разные „страсти и ужасти“, отъ которыхъ у читателя, по мнѣнію романиста, волосы должны становиться дыбомъ. Въ прежнее время эта категорія романовъ, которую я противупоставляю категоріи романовъ, бьющихъ на психологическія тонкости, на детальную отдѣлку индивидуальныхъ характеровъ (объ этой послѣдней категоріи я буду говорить въ слѣдующей статьѣ, по поводу г. Тургенева)—эта категорія романовъ была въ большой модѣ. Отчасти причиною тому была неразвитость публики, для услажденія которой писались эти романы, и отчасти самыя ихъ цѣли и задачи. Ихъ цѣлью всегда было изобразить какого-нибудь положительнаго героя, какого-нибудь мизернаго „богатыря“, развить какую-нибудь оптимистическую идейку (въ родѣ хоть такой, напримѣръ, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ наказывается). Но будничная, прозаическая жизнь представляла слишкомъ неблагодарную почву для развитія этой невинной темы. Ее требовалось предварительно переработать въ горнилѣ творческой фантазіи; только при фантастической обстановкѣ добродѣтель могла торжествовать и порокъ наказываться. Отсюда возникла необходимость уснащать романъ „неожиданными встрѣчами“, неправдоподобными „превращеніями“, эффектными столкновеніями, чудодѣйственными „спасеніями“ и тому подобными театральными вычурами и прикрасами. Въ наше время на всѣ эти театральные эффекты, на всю эту фантастическую переработку дѣйствительности принято смотрѣть съ безусловно-отрицательной точки зрѣнія. Этотъ взглядъ, указывая на паденіе романовъ разматриваемой категоріи, свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ уменьшеніи оптимистическихъ тенденцій современной литературы. Однако, если въ прежнее время фантастическая переработка дѣйствительности пріурочивалась исключительно къ оптимистическимъ цѣлямъ, то нельзя все-таки не видѣть, что это орудіе обоюдо-острое, и что *его легко можно бы* было обратить на служеніе и другимъ

совершенно противуположнымъ цѣлямъ. Нельзя не видѣть, что, изгоняя элементъ творческой фантазіи изъ своихъ произведеній, ограничиваясь однообразнымъ фотографированіемъ будничной прозы мѣщанской жизни, современная беллетристика впадаетъ въ скучную монотонность и вполнѣ заслуживаетъ тотъ упрекъ въ безцвѣтности, который часто ей дѣлается. Поэтому, хотя отсутствіе творческой фантазіи и указываетъ на новое направленіе беллетристики, но оно совсѣмъ не вызывается потребностями этого направленія. При господствѣ въ беллетристикѣ *положительнаго героя*, романъ не могъ обойтись безъ рессурсовъ фантазіи; при господствѣ *героевъ отрицательныхъ*, безъ этихъ рессурсовъ обойтись можно, но *можно* еще не значитъ *должно*. И, безъ сомнѣнія, если бы фантазія старыхъ беллетристовъ удовлетворяла хотя отчасти условіямъ творческой фантазіи, они имѣли бы рѣшительное преимущество передъ „новыми", у которыхъ уже совсѣмъ нѣтъ никакой фантазіи. Но на самомъ дѣлѣ этого не было, на самомъ дѣлѣ хотя задачи старой беллетристики требовали отъ беллетристовъ *фантазіи*, какъ непремѣннаго условія осуществленія этихъ задачъ, однако у беллетристовъ и тогда оказалось такъ же мало этой способности, какъ оказывается и въ наше время. Только въ наше время скудость творческой фантазіи менѣе рѣжетъ глаза. Чтобы изображать жизнь, *какъ она есть*, притомъ жизнь „мѣщанской среды", узенькихъ интересовъ, пошленькихъ людишекъ, для этого нужно больше наблюдательности, чѣмъ фантазіи. Но изображать жизнь не совсѣмъ *такъ*, *какъ она есть*, подцвѣчивать и разрисовывать ее въ интересахъ „утѣшенія и успокоенія", или вообще въ интересахъ какой бы то ни было тенденціи, для этого уже *фантазія* совершенно необходима. А между тѣмъ ея-то и не было въ наличности. Романъ „Три страны свѣта", безспорно, лучшій представитель категоріи романовъ, „бьющихъ на внѣшніе эффекты". Онъ написанъ не какимъ-нибудь литературнымъ ремесленникомъ, въ родѣ Кукольникова, Загоскина, Булгарина и имъ подобныхъ. Нѣтъ, онъ написанъ, если и не цѣликомъ, то, по крайней мѣрѣ, при сотрудничествѣ одного изъ талантливыхъ представителей современ-

ной литературы, одного изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ. А ужь если у поэта нѣтъ фантазіи, то, согласитесь, у кого же ей быть? Полюбуйтесь же, читатель, на эту *фантазію*.

Общая фабула и тенденція романа намъ уже извѣстны; посмотримъ же теперь, какъ развивается эта фабула въ деталяхъ.

По смыслу фабулы романъ самъ собою распадается на двѣ части: въ одной повѣствуется о томъ, какъ „добродѣтельная швейка" свою невинность охраняла; въ другой— какъ образованный юноша капиталъ наживалъ. Похожденія юноши разукрашены „бурями въ Ледовитомъ океанѣ", „битвами съ киргизами", „зимовкою въ Новой Землѣ"; къ нимъ приплетены (и замѣтимъ въ скобкахъ, „ни къ селу ни къ городу") „похожденія русскихъ въ Камчаткѣ и въ Руской Америкѣ", однимъ словомъ, авторъ не поскупился на всякіе „ужасти и страсти", чтобы только заинтересовать читателей своимъ героемъ и заставить ихъ безъ скуки слѣдить за несложными метаморфозами его счастливой судьбы. Но, увы! благонамѣренныя старанія автора ни мало не увѣнчиваются успѣхомъ. Вы читаете — и зѣваете, неудержимо зѣваете. „Бури" не производятъ ни малѣйшаго эффекта, и „льдины", „сталкивающіяся съ потрясающимъ грохотомъ", ни мало васъ не потрясаютъ. Вы только чувствуете, что отъ всѣхъ этихъ страшныхъ описаній, дѣйствительно, вѣетъ ледянымъ холодомъ. Вамъ невольно припоминаются учебники географіи, которые вы съ остервенѣніемъ зубрили въ дѣтствѣ, — старыя путешествія, которыя вы когда-то читали. Вы спрашиваете себя: зачѣмъ понадобились автору всѣ эти „бури и льдины", всѣ эти Камчатки и Новыя Земли? Очевидно, что онъ дѣлаетъ выписки изъ какого-то стараго, заброшеннаго путешествія; но скомпилированное путешествіе можетъ-ли производить эффектъ художественной картины? А между тѣмъ, буря въ Ледовитомъ океанѣ, суровая природа Новой Земли, жизнь въ дикой Камчаткѣ, набѣги прикаспійскихъ киргизовъ—какія богатыя и благодарныя темы для художника! Обладай онъ, хоть сколько-нибудь творческою фантазіею,—какія величественныя и *потрясающія картины* онъ могъ бы намъ представить! Самый

плохонькій англійскій или французскій романистъ сумѣлъ бы расшевелить ими нервы своихъ читателей; а романистъ россійскій наводитъ только скуку. Почему? Да потому, что мы можемъ тогда только волноваться „бурями на Ледовитомъ океанѣ“, природою Новой Земли и т. п., когда романистъ сумѣетъ поставить насъ, хоть на минуту въ положеніе людей, очутившихся зимою на Новой Землѣ, и въ бурю на Ледовитомъ океанѣ. Но чтобы достигнуть такого эффекта, чтобъ произвести такую художественную иллюзію, для этого авторъ долженъ самъ предварительно пережить чувства, волнующія этихъ людей. Это не значитъ, конечно, что ему самому нужно побывать и въ Новой Землѣ и на Ледовитомъ океанѣ во время бури. Нѣтъ, психическое состояніе человѣка, застигнутаго бурею въ океанѣ, или зимою на Новой Землѣ, слагается изъ цѣлаго ряда разнообразныхъ психическихъ ощущеній; эти ощущенія или ощущенія, по своей природѣ аналогичныя имъ, могутъ быть вызываемы и при иныхъ условіяхъ, ихъ могутъ возбуждать и иныя обстоятельства, лишь бы только они имѣли что-либо общее съ обстоятельствами „бури“ и „зимовки“ на Новой Землѣ. Если авторъ испытывалъ подобныя ощущенія, если они ярко запечатлѣлись въ его памяти, ему не трудно будетъ обобщить ихъ въ ту или другую психическую комбинацію, создать изъ нихъ мысленно то или другое психическое состояніе; и это обобщеніе всегда будетъ производить на него, а потому и на насъ эффектъ живого, конкретнаго, реальнаго чувства.

Почему же русскому романисту почти никогда не удается создавать обобщенія, производящія такой эффектъ? Мнѣ кажется, это происходитъ отъ общихъ условій нашей жизни: жизнь представляетъ слишкомъ мало поприща для разнообразной дѣятельности, а слѣдовательно и для разнообразныхъ душевныхъ волненій, психическихъ ощущеній. Матеріалъ, доставляемый ею нашей мысли и нашему чувству, слишкомъ однообразенъ; онъ дѣйствуетъ на нашъ умъ скорѣе *усыпительно*, чѣмъ *возбудительно*; привычка къ безпечной жизни, къ тупому, равнодушному отношенію къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности, привычка взлелѣянная въ насъ цѣлымъ рядомъ историческихъ условій, лишаетъ насъ

способности глубоко проникаться внѣшними впечатлѣніями и живо сохранять ихъ въ своей памяти. На самые, повидимому, потрясающіе факты мы смотримъ съ холоднымъ равнодушіемъ, спокойно разсуждаемъ и плоско шутимъ тамъ, гдѣ люди, болѣе насъ чувствительные, выходили бы изъ себя отъ отчаянія, ужаса и негодованія.

При такой психической пассивности, что удивительнаго, если наши романисты—плоть отъ плоти нашей, рѣшительно не въ состояніи перенестись въ положеніе людей, вынужденныхъ силою обстоятельствъ испытывать *сильныя ощущенія*, глубокія потрясенія? Мнѣ кажется, обратный фактъ былъ бы гораздо удивительнѣе. Неспособные всецѣло проникаться и рельефно запечатлѣвать въ своей памяти психическія волненія, не только своихъ ближнихъ, но даже свои собственныя, наши романисты даютъ намъ лишь блѣдные очерки этихъ волненій, а потому и изображаемыя ими картины разныхъ „ужастей и страстей“, начиная отъ бурь въ Ледовитомъ океанѣ и кончая „бурями“ въ лакейскихъ переднихъ, не производятъ на насъ желаемаго эффекта: мы смѣемся или зѣваемъ. И мы имѣемъ полное право такъ поступать. Вотъ, напр., въ „исторіи Горбуна“ г. Некрасовъ тщится изобразить передъ нами, какъ крѣпостное право искажало и уродовало (не только въ метафорическомъ смыслѣ слова, но и въ буквальномъ) человѣка, поставленнаго въ зависимость отъ произвола помѣщика-самодура. Много тутъ собрано ужасовъ, страстей и неожиданностей. Но всѣ эти ужасы, страсти и неожиданности производятъ на васъ такое же впечатлѣніе, какое производятъ заурядныя, газетныя корреспонденціи, повѣствующія о разныхъ поджогахъ, убійствахъ, подлогахъ и всякихъ другихъ правонарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ уложеніи о наказаніяхъ. Во всей исторіи нѣтъ ничего особенно неправдоподобнаго, даже ничего выходящаго изъ обычнаго склада „старо-помѣщичьей жизни“. Вы всему готовы вѣрить, вы нисколько не сомнѣваетесь, что помѣщикъ Бронческій, приживъ съ дворовой „дѣвкой“, Натальей, сына, женился на сосѣдней помѣщицѣ, что Наталью согнали со двора, и что ее вмѣстѣ съ сыномъ гнали и преслѣдовали, *что она прежде*временно умерла, а у сына выросъ горбъ, что

озлобленный „горбунъ“ могъ поджечь барскую усадьбу и т. д., и т. д. Всѣ эти факты вы допускаете, но вы пробѣгаете ихъ совершенно равнодушно, ни одинъ изъ нихъ не вызоветъ передъ вашими глазами яркой картины пережитыхъ невзгодъ крѣпостного времени.

Если уже такія потрясающія событія, какъ бури на Ледовитомъ океанѣ, и дикія, хотя и заурядныя проявленія крѣпостного права, создававшаго каждый день, каждую минуту, на каждомъ шагу новую драму, новыя „ужасти и страсти“, если самые поразительные факты суровой природы и безобразной дѣйствительности не разжигаютъ творческой фантазіи поэта, то можетъ ли что сдѣлать будничная, приглаженная, вылощенная проза петербургской жизни? Конечно, нѣтъ. Только выработанная и развитая творческая фантазія могла бы найти здѣсь подходящій для себя матеріалъ.

Но когда такой фантазіи, съ одной стороны, не имѣется, а съ другой, она требуется задачами романа, то что тутъ дѣлать автору? У него есть одинъ только исходъ—прибѣгнуть къ помощи той человѣческой способности, которая, обыкновенно, служитъ суррогатомъ фантазіи и которую часто даже и принимаютъ за послѣднюю, къ способности—врать и городить нелѣпости, не смущаться ни требованіями здраваго смысла, ни условіями реальной дѣйствительности. Можетъ быть, эта способность и дѣйствительно есть грубый, элементарный зародышъ фантазіи, въ истинномъ смыслѣ этого слова; можетъ быть, ее тоже слѣдуетъ назвать (какъ это и дѣлается въ общежитіи) *фантазіею*. Но только эта зародышевая фантазія точно такъ же относится къ нормальной фантазіи, какъ зародышевая память, та память, которая способна запоминать лишь отрывочные, конкретные факты, безъ всякой между ними связи, и рѣшительно не способна группировать и обобщать ихъ,—какъ эта память относится къ нормальной человѣческой памяти. Одинъ знаменитый англійскій психіатръ называетъ такую память — *памятью идіота;* точно также и на тѣхъ же основаніяхъ, соотвѣтствующую ей фантазію можно назвать *фантазіею идіота*. Если нормально развитая фантазія соединяетъ въ цѣлостныя кар-

тины разнообразные образы, составленные изъ прошлыхъ впечатлѣній, обобщая *подобное*, выдѣляя *несходное*, и подводя конкретное разнообразіе къ внутреннему единству, то, напротивъ, фантазія идіота ограничивается лишь однимъ внѣшнимъ безпорядочнымъ сопоставленіемъ отрывочныхъ представленій, ни мало не заботясь о приведеніи этого случайнаго сопоставленія въ гармонію и соотвѣтствіе съ условіями окружающей человѣка дѣйствительности. Оттого продукты этой фантазіи всегда отличаются крайнею нелѣпостью и безалаберностью, не говоря уже о ихъ неправдоподобности. Они не способны возбудить въ насъ ни малѣйшей иллюзіи, не способны заставить насъ, хоть на минуту, принять вымыселъ за реальную, живую дѣйствительность, слушая или читая ея измышленія, мы не очаровываемся и не обманываемся; въ лучшемъ случаѣ, мы только смѣемся; но обыкновенно мы просто говоримъ: „эхъ, вретъ-то человѣкъ!" и спокойно перестаемъ его слушать или закрываемъ книгу.

V.

Такою именно *фантазіею* обладаетъ и авторъ „Трехъ странъ свѣта". Правда, гдѣ можно, онъ обходится безъ ея рессурсовъ; мы уже указали на эти случаи; но гдѣ безъ творческой фантазіи нельзя обойтись, онъ охотно прибѣгаетъ къ самымъ дикимъ измышленіямъ. Вся та часть (или правильнѣе говоря нѣсколько частей) романа, мѣсто дѣйствія которой—Петербургъ, и которая посвящена по преимуществу „featureзнямъ" Горбуна противъ Полинькиной невинности и „злоключеніямъ" Полиньки, оберегающей свою невинность отъ этихъ козней,—вся эта часть романа переполнена сцѣпленіями самыхъ нелѣпыхъ и невозможныхъ событій. Пересказывать всѣ эти небылицы въ лицахъ было бы скучно, да и не совсѣмъ деликатно относительно читателей; любой лубочный романистъ въ родѣ вѣчной памяти Булгарина или Зотова, не сочинитъ ничего глупѣе и безтолковѣе. Но чтобы мой отзывъ не показался слишкомъ голословнымъ, я приведу, для примѣра, хоть одинъ небольшой эпизодъ.

„Злой“ и „сластолюбивый“ Горбунъ воспылалъ любовью къ „добродѣтельной швейкѣ“, приходившей къ нему какъ-то занимать деньги подъ залогъ вещей. Горбунъ начинаетъ приставать къ ней съ ухаживаніемъ, но когда ухаживанье не ведетъ къ желанному результату, онъ атакуетъ ея неприступную невинность болѣе прямымъ способомъ: при содѣйствіи хозяйки Полинькиной квартиры, которая запираетъ на ключъ дверь атакованной жертвы. Однако „добродѣтельная швейка“ обладала не только добродѣтелью, но и нѣкоторою физическою силою; благодаря этому обстоятельству, атака не увѣнчалась успѣхомъ и Горбунъ со стыдомъ долженъ былъ обратиться вспять, а Полинька только слегка оцарапала себѣ руку о разбитое стекло. Само собою понятно, что такая неудача не потушила, а еще болѣе распалила страсть „злобнаго“ Горбуна. Онъ пустился теперь на хитрости: сталъ увѣрять „швейку“, что женихъ ея, отправившійся отыскивать капиталъ, измѣнилъ ей; осыпалъ ее письмами и преслѣдовалъ ее на улицѣ, какъ тѣнь. Но упорная швейка не поддавалась: письма она отсылала своему воздыхателю нераспечатанными, а на улицѣ бѣгала отъ него, какъ воришка отъ будочника. Наконецъ, хитрость восторжествовала надъ добродѣтельною, но неумѣренно-глупою невинностью. Горбуну удалось заманить швейку въ свое „логовище“,—да, это былъ не простой домъ, не обыкновенная квартира петербургскаго обывателя, а логовище какого-то лѣсного звѣря. Послушайте-ка. „Куда же мы пріѣхали?“, спросила Полинька, осторожно ступая по какой-то скользившей доскѣ за своимъ вожатымъ. „Они вошли въ сѣни, потомъ, отворивъ какую-то дверь, снова поднялись по лѣстницѣ и, наконецъ, очутились въ длинномъ и темномъ коридорѣ. Шаги ихъ печально раздавались въ тишинѣ. Сырой, удушливый воздухъ, паутина, которую Полинька чувствовала на своемъ лицѣ,—все показывало, что люди были здѣсь рѣдкіе гости (каково!). Полинькѣ опять стало страшно, и, схвативъ артельщика за руку, она робко спросила: „Да куда же мы идемъ?“ Затѣмъ ее, какъ водится, втолкнули въ какую-то комнату, совершенно темную. „Вдругъ комната отворилась— и ужасъ ни съ чѣмъ несравнимый охватилъ душу несча-

счастной дѣвушки: въ противоположной двери показалась горбатая фигура со свѣчой въ рукѣ. Полинька хотѣла вскрикнуть, но голоса не достало, и она стояла неподвижно, не сводя своихъ черныхъ, прекрасныхъ глазъ, обезумленныхъ ужасомъ, съ Горбуна... И точно, фигура его могла испугать въ эту минуту. Онъ былъ блѣденъ, по губамъ его пробѣгала судорожная улыбка, тогда какъ глаза сохраняли выраженіе неумолимой жестокости; грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвѣчникъ, дрожала. Медленно и плавно сталъ онъ подвигаться впередъ, поводя свѣчей и глазами вокругъ комнаты“. Что же Полинька? „Съ отвращеніемъ отшатнувшись при его приближеніи, она слабо вскрикнула и упала... въ объятія Горбуна“ (т. I, стр. 204). Впрочемъ, не безпокойтесь,—все кончится благополучно. Очнувшись отъ обморока, добродѣтельная швейка увидѣла себя въ комнатѣ великолѣпно убранной. „Вездѣ былъ штофъ, занавѣски съ кистями и бахромой, столы и стулья стариннаго фасона, съ позолотой, зеркала снизу до верху; стѣны были увѣшаны огромными картинами въ золотыхъ рамахъ. На столѣ стоялъ старинный канделябръ; нѣсколько восковыхъ свѣчей ярко освѣщали комнату. Мебель была ужъ слишкомъ массивна и шла скорѣе къ залѣ какого-нибудь замка“ (стр. 311). Явился Горбунъ. Онъ сталъ сначала уговаривать, старался затронуть добродѣтельное сердце швейки съ различныхъ сторонъ. Онъ предлагалъ ей вступить съ нимъ въ законный бракъ, обѣщая за это спасти отъ банкротства и тюрьмы мужа ея подруги, онъ старался разжалобить ее своею любовью и, наконецъ, рѣшился соблазнить своими богатствами. Онъ повелъ Полиньку въ комнату, сверху до низу наполненную всевозможными богатствами. На полкахъ стояли серебрянныя вазы, канделябры, кубки, бронзовые часы разной величины; сундуки были набиты серебромъ, штофомъ, парчами, кольцами, браслетами, брильянтами и т. п. Даже глупенькая Полинька, при видѣ такого баснословнаго богатства, на время забыла о своей добродѣтели: „ей пришли на умъ старыя волшебныя сказки; она улыбнулась и пожалѣла, что Горбунъ не можетъ превратиться въ какого-нибудь красиваго рыцаря“ (стр. 317).

Горбунъ, разыгрывая бѣса-искусителя, вскричалъ: „Возьмите, возьмите! это ваше, это ваше все, что вы тутъ видите. У меня много еще денегъ... они тоже ваши. А черезъ годъ или два я еще столько же вамъ принесу. Возьмите, возьмите все!". И какъ онѣ были добродѣтельны, — Боже мой, какъ онѣ были добродѣтельны! Можете себѣ представить: Полинька всѣми соблазнами пренебрегла и осталась тверда, какъ кремень. Горбунъ,—какъ это обыкновенно дѣлается въ дѣтскихъ сказкахъ,—заперъ „прекрасную упрямицу", въ одну изъ свѣтлицъ своего замка и обѣщалъ черезъ день прійти за отвѣтомъ. Но Полинька, разумѣется, чудодѣйственнымъ образомъ, черезъ крыши и заборы, улепетнула изъ своей тюрьмы, попала къ какой-то также добродѣтельной—хотя и не слишкомъ—лоскутницѣ, которая оказалась впослѣдствіи близкимъ другомъ ея матери и бывшей любовницей ея умершаго дяди. Въ качествѣ матернинаго друга и дядиной любовницы, лоскутница много содѣйствовала охраненію и спасенію цѣломудренной швейки; но это содѣйствіе понадобилось, впрочемъ, не теперь, а только въ слѣдующихъ частяхъ; въ „роковую ночь" Полинька лишь переночевала подъ гостепріимнымъ кровомъ матернинаго друга, а на утро благополучно добралась до Струнникова переулка (на Петербургской сторонѣ), гдѣ она, въ качествѣ швейки, жительство имѣла. Этимъ и кончились ея *ночныя злоключенія* и затѣмъ начались злоключенія утреннія, дневныя и вечернія, но я уже не стану безпокоить ими читателя. Изъ приведеннаго отрывка и безъ того уже ясно, съ какого рода фантазіею мы имѣемъ дѣло и какую „художественную правду" можемъ мы найти въ дальнѣйшихъ похожденіяхъ „злобнаго горбуна" и добродѣтельной швеи. Въ современной беллетристикѣ даже такое умственное и нравственное убожество, какъ Всеволодъ Крестовскій, и тотъ стоитъ въ *этомъ* случаѣ несравненно выше авторовъ „Трехъ странъ свѣта". И въ его вымыслахъ (принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ *фантазіи идіота*) больше правдивости, больше жизни и конкретной рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компаніи, сочинившей „Три страны свѣта".

VI.

Въ романахъ, къ циклу которыхъ принадлежатъ „Три страны свѣта“, нечего искать художественной отдѣлки характеровъ. Грубо пріуроченные къ какой-нибудь предвзятой идеѣ, они пользуются человѣческими фигурами лишь для нагляднаго иллюстрированія и доказательства этой идеи. Но такъ какъ *идею* можно развивать только съ помощью идей же, то человѣческія фигуры имѣютъ для романиста значеніе лишь простыхъ *знаковъ идей.* Каждая фигура воплощаетъ въ себѣ одну, двѣ, три какихъ-нибудь идеи и этимъ воплощеніемъ исчерпывается вся ея роль. Такимъ образомъ, романъ наполняется мертвыми машинами, ходящими, говорящими и думающими, но только *повидимому.* Въ сущности, въ качествѣ простыхъ машинокъ, онѣ вполнѣ неспособны совершать всѣ тѣ сложныя операціи, изъ которыхъ слагается жизнь живого человѣка. Вмѣсто нихъ, ходитъ, говоритъ, думаетъ и т. п. *чортикъ,* котораго всадилъ въ нихъ романистъ. Этотъ чортикъ—воплощенная ими идея. Она всецѣло и безусловно распоряжается бѣдными машинками. Если бы въ этихъ машинкахъ былъ хоть какой-нибудь признакъ жизни, если бы онѣ хоть сколько-нибудь походили на реальныхъ людей изъ плоти и крови, то ихъ можно бы было принять за больныхъ, одержимыхъ такъ называемою folie raisonée или mania sine delirio. Посмотрите хоть на ту же Полиньку изъ „Трехъ странъ свѣта“: вся ея жизнь, всѣ ея мысли, всѣ ея движенія сводятся къ любви и охраненію невинности въ отсутствіе любимаго предмета. Кромѣ любви къ Каютину и охраненія невинности, у нея нѣтъ никакихъ другихъ интересовъ, никакихъ другихъ цѣлей; отнимите у нея эту любовь и эту невинность—и у нея ничего не останется, она превратится въ нуль, въ „небытіе“, у васъ не сложится объ ней никакого представленія, даже самого смутнаго и блѣднаго. То же самое случится и съ героемъ романа — Каютинымъ, если вы отнимите у него любовь къ „добродѣтельной швейкѣ“. Только одна эта любовь даетъ смыслъ его существованію: безъ нея онъ *точно также* превратился бы въ „небытіе“. Она, эта „чистая

любовь“, возбуждаетъ въ немъ стремленіе къ „накопленію богатствъ“, гонитъ его изъ Петербурга на Волгу, съ Волги въ Новую Землю, съ Новой Земли къ Каспійскому морю, съ Каспійскаго моря въ Русскую Америку, а изъ Русской Америки снова приводитъ въ Струнниковъ переулокъ—въ объятія невинной швейки. Конечно, средневѣковые рыцари тоже не мало рыскали ради поцѣлуя „дамы сердца“, но вѣдь они дѣлали и кое-что другое: кромѣ интереса любовныхъ похожденій, у нихъ были кое-какіе и другіе интересы. А у нашего рыцаря съ Петербургской стороны, кромѣ Полиньки, нѣтъ, что называется, ni foi, ni loi, ni noi. Впрочемъ, можетъ быть, и есть, потому что въ противномъ случаѣ ему пришлось бы, вѣроятно, отправиться не въ Новую Землю и не въ Русскую Америку, а въ страны хотя и не менѣе теплыя и не менѣе близкія, но за то гораздо менѣе приспособленныя къ „торговымъ промысламъ“. Но мы дѣлаемъ это предположеніе единственно только въ интересахъ правдоподобія, хотя самъ авторъ не даетъ намъ на то ни малѣйшаго основанія. Все, что мы знаемъ отъ него о героѣ его, сводится лишь къ тому, что герой любитъ Полиньку, страстно желаетъ соединиться съ ней вѣчнымъ и неразрывнымъ союзомъ; далѣе мы узнаемъ, что онъ нѣсколько легкомысленъ и „очень хорошъ собою“. Затѣмъ о всемъ прочемъ предоставляется догадываться самому читателю.

Такимъ образомъ, и добродѣтельная швейка и образованный юноша, за вычетомъ изъ нихъ взаимной, „чистой любви“, превращаются въ призраки, не имѣющіе ничего общаго съ реальными людьми,—въ призраки неосязаемые и неуловимые. Романистъ вызвалъ ихъ изъ царства тѣней, чтобы съ ихъ помощью доказать основную мысль своего романа: „чистая любовь“ всегда и все преодолѣваетъ и надъ всѣмъ торжествуетъ; она даетъ силу и капиталъ пріобрѣсти и невинность сохранить; она укрѣпляетъ человѣка въ борьбѣ съ жизнью и ведетъ его, въ концѣ концовъ, къ высшему земному счастью — счастливому браку и богатству. Вотъ эту-то утѣшительную мысль онъ и воплотилъ, ради наглядности, въ своихъ герояхъ; весь ихъ смыслъ и все ихъ значеніе исчерпывается задачею этого воплощенія. Дурно или

хорошо выполнили они свою задачу, здѣсь, разумѣется, нѣтъ надобности говорить. Само собою понятно, что ребяческую мысль можно и доказывать только ребяческимъ образомъ; разбирать эти доказательства было бы тоже чистымъ ребячествомъ.

Счастливы романисты разбираемой нами категоріи, когда имъ приходится воплощать въ своемъ героѣ лишь *одну* какую-нибудь мысль. Тутъ, по крайней мѣрѣ, хотя и нагонишь тоску на читателя, но зато избѣгнешь упрека въ непослѣдовательности. Но вотъ бѣда: иногда имъ вздумается сдѣлать изъ героя—воплотителя не одной, а двухъ, даже трехъ, и нерѣдко, совершенно противуположныхъ идей. Характеръ выходитъ разнообразнѣе—это правда; съ перваго взгляда онъ даже какъ-будто имѣетъ нѣкоторое сходство съ характерами живыхъ людей. Но въ сущности это только обманъ зрѣнія; при ближайшемъ разсмотрѣніи, онъ оказывается сплетеніемъ самыхъ дикихъ и неправдоподобныхъ нелѣпостей.

Такимъ именно и является характеръ Горбуна. Горбунъ, если и не герой, то, во всякомъ случаѣ, главное дѣйствующее лицо романа; безъ него Полинькѣ пришлось бы очень плохо, потому что отъ кого же бы она стала защищать свою невинность? Горбунъ играетъ роль бѣса-искусителя, карателя, злодѣя и, наконецъ, служитъ нагляднымъ доказательствомъ той истины, что зло рано или поздно, но непремѣнно наказывается. Но этимъ еще не исчерпывается его амплуа: онъ же долженъ выражать собою нѣкоторый протестъ противъ крѣпостного права. Впрочемъ, протестъ этотъ совершенно сглаживается и затирается его горбомъ: изъ протестанта, созданнаго крѣпостными порядками, авторъ превращаетъ его въ протестанта, созданнаго физическимъ уродствомъ. Конечно, это гораздо благонамѣреннѣе, только... это уже слишкомъ старо, даже и для 50-хъ годовъ.

Мы знаемъ уже, что Горбунъ былъ побочный сынъ нѣкоего богатаго помѣщика, прижившаго его съ своею дворовою дѣвушкой; мы знаемъ также, что дѣвушка, какъ это обыкновенно водилось, была прогнана съ барскаго двора, а помѣщикъ женился на своей сосѣдкѣ-помѣщицѣ. Разумѣет-

ся, мальчику, подвергшемуся остракизму вмѣстѣ съ матерью, жилось плохо; надъ нимъ смѣялись, его обижали; падшая любовница не могла разсчитывать на снисходительность дворни, особенно когда дворня замѣтила, что главная ключница новой барыни, старая и злая Матрена, ненавидитъ бывшую фаворитку; но такъ какъ мучить ребенка было легче и удобнѣе, чѣмъ мать, то маленькій Добротинъ (такую ему дали фамилію) и былъ превращенъ въ козлище искупленія за материнскіе грѣшки. Одного этого было-бы достаточно, даже черезъ-чуръ достаточно, чтобы испортить мальчика, развить въ немъ злые инстинкты и сдѣлать изъ него въ будущемъ озлобленнаго и безсердечнаго эгоиста. Но авторъ не удовольствовался этимъ: онъ заставилъ „старую и злую" Матрену уронить ребенка съ лѣстницы; благодаря этому обстоятельству у ребенка выросъ горбъ. Разумѣется, надъ маленькимъ горбуномъ стали еще больше смѣяться; надъ нимъ смѣялись не только тогда, когда онъ былъ маленькимъ, но и когда онъ сдѣлался взрослымъ. Эстетическое чувство людей возмущалось его уродствомъ, и бѣдный уродъ, презираемый и унижаемый, чѣмъ больше росъ, тѣмъ глубже проникался безсильною злобою и ненавистью къ людямъ. „Ужъ только подрасту, грозился онъ,—я имъ задамъ!" Безсильная злоба всегда вырождается въ хитрость и лицемѣріе. Горбунъ, затаивъ чувство мести, подобострастно заискивалъ передъ „сильными міра". Онъ вкрался въ милость къ молодому *барчонку*, законному сыну его отца, забавлялъ его сказками, когда барченокъ ходилъ еще въ рубашечкахъ; сталъ участвовать въ его шалостяхъ, когда барченокъ надѣлъ курточку; а когда у барченка прорѣзался усъ, онъ помогалъ ему въ любовныхъ шашняхъ съ дочерью экономки. Любовныя шашни открылись, барченку могло сильно достаться отъ строгой матери, горбунъ принялъ все на себя: это не барченокъ, а онъ, горбунъ, завелъ любовныя шашни. Строгая барыня обвѣнчала его на его мнимой любовницѣ. Горбунъ едва только почувствовалъ, что въ его рукахъ судьба живого человѣческаго существа, что власть его надъ этимъ существомъ безгранична и безконтрольна,—сейчасъ же начинаетъ вымещать на немъ все, что онъ терпѣлъ и

терпитъ отъ окружающихъ его людей. Онъ мучитъ свою жену до такой степени, что она, беременная, убѣгаетъ отъ него къ своимъ родственникамъ. На дорогѣ, въ какомъ-то уѣздномъ городишкѣ, она рожаетъ сына и умоляетъ акушерку скрыть его отъ отца, потому что отецъ „такой злодѣй, что убьетъ его, пожалуй". Когда горбунъ отыскалъ свою жену, она уже была трупомъ, а сынъ былъ подкинутъ къ нѣкоему добродѣтельному помѣщику, по имени Тульчинову. Убивъ жену, онъ продолжалъ свои подвиги въ роли „лицемѣрнаго злодѣя". Барченокъ самъ сталъ бариномъ, горбунъ—его довѣреннымъ лицомъ и управляющимъ его имѣніями; въ качествѣ „довѣреннаго лица", онъ развращалъ барина и поощрялъ его мотовство; а въ качествѣ „управляющаго", обиралъ его. Игра кончилась такъ, какъ ей и слѣдовало кончиться: баринъ разорился и былъ убитъ въ Италіи на дуэли; горбунъ обогатился, переѣхалъ въ Петербургъ, сдѣлался ростовщикомъ и прижималъ бѣдныхъ и богатыхъ, сколько только хватало силъ. „Въ Петербургѣ, говоритъ авторъ,—душа его черствѣла не по днямъ, а по часамъ, и скоро уснула глубокимъ сномъ" (т. II, стр. 319). Прекрасно; до сихъ поръ, нѣтъ еще никакой нелѣпости: горбунъ исправно воплощаетъ собою идею *человѣконенавистничества,* хотя, по правдѣ сказать, его человѣконенавистничество имѣетъ весьма невинный характеръ, и не идетъ далѣе продѣлокъ самаго зауряднаго мазурика. Но я сказалъ уже, что авторъ сдѣлалъ его воплощеніемъ не одной идеи, а двухъ, и, къ несчастію, совершенно противоположныхъ. Вмѣстѣ съ человѣконенавистничествомъ авторъ всунулъ въ свою горбатую машинку нѣжное и любвеобильное сердце. Когда онъ узнаетъ, что книгопродавецъ Кирпичниковъ, котораго онъ разорилъ и довелъ до долгового отдѣленія,—его сынъ, онъ чувствуетъ внезапно такой приливъ родительской нѣжности, что готовъ сейчасъ же отдать ему все свое состояніе. Въ любви къ женѣ своего бывшаго помѣщика, Сарѣ, и потомъ къ Полинькѣ, онъ обнаруживаетъ столько страсти, самоотверженія и великодушія, и такое удивительное постоянство, что, право, на этомъ поприщѣ съ нимъ могутъ развѣ посоперничать какіе-нибудь средневѣко-

вые рыцари, а уже никакъ не мы—„бѣдные пасынки“ сѣверной природы. Конечно, эта любовь имѣла чисто-животный характеръ, но все-таки она была его *страстью*, подчинявшею себѣ всецѣло всю его жизнь. Но точно такія же права предъявляла на эту жизнь и другая его страсть—человѣконенавистничество. Повидимому, между двумя противоположными отраслями, между двумя демонами его души, должна была бы начаться непримиримая вражда. Эта вражда, проникая всѣ его мысли, чувства и поступки, должна была бы наложить свою печать на его характеръ. Характеръ, вѣчно путающійся въ противорѣчіяхъ своихъ инстинктовъ и стремленій, представляетъ крайне трудную и сложную задачу для художественнаго синтеза. И разумѣется, если бы въ горбунѣ гг. авторы разбираемаго нами романа имѣли намѣреніе нарисовать живого человѣка, то для насъ было бы весьма важно и интересно знать, какъ они справились бы съ своею задачею. Но такого намѣренія они, очевидно, не имѣли, и потому съ нашей стороны было бы странно и неделикатно навязывать имъ какія бы то ни было психологическія или художественныя задачи. Ни о какой внутренней борьбѣ, ни о какихъ психическихъ противорѣчіяхъ они знать ничего не знаютъ. Для нихъ характеръ Горбуна не представляетъ ни малѣйшей сложности: два враждебные демона уживаются въ его сердцѣ весьма дружелюбно; они нисколько не стѣсняютъ другъ друга, и каждый дѣйствуетъ вполнѣ самостоятельно. Когда приходитъ чередъ дѣйствовать демону любви, Горбунъ любитъ и только любитъ; когда наступаетъ часъ демона ненависти, Горбунъ ненавидитъ и только ненавидитъ. Это очень просто. А что касается до психологической правды, то авторы на нее не претендуютъ. Имъ нужно только, чтобы каждое лицо воплощало какую-нибудь идейку, *единичную* или *парную*, смотря по требованіямъ ихъ беллетристическаго гранъ-пасьянса, а до всего прочаго—имъ нѣтъ никакого дѣла. Слѣпенькая старушка, убивающая свою скуку за безконечными пасьянсами, нисколько не заботится о художественной отдѣлкѣ своихъ картъ; для нея важно только ихъ условное значеніе. Вотъ эта карта означаетъ даму, эта—короля, а дѣйствительно ли походятъ изображенныя на

нихъ фигуры на живыхъ дамъ и королей, слѣпенькой старушкѣ—это все равно. Гг. Некрасовъ и Станицкій находятся именно въ положеніи этой старушки. Ихъ длинный, длинный гранъ-пасьянсъ, какъ и всякій гранъ-пасьянсъ, опредѣляется не художественнымъ достоинствомъ картъ, а ихъ относительнымъ положеніемъ. Они это знаютъ, и мы это знаемъ; значитъ насчетъ художественной отдѣлки характеровъ здѣсь и упоминать не стоитъ.

VII.

А между тѣмъ, повторяю опять, авторы (по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ) не лишены литературнаго таланта, и въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ приходится не *создавать* характеры, а просто *срисовывать*, они показываютъ намъ не куклъ, набитыхъ соломою, а живыхъ, реальныхъ людей; таковы, напримѣръ, въ романѣ Кирпичниковъ, Граблинъ, Лиза. Эти люди ничего особеннаго въ себѣ не воплощаютъ; это — простыя, обыденныя личности; они случайно стояли въ узкомъ районѣ авторскихъ наблюденій, для ихъ воспроизведенія не требовалось никакого участія творческой фантазіи, и авторъ воспроизвелъ ихъ довольно вѣрно реальной дѣйствительности. Но и тутъ предвзятая идея романа испортила художническій эффектъ. Одной простой наблюдательности было недостаточно для примиренія *жизни* съ оптимистической теоріею, требовалось кое-что другое; а мы уже знаемъ, что этого то *кое-чего* и нѣтъ у автора. О Лизѣ, Граблинѣ, и еще двухъ-трехъ дѣйствующихъ лицахъ, похожихъ хотя сколько-нибудь на живыхъ людей, намъ нѣтъ надобности здѣсь говорить; эти лица, во-первыхъ, чисто вводныя, существеннаго значенія въ романѣ не имѣющія, а во-вторыхъ, самъ авторъ останавливается на нихъ лишь мимоходомъ, очерчиваетъ ихъ весьма слабо и блѣдно. Только фигура Лизы представлена довольно живо и рельефно. Но и къ этой фигуркѣ авторы ухитрились пришпилить ярлычекъ съ нравственною сентенціею изъ дѣтскихъ прописей. Вѣтреная, капризная, легкомысленная, но самобытно и свободно развившаяся барышня (изъ *помѣщичьихъ внучекъ*) затронула какъ-то тщеславіе своего жениха, и необдуманно

сказала любимому человѣку, что она не хочетъ быть его женою. За такое непростительное легкомысліе авторы жестоко наказали веселенькую барышню, чуть не довели ее до самоубійства и загубили всю ея жизнь. Конечно, это весьма нравственно; но только уже черезъ чуръ строго! Столь же нравственно, хотя и столь же строго отнеслись они и къ Кирпичникову. Кирпичниковъ одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, невѣжественный, тупой, лѣнивый, развратный, безмѣрно-глупый и тщеславный купчикъ, открываетъ на женины деньги *книжный магазинъ и библіотеку для чтенія на всѣхъ языкахъ*. Въ книжномъ дѣлѣ онъ ничего не смыслитъ, онъ не только никакихъ книгъ съ роду не читалъ, да и видывалъ то ихъ мало. Но его увѣрили, что, открывъ книжный магазинъ и начавъ издавать книги, онъ прославится на всю Россію, что имя его будетъ съ благодарностью произноситься современниками, а память о немъ не умретъ и въ потомствѣ; что „истинные цѣнители изящнаго“ поднесутъ ему какой-нибудь подарочекъ, въ видѣ перстня или табакерки, осыпанныхъ брильянтами и т. п. Тщеславіе заговорило въ немъ, и вотъ, руководствуясь общеизвѣстною моралью: *„ндраву моему не препятствуй“*, изъ смиреннаго торговца хомутами и дегтемъ онъ превратился въ двигателя „россійской литературы“, въ издателя журнала, въ мецената россійской учености. Само собою понятно, что приказчики его надували, что авторы изъ „знаменитыхъ“ дорого сбывали ему свои сочиненія, которыхъ никто не раскупалъ, и что вообще всякій, кто только не былъ дуракъ, норовилъ сорвать съ него хоть что-нибудь. Съ своей стороны, и Кирпичниковъ не оставался въ долгу: онъ тоже эксплуатировалъ бѣдныхъ писателей, учитывалъ у прислуги гроши, надувалъ иногородныхъ подписчиковъ, подскабливалъ въ книгахъ и т. п. Въ этой обоюдной эксплуатаціи побѣдителемъ, конечно, долженъ былъ остаться наиболѣе ловкій и умный. Кирпичниковъ же былъ безмѣрно глупъ, ничего не смыслилъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся, притомъ попойки и кутежи занимали все его время. А тутъ еще вмѣшался „злой горбунъ“, и нашъ книгопродавецъ и издатель окончательно разорился. Магазинъ опечатали, а

„двигателя русской литературы“ свезли въ долговое отдѣленіе. Въ эту-то критическую минуту горбунъ, скупившій всѣ векселя книгопродавца, узнаетъ, что Кирпичниковъ его сынъ. Въ припадкѣ родительской нѣжности, онъ бѣжитъ къ разоренному купцу и предлагаетъ ему и векселя уничтожить и капиталъ дать. Авторъ вездѣ рисуетъ Кирпичникова жаднымъ, тщеславнымъ, развратнымъ эгоистомъ, совершенно неспособнымъ увлекаться какими бы то ни было идеально-нравственными соображеніями. Это самый обыкновенный „купеческій безобразникъ“, въ московскомъ вкусѣ. Потому, мы въ правѣ думать, что онъ схватится съ радостью за неожиданное счастье и заключитъ въ свои объятія нежданнаго, негаданнаго отца благодѣтеля. Но не тутъ-то было. Оптимистическая теорія романа требуетъ *кары* злодѣянію и *награды* добродѣтели. Какъ кара, такъ и награда должны быть двоякими: внутренними и внѣшними; т. е. злодѣй долженъ быть не только разоренъ и погубленъ, а добродѣтельный обогащенъ и возвеличенъ, но еще, кромѣ того, первый долженъ внутренно мучиться, сознавая свое злодѣяніе, а второй внутренно радоваться и восхищаться, сознавая свою добродѣтельность. Въ силу этой теоріи Кирпичниковъ, очевидно, не могъ принять родительскаго предложенія, а долженъ былъ, ну, по меньшей мѣрѣ, утопиться, сознавъ предварительно всю свою дрянность.

Такъ онъ и поступилъ. На заманчивые посулы отца онъ разразился слѣдующею тирадою: „зачѣмъ ты сулишь мнѣ деньги? я знаю тебя хорошо... да и что мнѣ въ нихъ теперь? Я ихъ имѣлъ: что же я сдѣлалъ изъ нихъ? а, что? я бросалъ ихъ тѣмъ, которые льстили мнѣ и выгонялъ тѣхъ, кто молилъ о помощи: что мнѣ въ той жизни, какую я велъ? пьянство... да оно-то и погубило меня... Нѣтъ, ничего мнѣ не надо! я вѣкъ свой прожилъ, словно какъ животное, прожилъ свои и чужія деньги, пустилъ по міру жену и дѣтей. Я все сдѣлалъ низкое и злое, что только можетъ сдѣлать человѣкъ! Такъ зачѣмъ мнѣ еще деньги? чтобы опять поить, кормить льстецовъ, да обсчитывать бѣдныхъ и честныхъ людей? Нѣтъ, все уже кончено! не увидишь, не налюбуешься ты больше моимъ позоромъ, моими черными дѣлами...

Нѣтъ, нѣтъ!“ (т. II, стр. 395.) И затѣмъ — бултыхъ въ воду. Горбунъ за нимъ, и оба тонутъ. Такъ, да погибнутъ грѣшники!

Вотъ какую мораль съ паѳосомъ проповѣдывали наши передовые писатели лѣтъ двадцать пять тому назадъ! Сравните теперешняго Некрасова-поэта съ тогдашнимъ Некрасовымъ-беллетристомъ! Кто повѣритъ, что это одинъ и тотъ же человѣкъ? И кто намъ скажетъ, когда этотъ человѣкъ говоритъ искренно: тогда-ли когда онъ рѣшаетъ вопросъ: „Кому на Руси жить хорошо?“ или когда въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ пишетъ „Три страны свѣта?“ Во всякомъ случаѣ будущій историкъ нашей литературы не оставитъ безъ вниманія этого романа. Весьма ничтожный, какъ мы показали, въ чисто-художественномъ отношеніи, онъ весьма важенъ въ отношеніи историко-литературномъ. Проливая свѣтъ на тогдашнее міросозерцаніе его автора, онъ указываетъ въ то же время, и на то, какъ рѣшительно измѣнилась, въ послѣднія полтора десятилѣтія, наша умственная атмосфера. Теперь, я думаю, ни одинъ, самый плохенькій, самый скабрезный романистъ не рѣшился бы признать себя авторомъ „Трехъ странъ свѣта“. Хотя и въ наше время, сплошь да рядомъ, пишутся романы съ манекенами, но они не подгоняются, по крайней мѣрѣ, подъ тѣ узенькія и пошленькія идейки, подъ которыя гг. Некрасовъ и Станицкій подогнали свое произведеніе.

VIII.

Въ заключеніе обратимъ вниманіе читателей еще на одну (отчасти уже указанную выше) характеристическую черту романа. Жизненный интересъ почти всѣхъ его дѣйствующихъ лицъ вертится на одной *любви*. Любовь играетъ у этихъ людей роль какого-то то ужаснаго, то благодѣтельнаго фатума. Она или ведетъ ихъ къ счастію и блаженству (если они нравственны и благоразумны), или (если они недостаточно нравственны и благоразумны) губитъ ихъ, низвергаетъ ихъ въ адъ всевозможныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ мукъ и страданій. Мы уже видѣли, что два главные

героя этого романа представляютъ собою не болѣе, какъ абстрактную идею любви, облеченную въ человѣческія формы. Третій герой-манекенъ, нѣкій добродѣтельный башмачникъ (въ pendant къ добродѣтельной швейкѣ) точно также весь сосредоточивается въ любви къ Полинькѣ. Немножко болѣе похожій на живого человѣка, нѣкій россійскій живописецъ-самоучка, тотъ самый, котораго вѣтреная Лиза легкомысленно отвергла, наконецъ, сама Лиза, далѣе Граблинъ, Дарья (дѣвица вольныхъ нравовъ), Полинькина мать и т. п. всѣ они только и дышатъ любовью и, разумѣется, очень скоро задыхаются. Боже мой, какое обиліе любви! И добро бы занимались этимъ пріятнымъ времяпрепровожденіемъ ожирѣвшіе помѣщики, а то вѣдь, нѣтъ! разныя швейки, башмачники, даже „дѣвицы вольныхъ нравовъ",—весь этотъ бѣдный, живущій въ проголодь людъ, у котораго и безъ того полны руки работы, и онъ также пускается въ идеальное амурничанье! И они нѣжничаютъ и вздыхаютъ, ухаживаютъ и бредятъ чистою любовью. У всѣхъ въ сердцѣ и на умѣ только одно—любовь, и какая любовь! самая, повидимому, утонченная и возвышенная! И нельзя сказать, чтобы эта „любовная нота" составляла какую-нибудь отличительную особенность именно одного только этого романа. Нѣтъ, она съ упорнымъ однообразіемъ и какимъ-то ослинымъ постоянствомъ звучитъ во всей нашей старой и отчасти новѣйшей беллетристикѣ. Если романисты той школы, къ которой принадлежатъ гг. Некрасовъ и Станицкій, смотрѣли на нее чисто матафизически, видѣли въ ней какую-то субстанцію, переполняющую человѣческія внутренности, какую-то отвлеченную идею, воплощаемую людьми, то романисты другой школы, такъ называемые художники, измѣнили лишь точку зрѣнія и стали разбирать ее чисто-психологически, но все-таки и у тѣхъ и другихъ она стояла и стоитъ на первомъ планѣ. Говоря о Тургеневѣ, мы познакомимся ближе съ отношеніями художнической, правильнѣе сказать, *психологической школы* нашихъ беллетристовъ, къ этому привиллегированному чувству, безъ котораго у сочинителей этой школы не обходился ни одинъ романъ, ни одна драма, *даже ни одинъ* водевиль самого лубочнаго издѣлія, какъ

и до сихъ поръ у московскихъ купеческихъ сынковъ не обходится безъ любовныхъ похожденій ни одинъ трактирный подвигъ, совершаемый по ночамъ, вдали отъ родительской кровли... Говоря о Тургеневѣ мы увидимъ, далеко ли ушли эти романисты психологи отъ романистовъ-метафизиковъ. Теперь достаточно сказать, что и тѣ и другіе съ одинаковою щедростью надѣляютъ „любовнымъ богатствомъ“ всѣ классы и сословія россійской имперіи, безкорыстно отрѣшаются на этотъ разъ отъ дворянскихъ привиллегій. Тургеневскіе „пейзаны“ и Марко-Вовческія „пейзанки“, по части любви, безъ труда выдержатъ конкуренцію съ „добродѣтельными швейками“ и башмачниками гг. Некрасова и Станицкаго. Читая всѣ эти безконечныя славословія любви, самыя разнообразныя ея варіаціи, можно подумать, что мы, и взаправду, живемъ въ какой-то Аркадіи, гдѣ любовь надъ всѣмъ царитъ. А между тѣмъ, что же оказывается въ дѣйствительности? Читайте наши судебныя хроники, разверните уголовную лѣтопись „добраго стараго времени“, загляните за ширмы семейной жизни прошлой эпохи, и укажите намъ на этихъ идеальныхъ героевъ, готовыхъ изъ за любви жертвовать самою жизнію. И, конечно, чѣмъ дальше будемъ отодвигаться въ глубь крѣпостного права, тѣмъ менѣе шансовъ на то, чтобы встрѣтиться съ аркадскими пастушками и буколическими сценами, въ родѣ невинной швеи, ожидающій въ свои объятія странствующаго рыцаря съ Петербургской стороны... А между тѣмъ, тогда-то именно съ особенною неутомимостью и воспѣвалась въ нашей литературѣ „чистая любовь“. Тотъ же фактъ, какъ извѣстно, повторяется и въ литературѣ другихъ народовъ. Въ средніе вѣка поэты и рыцари идеализовали любовь самымъ неумѣреннымъ образомъ, а жизнь съ циническимъ смѣхомъ топтала ее въ грязь. Не имѣемъ ли мы права заключить отсюда, что положительные идеалы беллетристовъ отражаютъ въ себѣ реальную дѣйствительность не въ настоящемъ ея видѣ, а въ обратномъ? Не дополняетъ ли болѣзненно-настроенная фантазія своими призраками того, чего именно не достаетъ въ дѣйствительной жизни? Мнѣ кажется, что эта мысль не лишена справедливости не только съ чисто-исторической, но и съ психологической точки зрѣ-

нія. Сытый не мечтаетъ о хлѣбѣ, любимый и любящій о любви. Только человѣкъ голодный способенъ увлекаться кускомъ хлѣба; только люди, мало любящіе и мало любимые видятъ въ любви главное украшеніе и назначеніе человѣческой жизни. Любовь, какъ и вообще всѣ гуманныя и высоко-развитыя чувства, не падаетъ на насъ съ неба; она является, какъ продуктъ высокаго умственнаго развитія, общей жизненной гармоніи и тѣхъ общественныхъ условій, которыми такъ мало отличалось крѣпостное стойло. Читатель скажетъ, что все это старыя и тривіальныя истины; это правда. Но когда дѣло идетъ объ оцѣнкѣ общества, съ точки зрѣнія его литературныхъ идеаловъ, то эти старыя истины обыкновенно забываются. Мы всегда бываемъ склонны видѣть въ литературѣ и въ особенности въ беллетристикѣ *прямое отраженіе* общества; мы всегда готовы признать то общество болѣе нравственнымъ, беллетристика котораго проникнута нравственными сентенціями, наполнена нравственными героями; мы ужасаемся безнравственности того общества, въ которомъ беллетристика не устаетъ купаться въ грязныхъ водахъ цинизма и полового разврата. Напримѣръ, мы наивно думаемъ, что Золя, Флоберы, Дрозы свидѣтельствуютъ о безнравственности французскаго общества, а чопорная мораль англійскихъ моралистовъ есть несомнѣнный призракъ крѣпости „нравственныхъ устоевъ“ англійскаго „мѣщанства“ и сельскаго „джентри“. А между тѣмъ, съ точки зрѣнія „тривіальныхъ истинъ“, мы должны бы были дѣлать совершенно обратныя заключенія: чего беллетристика не идеализуетъ, того, значитъ, имѣется въ обществѣ въ достаточномъ количествѣ, а то, что она идеализуетъ, въ томъ, значитъ, чувствуется большой недостатокъ. Разъ вы утвердились на этой точкѣ зрѣнія, вы безъ всякихъ дальнѣйшихъ указаній будете знать, какъ нужно смотрѣть на дѣйствительныхъ людей, на реальныя отношенія того общества, въ которомъ могутъ появляться романы, подобные „Тремъ странамъ свѣта“.

П. Н. Ткачовъ.

* * *

*) Въ ноябрьской книжкѣ „Дѣла" нѣкоторый, впрочемъ, талантливый критикъ, стремится провести мысль и поддерживаетъ свои увѣренія относительно художественной несостоятельности писателей сороковыхъ годовъ — чѣмъ бы вы думали?—разборомъ романа „Три страны свѣта". Критикъ беретъ это забытое произведеніе въ качествѣ лучшаго представителя романовъ „старой беллетристики" изъ категоріи бьющихъ на внѣшніе эффекты. Разобравъ пошлость содержанія и пошлость эффектовъ этого романа, критикъ приходитъ къ тому заключенію, что въ современной беллетристикѣ даже такой убогій писатель, какъ г. Всеволодъ Крестовскій, стоитъ несравненно выше авторовъ „Трехъ странъ свѣта". И въ его вымыслахъ, принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ бездарнѣйшей фантазіи, больше правдивости, больше жизни и рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компаніи, сочинившей „Три страны свѣта". Все это можетъ быть и справедливо, но все это въ то же время отнюдь не доказываетъ, что современная беллетристика и современные беллетристы стоятъ выше талантовъ сороковыхъ годовъ. Судить старую беллетристику по „Тремъ странамъ свѣта" не подобаетъ потому, что этотъ романъ исключительнаго характера, написанный съ особыми цѣлями и по особеннымъ обстоятельствамъ. Время, когда г. Некрасовъ, въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, печатали свое длинное и эффектное произведеніе, было однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ журналистики. Тогда журналамъ приходилось бороться не съ одними только внѣшними препятствіями, но и съ равнодушіемъ большинства общества къ умственнымъ интересамъ, къ чтенію порядочныхъ книгъ. Общество только въ своемъ образованномъ меньшинствѣ считало интересы литературы и мысли достойными вниманія: остальная масса не хотѣла о нихъ ничего знать, не хотѣла оцѣнивать той тяжелой борьбы, какую приходилось выдерживать помянутымъ интересамъ съ различными темными силами, не желала поддерживать журналистику въ этой благородной борьбѣ. Между

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1872 г., № 352, Статья Z. (В. П. Буренина).

тѣмъ образованное меньшинство можно было въ то время считать десятками, пожалуй, сотнями, но ужъ никакъ не болѣе. Журналистикѣ приходилось искать помощи въ массѣ неразвитой, съ грубыми вкусами и инстинктами. Для пріобрѣтенія этой помощи журналистика и должна была поневолѣ прибѣгнуть къ сочиненію и печатанію романовъ въ родѣ „Трехъ странъ свѣта". Такіе романы писались нарочно для чтенія массы, въ нихъ намѣренно вводились грубые и банальные эффекты, чисто внѣшняя интересность содержанія, прописная мораль и прописныя тенденціи. Болѣе тонкимъ искусствомъ, менѣе декоративной живописью, масса не могла бы завлечься; она отвращалась отъ изящныхъ яствъ и бросалась съ своимъ грубымъ аппетитомъ на кушанья, приправленныя разными пряностями и всякими гарнирами. Благодаря изготовленію этихъ грубыхъ кушаній, журналы койкакъ могли существовать, имѣли матеріальную поддержку въ публикѣ, и въ то же время имѣли возможность, вмѣстѣ съ грубыми блюдами, давать и другія, болѣе здоровыя и питательныя, болѣе тонкія. Лучшіе журналы сороковыхъ годовъ вынуждены были прибѣгать къ такой беллетристикѣ для заохочиванія массы къ чтенію. „Отечественныя Записки" при Бѣлинскомъ печатали въ переводѣ романы, въ родѣ „Королевы Марго", „Графини Монсоро", „Двухъ Діанъ" и т. п. Конечно, печатаніе подобныхъ „завлекательныхъ", но пустыхъ произведеній искусства было нѣкоторымъ грѣхомъ со стороны журналистики; но что же было дѣлать, если это былъ невольный грѣхъ, если необходимость вынуждала къ этому журналы, если нравы публики требовали этого. Можно пожалѣть о жалкомъ положеніи тогдашней журналистики, но не слѣдуетъ порицать ее съ азартомъ за невинныя, вызванныя тяжелымъ положеніемъ, уловки. Особенно не слѣдуетъ порицать теперь, когда уже этотъ темный періодъ литературы можно судить съ исторической точки зрѣнія.

А между тѣмъ, критикъ „Дѣла" обнаруживаетъ именно такой азартъ въ порицаніи „Трехъ странъ свѣта". Этотъ несчастный, вынужденный необходимостью романъ, который *писался* (по крайней мѣрѣ, однимъ изъ его авторовъ) почти

въ шутку, къ которому, если не ошибаюсь, кромѣ гг. Некрасова и Станицкаго, прилагали мѣстами руку и другіе литераторы,—этотъ романъ преслѣдуется критикомъ какъ будто какое нибудь серьезное произведеніе. Критикъ разбираетъ въ романѣ типы, анализируетъ его идею, его мораль, пріемы творчества авторовъ, и все это съ цѣлію доказать, что прежде писались романы хуже, чѣмъ теперь. Какъ я думаю, смѣется если не г. Станицкій, то г. Некрасовъ, читая этотъ серьезный анализъ и припоминая, ради чего и какими беллетристическими средствами создавался этотъ романъ! Но смѣхъ смѣхомъ, а, съ другой стороны, вѣроятно, г. Некрасову и прискорбно, что его серьезно корятъ въ наши дни за вынужденное сочинительство завлекательныхъ эпопей добраго стараго времени. Впрочемъ, г. Некрасовъ можетъ утѣшиться: публика знаетъ, что за „Три страны свѣта“ онъ не порицанія достоинъ; публика знаетъ, что этимъ романомъ онъ въ свое время поддерживалъ интересъ къ „Современнику“. „Три страны свѣта“ очень читались массою: это лучшая похвала роману, написанному исключительно для процесса чтенія.

Не совсѣмъ справедливо также обвиняетъ критикъ „Дѣла“ г. Некрасова въ томъ, что онъ добровольно реставрируетъ теперь свой романъ, сознавая надобность такой реставраціи. Если бъ г. Некрасовъ написалъ „Три страны свѣта“ одинъ, тогда бы теперешнее изданіе романа пришлось бы отнести вполнѣ на его счетъ. Но, вѣдь, романъ написанъ въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, стало быть, его теперешняя реставрація зависѣла не отъ одного г. Некрасова. Можетъ быть, г. Некрасовъ вовсе не желалъ видѣть новое изданіе своего забытаго произведенія, но принужденъ былъ согласиться на таковое въ виду желанія г. Станицкаго. Это предположеніе, весьма вѣроятное, во всякомъ случаѣ, должно принимать во вниманіе при оцѣнкѣ вопроса, насколько виноватъ поэтъ нашихъ дней въ возобновленіи грѣховъ своей молодости? Не такъ давно была издана какимъ-то книгопродавцемъ нелѣпая сказка г. Некрасова „Баба-Яга“, написанная во дни юности. Изданіе этой сказки было продано поэтомъ книгопродавцу въ соро-

ковыхъ годахъ; но послѣдній въ наши дни воспользовался своимъ правомъ, спекулируя на извѣстность имени г. Некрасова. Съ неразборчивой точки зрѣнія критики „Дѣла“, пожалуй, и за эту „Бабу-Ягу“ придется упрекать и порицать даровитаго поэта.

Критикъ „Дѣла“ старается доказать, посредствомъ разбора „Трехъ странъ свѣта“, что старые романы изъ категоріи тѣхъ, которые основываются на „страстяхъ и ужасахъ“, были нелѣпы и писались хуже, чѣмъ новѣйшіе продукты беллетристики въ такомъ родѣ. Но на страницахъ самого „Дѣла“, въ ноябрьской книжкѣ и въ предшествовавшей ей, мы встрѣчаемъ необыкновенно яркое и наглядное доказательство противнаго: именно самоновѣйшій романъ г. Каразина „На далекихъ окраинахъ“. Сравните этотъ романъ съ „Тремя странами свѣта“, и вы сейчасъ же увидите, насколько прежніе беллетристическіе „страсти и ужасы“, писанные ради необходимости, чуть ли не шутя, выше теперешнихъ „страстей и ужасовъ“, сочиняемыхъ con amore. Мотивы различныхъ романическихъ эффектовъ „Трехъ странъ свѣта“, конечно, пошлы, избиты, неправдоподобны; но нельзя не сознаться, что этими мотивами авторы пользуются ловко, съ полнымъ пониманіемъ беллетристическаго дѣла, съ знаніемъ тѣхъ предѣловъ, до которыхъ слѣдуетъ доводить банальные эффекты. Избитую фабулу романа гг. Некрасовъ и Станицкій умѣютъ провести черезъ цѣлыя восемь частей такимъ образомъ, что внѣшій интересъ разсказа у нихъ ослабѣваетъ рѣдко. Картины ихъ романа, конечно, малеванныя, вывѣсочныя, но онѣ разнообразны; авторы имѣютъ достаточный запасъ фантазіи, чтобъ расцвѣтить ихъ пестрыми подробностями. Вообще говоря, хотя внутренній вымыселъ романа бѣденъ, но по внѣшнимъ подробностямъ онъ представляется достаточно ловкимъ: видно, что авторы владѣютъ разсказомъ, знаютъ, какъ его вести, имѣютъ точное понятіе о пріемахъ беллетристическаго искусства. Возьмите же теперь рядомъ съ „Тремя Странами“ три части романа г. Каразина. Первая часть, гдѣ авторъ завязываетъ интригу романа и фотографируетъ ташкентское общество, написана *не безъ* ловкости, не безъ живости и съ талантомъ; но за-

тѣмъ очевидно, что у автора беллетристическаго искусства только и хватило на завязку, да на фотографію нѣсколько видѣнныхъ въ дѣйствительности сценъ. Въ двухъ остальныхъ частяхъ „интрига“ улетучивается совсѣмъ, веденіе разсказа становится не только неумѣлымъ, но просто наивнымъ, чтобъ не сказать больше, „ужасы и страсти“ являются до такой степени дикіе, глупые, безобразные, что становится стыдно за дѣтскую неразвитость автора, способнаго серьезно заниматься такими вздорными эффектами. Цѣлыхъ двѣ части авторъ громоздитъ нелѣпость на нелѣпости; нить разсказа, видимо, потеряна имъ; онъ не умѣетъ, не можетъ справиться съ самыми обыкновенными эпизодами, не умѣетъ придать имъ должную мѣру, словомъ обнаруживаетъ полнѣйшее незнаніе самыхъ обыкновенныхъ правилъ искусства. „Реализмъ“ автора становится не только утрированнымъ, но просто возмутительнымъ: это реализмъ человѣка, которому самыя отвратительныя подробности кажутся обыкновенными, даже привлекательными. Какой авторъ, мало-мальски знакомый съ законами искусства, можетъ допустить въ разсказѣ всѣ эти „тухлыя“ отрубленныя головы, „адскіе пловы“ изъ червей, копошащихся на трупѣ“, выклевываемые птицами глаза у мертвой женщины, „потныхъ“ ташкентскихъ красавицъ, ищущихъ паразитовъ во время любовныхъ объясненій, и т. п. И всѣми этими глупостями, доходящими до омерзительности, авторъ занимается съ особымъ удовольствіемъ, повторяетъ ихъ гдѣ только можетъ. Я приглашаю критика „Дѣла“ поискать въ романѣ гг. Некрасова и Станицкаго подобной грубости и неразвитости въ пониманіи беллетристическихъ эффектовъ; у нихъ ничего подобнаго не найдется, потому что они для своего времени были довольно основательно знакомы съ законами искусства. А г. Каразинъ, очевидно, писатель первобытный, въ нѣкоторомъ родѣ беллетристическій ташкентецъ. У него есть, конечно, талантъ, впрочемъ, незначительный, и притомъ чисто—внѣшній; но затѣмъ у него нѣтъ ничего: онъ немного больше настоящихъ ташкентцевъ знакомъ съ современною изящною литературой, не только иностранной, но даже отечественной: по крайней мѣрѣ, такое впечатлѣніе производятъ

грубость и неотесанность его творчества, дикость его ташкентскихъ фантазій. Вотъ уже про фантазію г. Каразина можно смѣло сказать то, что критикъ „Дѣла“ говоритъ про фантазію Всеволода Крестовскаго.

Да, какъ тамъ ни толкуйте, а все-таки прежніе авторы относительно техники искусства куда какъ выше стояли теперешнихъ. Критикамъ нашихъ дней не унижать бы ихъ слѣдовало съ этой стороны, а, сообразивъ разстояніе ихъ времени отъ нашего, указать новѣйшимъ авторамъ, какъ мало прогрессируютъ они въ дѣлѣ изученія пріемовъ литературнаго художества *).

В. П. Буренинъ.

1873 г.

**) Г. Некрасовъ—дарованіе своеобразное, самостоятельное, опредѣленное, и однако же не на столько крупное, сильное и глубокое, чтобъ породить рядъ послѣдователей, подобныхъ тѣмъ, какихъ имѣютъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Муза г. Некрасова, по оригинальности своихъ пѣсенъ, можетъ сравниться съ музами этихъ двухъ поэтовъ: подобно имъ, г. Некрасовъ внесъ въ русскую поэзію новые, дотолѣ незнакомые ей мотивы, новое содержаніе, даже отчасти и форму, отличную отъ прежнихъ формъ. Но только оригинальностью, а отнюдь не силою и глубиною содержанія, эта „муза мести и печали“ пріобрѣла себѣ значеніе въ родной литературѣ. Это содержаніе все исчерпывается такъ называемою „гражданскою скорбью“. Гражданская скорбь есть продуктъ того мрачнаго и тяжелаго періода русской жизни, который имѣлъ въ нашемъ развитіи значеніе плотины, загородившей ея естественное теченіе. У поэтовъ эпохи, предшествовавшей этому періоду, вы не отыщите гражданской скорби. Я уже не говорю о такихъ изъ нихъ, какъ Пушкинъ,

---

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1872 г. въ „Нивѣ“, № 25, стр. 390 („Генералъ Топтыгинъ“).

**) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1873 г., № 27. Статья Z. (В. П. Буренина).

Примѣч. В. Зелинскаго.

миссія котораго заключалась совсѣмъ въ иномъ: въ созданіи настоящаго поэтическаго искусства въ общемъ, широкомъ смыслѣ. Но даже и такихъ поэтовъ, какъ Рылѣевъ, прямо приписывавшій своей поэтической дѣятельности „гражданское“ значеніе, вы не найдете гражданской скорби. Въ его одушевленныхъ стихахъ, особенно въ пьесахъ послѣдняго періода, повсюду прорывается гражданскій энтузіазмъ, порою протестъ; но стоновъ отчаянія, стоновъ скорби, стоновъ „мести и печали“ вы не отыщите у этото поэта. Это чувство скорби явилось потомъ: первые отголоски его заслышались въ Лермонтовѣ, полное же выраженіе они нашли себѣ въ стихотвореніяхъ г. Некрасова.

Я не стану указывать, какія произведенія г. Некрасова являются наиболѣе выразительными, наиболѣе имѣющими значеніе съ этой стороны: во-первыхъ, это всѣмъ извѣстно; во-вторыхъ, это не относится къ предмету моей бесѣды. Взамѣнъ подобныхъ частныхъ указаній, я выскажу нѣсколько общихъ соображеній кой о чемъ иномъ. Мотивъ „гражданской скорби“, составляющій сущность поэзіи г. Некрасова, могъ имѣть живое содержаніе, могъ вызывать энергическія и искреннія строфы у поэта и находить не менѣе искренній сочувственный отзывъ въ сердцахъ читателей до тѣхъ поръ, покуда наша жизнь находилась подъ тяжкими условіями, которыя сковывали ея естественное развитіе. Однимъ изъ этихъ условій, едва ли не самымъ существеннымъ, было крѣпостное право. Гражданская скорбь, гражданскіе стоны по преимуществу вызывались страданіями „родной земли“ и народа отъ крѣпостной опеки, и въ спеціальномъ смыслѣ рушилась совершенно, а въ общемъ утратила въ значительной степени свой прежній характеръ, — съ того времени, когда наша жизнь худо ли, хорошо ли, все-таки получила кой-какую возможность итти по пути развитія, когда плотина, ее сдерживавшая, прорвалась,—съ этого времени гражданскіе стоны потеряли свое прежнее великое значеніе. Одной гражданской скорби, однихъ протестующихъ стоновъ стало недостаточно для того, чтобъ возбуждать и поддерживать жизненное движеніе. Поэзія—это отраженіе жизни, поэзія, которая именно только тогда и можетъ считаться живымъ источ-

никомъ искусства, когда она отражаетъ въ себѣ насущное движеніе жизни, не могла уже ограничиться безконечнымъ повтореніемъ прежнихъ стоновъ и тоскованій. Гражданская скорбь, имѣвшая когда-то значеніе могучаго жизненнаго стимула, утратила свой прежній смыслъ, потому что обратилась въ неискреннее, изученное „плохое фиглярство“, какъ довольно удачно выразился одинъ изъ самыхъ холодныхъ фигляровъ—подражателей поэзіи г. Некрасова. Для предупрежденія разныхъ намекающихъ комментаріевъ „молчалниковъ выдыхающагося радикализма“, я долженъ здѣсь сдѣлать необходимую оговорку. Говоря о томъ, что въ наши дни такъ называемая гражданская скорбь утратила свое значеніе, я вовсе не желаю унижать это высокое чувство, или отрицать его, и вовсе не хочу этимъ сказать: дѣйствительность столь прекрасна и отрадна, что не можетъ вызывать никакой скорби, а одно лишь свѣтлое ликованіе. Я хочу сказать только одно: теперь съ однимъ этимъ чувствомъ, хотя бы и выражаемымъ въ краснорѣчивыхъ фразахъ и хорошо сдѣланныхъ стихахъ, нельзя заслужить титулъ гражданскаго писателя и поэта. Кромѣ скорбныхъ стоновъ, фразъ и стиховъ, даже отъ пѣвцовъ теперь требуется еще кое-что другое: требуется дѣло жизни, тожественное съ словомъ. Для поэта такое дѣло жизни можетъ реально выражаться хоть въ томъ, напримѣръ, что онъ будетъ слѣдить за развитіемъ и направленіемъ современнаго знанія, за ходомъ современныхъ общественныхъ идей, что онъ посвятитъ свою поэзію искреннему выраженію чувства, внушаемаго ему отрицательными илипо ложительными явленіями дѣйствительности, а не либеральному лицедѣйству, искусственно подогрѣваемому затаенной мыслію: при теперешнемъ, молъ, плохомъ пониманіи истинной поэзіи, подобное лицедѣйство сойдетъ за настоящее горячее вдохновеніе...

Послѣ всего сказаннаго, становится отчасти понятнымъ, почему гражданская скорбь и гражданскіе порывы поэзіи г. Некрасова за послѣднее время являются совсѣмъ не съ тѣмъ значеніемъ, какое они имѣли прежде. Несмотря на *то, что поэтъ,* повидимому, поднимаетъ уровень своей по-

эзіи, несмотря на то, что онъ беретъ уже не только гражданскія, но даже архи-гражданскія темы, изъ этихъ темъ выходитъ „ничего иль очень мало". Его гражданскіе стихи являются дѣланными, вялыми и холодными; при всей своей опытности, при всей способности къ блестящимъ лирическимъ порывамъ, г. Некрасовъ никакъ не можетъ стать на высоту искренняго поэтическаго увлеченія и безпрестанно впадаетъ въ пошлость мысли и выраженія, безпрестанно превращаетъ паѳосъ и теплоту своего подогрѣтаго цивизма въ нѣчто дрябло-приторное и порою даже комическое.

Новая поэма г. Некрасова, по поводу которой я распространился о нашемъ поэтѣ, можетъ служить нагляднымъ подтвержденіемъ всего сказаннаго. Содержаніе поэмы, взятое авторомъ, самое благодарное: поэтъ задается намѣреніемъ воспѣть гражданское самопожертвованіе героинь двадцать-пятаго года, память которыхъ долго будетъ жить въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ и пробуждать добрыя чувства, говоря выраженіемъ Пушкина. Что можетъ быть счастливѣе подобной темы для поэта? Мотивы, данные ему исторической дѣйствительностью, образы, представляемые ею, такъ рельефны и хороши, что ихъ не надо преукрашать даже поэтической фантазіей. Г. Некрасовъ понялъ это, и въ своихъ поэмахъ по возможности придерживается тѣхъ „матеріаловъ", которые даютъ ему мемуары и записки о подвигахъ нашихъ, можно сказать, первыхъ гражданокъ. Къ сожалѣнію, понялъ эту вещь г. Некрасовъ узко, и въ своемъ стремленіи сохранить фактическія черты подвиговъ и страданій героинь двадцать пятаго года доходитъ до крайности. Онъ до того придерживается помянутыхъ матеріаловъ, что послѣдняя его поэма написана даже въ формѣ записокъ кн. М. Н. Волхонской и смѣло могла бы быть напечатана въ „Русскомъ Архивѣ", или „Русской Старинѣ", какъ образецъ стихотворныхъ мемуаровъ. Г. Семевскому и Бартеневу осталось бы только снабдить эти стихотворные мемуары многочисленными примѣчаніями, и будущій русскій историкъ могъ бы пользоваться ими, какъ пособіемъ въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ о событіяхъ двадцать пятаго года.

Что же заставило г. Некрасова обратить свою поэзію на дѣло, подобное тому, какимъ занимались поэты прежнихъ временъ, перекладывавшіе въ стихи историческіе трактаты и географическія руководства? По всей вѣроятности, онъ занялся подобіемъ стихотворнаго переложенія записокъ, во-первыхъ, потому, что, какъ я уже сказалъ, факты дѣйствительности, послужившіе матеріаломъ для его поэмы, плѣнили его своей гражданской обаятельностію, во-вторыхъ, потому, что онъ, чувствуя оскудѣніе своего творчества, хотѣлъ вознаградить его отсутствіе точностью и правдой содержанія своей поэмы. Но въ томъ-то и штука, что фактическая правда и правда поэтическаго творчества—двѣ вещи, имѣющія между собою соотношеніе, но отнюдь не тожественныя. Иногда точное воспроизведеніе правды дѣйствительности бываетъ совершенно неумѣстно въ поэзіи, и способно нарушать впечатлѣніе поэтической правды. Это очень легко пояснить примѣромъ. Положимъ, поэтъ изображаетъ какого-нибудь историческаго героя, увлекающаго „громовымъ словомъ“ народную массу на великій „патріотическій подвигъ“. Положимъ, изъ „подлинныхъ документовъ“ извѣстно, что герой въ это время страдалъ насморкомъ и сопровождалъ свое „громкое слово“ частымъ чиханіемъ, которое, однако, не воспрепятствовало ему увлечь толпу. Слѣдуетъ ли изъ этого, что поэтъ, задавшійся цѣлью воспѣть подвигъ героя, долженъ необходимо упоминать въ своихъ пламенныхъ строфахъ о помянутомъ насморкѣ и чиханіи? Не способна ли такая правда нарушить впечатлѣніе поэтической правды? Да что, впрочемъ, намъ выдумывать примѣры: мы можемъ позаимствовать ихъ прямо изъ поэмы г. Некрасова, имѣвшаго въ виду соединить документальную точность съ поэтическимъ творчествомъ. Вотъ одинъ изъ такихъ примѣровъ: поэтъ, желая исчислить всѣ тяжелыя случайности, которымъ подвергалась его героиня (княгиня В—ская) на пути въ Сибирь къ осужденному мужу, изображаетъ, между прочимъ, слѣдующее происшествіе:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая.

Какое впечатлѣніе производитъ на читателя героиня, летящая кубаремъ съ „вершины Алтая"? Безъ всякаго сомнѣнія, комическое. А между тѣмъ, поэтъ, конечно, желалъ произвести совершенно иное: онъ желалъ выставить страданія, вынесенныя молодой женщиной аристократическаго круга при совершеніи ею подвига самопожертвованія. И вотъ для большаго впечатлѣнія онъ вставляетъ въ свою поэму фактъ, весьма возможный и, по всей вѣроятности, имѣвшій мѣсто въ дѣйствительности, думая этимъ усилить впечатлѣніе читателя. Выходитъ, однако же, наоборотъ: подробности являются карикатурой, и въ душѣ впечатлительнаго читателя возбуждается досадное чувство на то, что поэтъ ставитъ благородный образъ въ карикатурное положеніе...

Вотъ еще, читатель, примѣръ документальнаго реализма и записочной поэзіи:

„Дорога безъ снѣгу—въ телѣгѣ! Сперва
Телѣга меня занимала,
Но вскорѣ потомъ, ни жива ни мертва,
Я *прелесть телѣги* узнала.
Узнала я голодъ на этомъ пути.
Къ несчастью, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почту буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани,
Попробовать вамъ непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! *Я рада была*
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его на диванѣ..."

Такія подробности о бурятахъ, пьющихъ кирпичный чай съ саломъ, о пельменяхъ и банѣ, конечно, казались бы очень трогательными въ запискахъ княгини, но встрѣчать ихъ въ формѣ вялыхъ и пошловатыхъ стиховъ, встрѣчать ихъ въ поэмѣ, задавшейся грандіозной цѣлью нарисовать

образы русскихъ женщинъ-гражданокъ — воля ваша, это производитъ впечатлѣніе комическое. Такіе безвкусные стихи говорятъ очень ясно, что у поэта изсякло творчество, и онъ ищетъ себѣ подспорья для него въ „подлинныхъ документахъ“, вяло перелагая ихъ въ вялые стихи. И подобными-то вялыми, вымученными стихами наполнена большая часть новой поэмы г. Некрасова. Даже тамъ, гдѣ поэтъ, повидимому, начинаетъ нѣсколько одушевляться, гдѣ у него вырываются строки искренней поэзіи, онъ почти постоянно портитъ послѣднія какими-нибудь совершенно неожиданными „записочными“ подробностями и банальными выходками и выраженіями. Вотъ примѣры:

Княгиня начинаетъ разсказъ о томъ, какъ она боролась съ настояніями семьи, умолявшей ее не уѣзжать къ мужу:

„*Теперь опишу вамъ подробно, друзья,*
Мою *роковую* побѣду...“

Княгиня разсказываетъ о своемъ воспитаніи:

„Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, я пѣла.
Я даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совсѣмъ не умѣла...“

Княгиня раздумываетъ о томъ, что ея долгъ ѣхать за мужемъ въ ссылку:

„О, лучше въ могилу мнѣ заживо лечь,
Чѣмъ мужа лишить утѣшенья
И въ будущемъ сынѣ презрѣнье навлечь...
Нѣтъ, нѣтъ! не хочу я презрѣнья!...
А можетъ случиться—подумать боюсь!
Я *перваго* мужа забуду,
Условіямъ новой семьи подчинюсь, и проч.

Подобными банальностями, напоминающими діалоги героинь Александринскаго театра, переполнена поэма въ изобиліи, и онѣ дерутъ ухо читателя, чуткаго къ настоящей поэзіи и знакомаго съ ней хотя бы по нѣкоторымъ прежнимъ пьесамъ нашего поэта. Эти банальности до такой степени овладѣли поэзіей г. Некрасова, что даже въ самыхъ пате*тическихъ мѣ*стахъ его поэмы неумолимо суются между

строками. Лучшимъ мѣстомъ поэмы, по моему мнѣнію, должна быть признана сцена свиданія княгини съ мужемъ въ рудникѣ. Но и тутъ начало сцены и конецъ попорчены пошловатыми стихами и фальшивыми, натянутыми эффектами. Княгиня, преодолѣвъ всякія препятствія, пробралась въ подземелье рудника. Ее окружили ссыльные. Но мужа она еще не видитъ. Кто-то восклицаетъ, что онъ идетъ:

Я чуть не упала, рванувшись впередъ—
Канава была передъ нами.
— „Потише, потише! Ужели затѣмъ
Вы тысячи верстъ *пролетѣли*,
Сказалъ Т—кой, чтобъ на горе намъ всѣмъ
Въ канавѣ погибнуть—у цѣли“.
И за руку крѣпко меня онъ держалъ:
„Чтобъ было, когда бъ вы упали?“

Къ чему тутъ эта канава, вмѣстѣ съ рѣчами Т—каго, такъ некстати портящая „торжественность минуты“? По всей вѣроятности поэтъ пустилъ эту канаву потому, что онъ вычиталъ ее въ какихъ-нибудь запискахъ, или слышалъ устный разсказъ о томъ, что въ дѣйствительности княгиня чуть не упала въ канаву. Желая быть точнымъ и правдивымъ, г. Некрасовъ и канаву вставилъ въ поэму, держась словъ, документовъ, какъ истинный реалистъ. И однако же, этимъ документальнымъ реализмомъ онъ значительно испортилъ поэтическое впечатлѣніе сцены.

Слѣдующія затѣмъ стихи очень хороши и удались вполнѣ:

Сергѣй торопился, но тихо шагалъ.
Оковы уныло звучали.
Предъ нимъ разступались, молчанье храня,
Рабочіе люди и стража...
И вотъ онъ увидѣлъ, увидѣлъ меня!
И руки простеръ ко мнѣ: „Маша!“
И сталъ, обезсиленный словно, вдали...
Два ссыльныхъ его поддержали.
По блѣднымъ щекамъ его слезы текли,
Простертыя руки дрожали...
Душѣ моей милаго голоса звукъ
Мгновенно послалъ обновленье,

Отраду, надежду, забвеніе мукъ,
Отцовской угрозы забвенье!
И съ крикомъ: „иду!“ я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ, надъ зіяющимъ рвомъ
Навстрѣчу призывному звуку...
„Иду“! Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбѣжала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увидя оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его... и готовность страдать!...
Невольно предъ нимъ я склонила
Колѣни,—прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!...

Да, эти стихи напоминаютъ прежняго г. Некрасова, исключая, впрочемъ, послѣднихъ строкъ, гдѣ пригнанъ, какъ кажется, фальшивый гражданскій эффектъ—поцѣлуй оковъ. Я не знаю, основалъ ли этотъ эффектъ г. Некрасовъ на подлинныхъ документахъ или, что вѣрнѣе, создалъ его собственною фантазіей для вящшаго усиленія цивизма, но, во всякомъ случаѣ, этотъ эффектъ въ поэмѣ выходитъ психологически невозможнымъ: онъ не мотивированъ характеромъ героини. Княгиня, по объясненію поэта, пошла на каторгу за мужемъ не изъ сочувствія тѣмъ идеямъ, которыя привели его туда: она даже не знала о заговорѣ, объ участіи въ немъ мужа, она уже послѣ его ареста смутно догадалась, какими побужденіями руководился онъ и за какія идеи принялъ на себя крестъ страданія. Нѣтъ, она повлеклась въ рудники за мужемъ, вѣрная интимному чувству, вѣрная личному долгу жены и подруги, для которой была бы невыносима мысль, что онъ, „узникъ усталый въ тюремномъ углу, терзается лютою думой, одинъ, безъ опоры“. Вотъ мотивъ, увлекшій княгиню на подвигъ самопожертвованія и въ дѣйствительности и въ поэмѣ. Спрашивается: откуда же этотъ внезапный цивическій порывъ, это цѣлованіе оковъ, это *предпочтеніе символа* политическаго страданія самому стра-

дальцу? Что-нибудь одно: или этого не было въ дѣйствительности и придумано ради противохудожественной манеры г. Некрасова ставить точки надъ і тамъ, гдѣ этого не требуется; или же—если такой поцѣлуй оковъ имѣетъ фактическое основаніе—г. Некрасовъ не вѣрно понялъ весь характеръ героини своей поэмы и не вѣрно изобразилъ ея борьбу съ семьей, ея думы, все ея развитіе, очерченное въ первыхъ главахъ, словомъ—не свелъ конца съ началомъ.

Нельзя также безъ досады читать заключительные стихи поэмы; они показываютъ, что г. Некрасовъ утратилъ вкусъ и способность критически относиться къ самому себѣ. Нарисовавъ предыдущую патетическую сцену, притянувъ за волосы совершенно ненужный эффектъ, поэтъ спѣшитъ внезапной пошлостью огорошить читателя и кончаетъ комически:

„По-русски меня офицеръ обругалъ,
Внизу ожидавшій въ тревогѣ,
А сверху мнѣ мужъ по-французски сказалъ:
„Увидимся, Маша,—въ острогѣ“.

Общее заключеніе о новомъ произведеніи г. Некрасова должно быть такое: поэма представляетъ истинно-поэтическихъ лишь два-три мѣста, да и то не вполнѣ выдержанныхъ. Таковы, по-моему: сцена встрѣчи княгини съ мужемъ въ крѣпости, сцена изъ юности княгини съ Пушкинымъ, нѣсколько стиховъ обращенія княгини къ народу, и затѣмъ встрѣча съ мужемъ въ рудникахъ. Все остальное—наборъ вялыхъ и банальныхъ стиховъ, которые ниже таланта г. Некрасова.

В. Буренинъ.

* * *

*) Давно уже не появлялось въ отечественной поэзіи такого серьезнаго, симпатичнаго и глубоко, гуманнаго произведенія, какъ *Русскія Женщины* Некрасова. Наша критика поросла такою плѣсенью злобы, мелкой зависти, грубаго непониманія и чудовищнаго кумовства, что даже эта лучшая

*) „Новое Время“ 1873 г., № 37. Статья А. С.

пѣснь нашего лучшаго современнаго поэта вызвала тупое непониманіе и злостное глумленіе одной изъ наиболѣе распространенныхъ нашихъ газетъ. „Петербургскія Вѣдомости“ обрушились на поэму Некрасова и, выражаясь литературнымъ жаргономъ нашей маленькой прессы, продернули ее на славу. Недобросовѣстное отношеніе къ дѣлу и полнѣйшее отсутствіе способности чувствовать и понимать ширину и высоту замысла поэта довели журнальнаго обозрѣвателя этой газеты г. Z. до неслыханной дерзости. Не довольствуясь тѣмъ, что съ рѣдкой ловкостью (въ этомъ ему надо отдать справедливость) подтасовалъ онъ самыя слабыя мѣста поэмы, почти совершенно пропадающія въ грандіозномъ впечатлѣніи цѣлаго, добросовѣстный критикъ рѣшается еще потѣшать своимъ гаерствомъ публику и импровизуетъ въ заключеніе безсмысленные стишонки, якобы пародію на *Русскихъ Женщинъ*. Жалкое кривлянье г. Z., къ несчастью, не только смѣшно, но и положительно вредно для подрастающей русской мысли, такъ такъ стремится пріучить своихъ читателей къ безсмысленному скептицизму, не опирающемуся ни на какія разумныя основы. А, вѣдь, суть излитой г. Z. на Некрасова злобы ясна какъ нельзя болѣе: *Русскія Женщины* напечатаны въ „Отечественныхъ Запискахъ“, съ однимъ изъ сотрудниковъ которыхъ, г. Михайловскимъ, фельетонистъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“ велъ самую неприличную, даже не полемику, а просто руготню,—поэтому по присущей этой газетѣ теоріи, слѣдуетъ ругать все, что ни попадетъ въ этотъ журналъ. Но отвернемся скорѣе отъ этого грязнаго, недоразвитаго мірка, вѣчно норовящаго третировать всякій предметъ съ кондачка, и возвратимся къ поэмѣ Некрасова.

Первая часть этой поэмы была напечатана еще въ № 4 „Отечественныхъ Записокъ“ за прошлый годъ, а въ январской книжкѣ появилась вторая совершенно отдѣльная часть, озаглавленная: *Княгиня М. Н. В.........я.* (Бабушкины записки). Въ ней старушка княгиня разсказываетъ своимъ внукамъ о томъ, какъ она поѣхала въ Сибирь за своимъ мужемъ, однимъ изъ декабристовъ. Передъ нами встаетъ *грандіозный* образъ созрѣвшей подъ ударами судьбы жен-

щины. Выданная замужъ отцомъ за нелюбимаго человѣка, красавица равнодушна къ этому серьезному, мало занимавшемуся ею человѣку. Только когда она узнаетъ, что онъ пострадалъ и подвергнется тяжкому наказанію, сердце ея даетъ о себѣ знать, и она начинаетъ любить мужа-героя! Для сильной женщины, какою была княгиня, нуженъ былъ высокій идеалъ, и вотъ она нашла его въ этомъ мученикѣ и борцѣ. Не итти за нимъ на каторгу представляется ей позорнымъ дѣломъ, и несмотря на уговоры семьи и проклятія отца, она оставляетъ своего грудного ребенка и смѣло пускается въ далекій путь, героически разсуждая такъ:

Да, ежели выборъ рѣшить я должна
Межъ мужемъ и сыномъ—не болѣ,
Иду я туда, гдѣ я больше нужна,
Иду я къ тому, кто въ неволѣ!

Описаніе путешествія княгини превосходно мѣстами, напримѣръ, выѣздъ изъ Москвы, встрѣча съ обозомъ съ серебромъ и молебенъ въ маленькой сельской церкви. Но лучше всего обращеніе, въ каждой строчкѣ котораго такъ и звучитъ глубокая нота искренней благодарности:

. . . . Хочу я сказать:
Спасибо вамъ, русскіе люди!
Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
Все трудное каторги время,
Народъ! я бодрѣе съ тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебѣ пало на часть,
Ты дѣлишь чужія печали,
И гдѣ мои слезы готовы упасть,
Твои ужъ давно тамъ упали!
Ты любишь несчастнаго, русскій народъ,
Страданія насъ породнили...
. . . .
Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки,
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!

Человѣкъ, не съ совершенно зачерствѣвшимъ серд-

цемъ, невольно склоняетъ голову въ знакъ благоговѣнія, и слезы душатъ его при чтеніи сцены перваго свиданія жены съ каторжникомъ мужемъ. Въ этихъ дивныхъ, исполненныхъ глубокой жизненной правды звукахъ, такъ и вылилась вся душа поэта скорби и страданій. Не можемъ удержаться, чтобы не привести выдержки изъ этой потрясающей душу сцены.

Душѣ моей милаго голоса звукъ
Мгновенно послалъ обновленье,
Отраду, надежду, забвеніе мукъ,
Отцовской угрозы забвенье.
И съ крикомъ „иду" я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ надъ зіяющимъ рвомъ
Навстрѣчу призывному звуку...
„Иду!" Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое....
И я побѣжала.... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его и готовность страдать!
Невольно передъ нимъ я склонила
Колѣни,—и прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!...

За эти строки поэту отпустятся всѣ его ошибки и заблужденія,—кто умѣетъ такъ глубоко чувствовать, тотъ никогда не умретъ въ благодарной памяти потомства!... Искреннее, глубокое спасибо говоримъ мы г. Некрасову отъ имени читающей публики за его прекрасную поэму, слабыя стороны которой (не выработанный, порой вульгарный стихъ и растянутость и некрасивые обороты) исчезаютъ совершенно въ стройной гармоничности цѣлаго.

Изъ „Новаго Времени". Статья А. С.

* * *

*) Помните ли вы, читатель, то эпидемическое стихосочиненіе, которое настало послѣ Пушкина, когда

. . . смѣшались шапки
И полѣзли изъ щелей
Мошки да букашки:

разные Трилунные, Красовы, Тимофеевы и проч., которые цѣлыми ворохами своихъ стиховъ наполняли тогдашнюю „Библіотеку для Чтенія" Сеньковскаго и альманахи разныхъ Владиславлевыхъ, Городнетскихъ, Виртовыхъ и проч. Въ стишкахъ воспѣвались все больше перси, да косы, да блескъ очей, въ родѣ:

Черны очи, черны очи
Изъ-подъ бархата рѣсницъ.

Воспѣвались невинныя птички, синички, лисички, и все это воспѣвалось съ такой самодовольной бездарностью, что пѣвцы скоро всѣмъ надоѣли; но не поняли, чѣмъ именно надоѣли, ибо были гораздо невиннѣе воспѣваемыхъ ими птичекъ, синичекъ и лисичекъ... Они не догадались, что ихъ неуспѣхъ зависитъ просто отъ недостатка таланта, а не отъ перемѣны вкусовъ публики. Иные изъ нихъ оставили свое поэтическое поприще, другіе перемѣнили темы своихъ пѣсенъ: вмѣсто птичекъ, синичекъ и лисичекъ начали воспѣвать разныя гражданскія чувства: великодушіе, самоотверженіе, тоску, „голодъ, холодъ, сырыя жилища". Остальные же поэты, оставшіеся на сценѣ, вломились въ амбицію и задались какими-то претензіями, такъ что даже самъ Полонскій нашелъ теперь своего невиннаго Пегаса совершенно негоднымъ для ѣзды, и въ послѣднемъ своемъ стихотвореніи описываетъ, какъ онъ хотѣлъ промѣнять его на клячу: да никто за Пегаса и клячи не далъ. Вотъ что пишетъ г. Полонскій: встрѣтилъ онъ мужичонка, идущаго за сохой, которую тащила кляча.

— Дядя,—сказалъ г. Полонскій,—не промѣняешь ли клячу?

Я за нее тебѣ дамъ славную штуку—Пегаса.
Конь—что ни въ сказкѣ сказать ни перомъ описать—конь крылатый.

---

*) „Новости" 1873 г., № 38. Статья Новаго критика, подъ названіемъ: „Княгиня Волконская".

Онъ приведенъ къ намъ изъ Греціи черезъ Европу. Слыхалъ ли
Ты объ Европѣ хоть что-нибудь?..
— Нѣтъ, не слыхалъ.
— „Ну такъ вѣрь мнѣ,
Есть, дядя, эдакій конь...“
И мужикъ съ недовѣрьемъ оскалилъ
Бѣлые зубы. И связали меня,
И посадили въ колодки, и повели къ становому:
Будто хотѣлъ я надуть мужика,
Будто за лошадь, которая можетъ пахать и работать,
Я предлагалъ никуда негодящую тварь:
Пегаса.—Не сумасшедшій ли я? говорили...

Эти поэтики, разъѣзжающіе на клячахъ—Пегасахъ или ходящіе подъ-руку съ музами, давно уже стали смѣшными, а при сравненіи съ такимъ колоссомъ, какъ г. Некрасовъ, такими маленькими и такими жалкими, что просто является позывъ разсмотрѣть ихъ таланты подъ микроскопомъ,— хоть бы ненадолго и призрачно увеличились, а то ужъ очень больно малы.

Г. Некрасова считаютъ вообще тенденціознымъ поэтомъ, но едва ли это справедливо, по крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, будто тенденціозность помогаетъ успѣху его произведеній. Кто нынѣ изъ нашихъ стихотворцевъ не тенденціозенъ? Минаевъ тенденціозенъ, Буренинъ тенденціозенъ, Омулевскій тенденціозенъ, Плещеевъ тенденціозенъ... Они даже, пожалуй, будутъ тенденціознѣе г. Некрасова, такъ какъ, за недостаткомъ поэтическихъ образовъ, имъ постоянно приходится перекладывать въ стихи передовыя статьи либеральныхъ газетъ и прозу то сотоварищей своихъ по журналу, то прозу публицистовъ другихъ журналовъ, если поэтъ несвѣдущъ въ иностранныхъ языкахъ, и такимъ образомъ лишенъ возможности пользоваться матеріалами изъ перваго источника. Отчего же, спрашивается, эти тенденціозные поэты не имѣютъ успѣха такого, какой пріобрѣлъ г. Некрасовъ? Просто по недостатку таланта,— и г. де-Пуле напрасно увѣрялъ насъ въ „Петерб. Вѣдомостяхъ“, что русскую литературу до тла сгубила тенденціозность; остался только одинъ геніальный писатель: г. Буренинъ, тенденціозность котораго относится къ его таланту такъ-же, какъ *милліонъ* къ единицѣ!

По нашему скромному разсужденію, успѣхъ г. Некрасова вовсе не зависитъ отъ его тенденціозности или безтенденціозности, а просто отъ могучей силы его дарованія—и исключительно только отъ этого.

Въ первой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ напечатана поэма г. Некрасова—„Русскія Женщины“, уже вовсе не имѣющая никакой претензіи на тенденціозность. Это превосходный поэтическій и простой разсказъ бабушки внукамъ о великихъ подвигахъ своей жизни. Чтобы познакомить читателя съ новымъ произведеніемъ нашего великаго поэта, мы, конечно, должны прибѣгнуть къ выпискамъ, за что и просимъ напередъ извиненія у многоуважаемаго автора...“

(Далѣе слѣдуютъ выписки изъ поэмы, выражающія почти все содержаніе ея).

„Читатели могутъ замѣтить нѣкоторыя ошибки г. Некрасова въ подробностяхъ, впрочемъ, вовсе не измѣняющія существа дѣла. Такъ, напримѣръ, авторъ заставляетъ свою героиню свалиться съ вершины Алтая, гдѣ она не могла проѣзжать, такъ какъ Алтайскія горы лежатъ чуть ли не на тысячу верстъ въ сторону отъ сибирскаго московскаго тракта. Точно такъ-же, какъ героиня не могла встрѣтить какого бы то ни было каравана съ серебромъ или золотомъ, идущаго изъ *Нерчинска.* Всѣ такіе караваны до послѣдняго времени идутъ исключительно изъ Барнаула, гдѣ сплавляется и пробирается все добываемое въ Сибири серебро и золото. Но все это—повторяемъ—такія ничтожныя частности, которыя нисколько не вредятъ новому прекрасному произведенію г. Некрасова. Дай Богъ, чтобы только именно такія ошибки дѣлали всѣ наши поэты! *)

Изъ „Новостей“.

* * *

*) Редакція „Новостей“ сопровождаетъ приведенную статью слѣдующими словами: „Въ современной литературѣ, столь бѣдной истинно-художественными произведеніями, появленіе такой вещи, какъ поэма Н. А. Некрасова, составляетъ эпоху. Мы рѣшаемся посвятить труду геніальнаго поэта этотъ небольшой отдѣльный фельетонъ, помимо общаго отчета о новостяхъ русской литературы“.

*) Г. Некрасовъ украсилъ январскую книжку „Отечеств. Записокъ“ новой поэмой, составляющей вторую часть предпринятой имъ серіи поэтическихъ сказаній, подъ заглавіемъ: „Русскія Женщины“. Какъ кажется, въ этихъ поэмахъ г. Некрасовъ желаетъ передать въ стихахъ горькую повѣсть о самоотверженіи и страданіяхъ русскихъ женъ, раздѣлившихъ участь своихъ мужей, сдѣлавшихся жертвой извѣстной политической катастрофы. Такая тема должна была заранѣе осудить трудъ поэта на значительное однообразіе. Повѣсть каждой героини одна и та же: росла она въ богатомъ родительскомъ домѣ, вышла замужъ, мужа посадили въ крѣпость, сослали въ Сибирь, она поѣхала вслѣдъ за нимъ и встрѣтилась съ нимъ въ острогѣ. И г. Некрасовъ, передавъ эту исторію въ первой поэмѣ, съ точностью повторяетъ ее во второй. Болѣе, впрочемъ, ему и дѣлать нечего, такъ какъ фактъ въ обѣихъ поэмахъ одинъ и тотъ же, а расцвѣчивать историческій фактъ цвѣтами собственной фантазіи въ настоящемъ случаѣ неудобно. Да и поэтическая фантазія г. Некрасова въ послѣднее время не обнаруживаетъ силы, замѣчавшейся въ его прежнихъ произведеніяхъ. Очевидно, все то, что намъ могъ сказать поэтъ, уже сказано, и содержаніе его истощилось. Петербургская журналистика многіе годы усердно занималась тѣмъ, что хоронила по очереди гг. Тургенева, Гончарова, Писемскаго, тогда какъ съ гораздо большею основательностію слѣдовало бы пропѣть de profundis поэтическому таланту г. Некрасова. Гражданскіе мотивы, нѣкогда зажигавшіе сердца поклонниковъ этого самаго петербургскаго изъ всѣхъ петербургскихъ поэтовъ, отзвучали и не производятъ больше впечатлѣнія. Поэтъ, очевидно, самъ чувствуетъ, что безъ новыхъ мотивовъ продолжать поэтической дѣятельности нельзя, но не находитъ ихъ въ душѣ своей, и потому обращается къ историческому факту и ограничиваетъ свою задачу переложеніемъ въ стихи попавшихся ему въ руки фамильныхъ записокъ. Чтожъ, и такая задача при искусномъ выполненіи могла бы оказатся весьма бла-

---

*) „Русскій Міръ“ 1873 г., № 46, Статья А. О. (В. Г. Авсѣенко).

Примѣч. В. Зелинскаго.

годарною, потому что историческій фактъ самъ по себѣ полонъ глубокаго содержанія. Но такова вялость нынѣшней музы г. Некрасова, что, несмотря на богатыя темы, на драматическое содержаніе факта, поэма его не производитъ никакого впечатлѣнія, или, лучше сказать, получаемое отъ нея впечатлѣніе совершенно двойственно: фактъ остается самъ по себѣ, не сливаясь съ поэзіей г. Некрасова, а все, что помимо этого факта принадлежитъ самому поэту, выходитъ до крайности деревянно, неряшливо и анти-поэтично. Только при совершенномъ отсутствіи поэтическаго чутья и вкуса можно писать, напр., такіе стихи:

Теперь опишу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую (?) побѣду,
Вся дружно и грозно возстала семья,
Когда я сказала: я ѣду!

Читатель такъ и ждетъ тутъ риѳмы; „къ обѣду“, и дѣйствительно черезъ нѣсколько строкъ поэтъ варьируетъ это счастливое четверостишіе такимъ образомъ:

Когда собрались мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:
На что ты рѣшилась?—Я ѣду!

Или вотъ, напримѣръ, слѣдующіе вирши:

Училась я много; на трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ (?) балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, я пѣла,
Я даже отлично скакала верхомъ и т. д.

Съ деревянностью подчеркнутыхъ нами стиховъ можетъ сравниться только слѣдующая граціозная картинка, изображенная поэтомъ въ такомъ четверостишіи:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая!

Кто изъ читателей, послушавшись поэта и представивъ себѣ его героиню въ нарисованныхъ имъ положеніяхъ, т. е. сначала отлично скачущею верхомъ, а потомъ летящею стремглавъ съ высокой вершины Алтая — кто не согласится, что историческій фактъ, историческое лицо весьма мало выиграли отъ прикосновенія къ нимъ поэта?

Г. Некрасовъ мѣстами какъ будто даже щеголяетъ особаго рода реализмомъ, заключающимся въ томъ, что если, напр., ему извѣстно, что въ такомъ-то городѣ героиня его мылась въ банѣ, то онъ такъ и пишетъ, что княгиня сходила въ баню, а если гдѣ-нибудь ее напоили вонючимъ чаемъ съ саломъ, то такъ и пишетъ, что вотъ, молъ, пила княгиня чай съ саломъ. Какъ образчикъ такого реализма, отчасти напоминающаго ташкентскіе романы г. Каразина, приведемъ слѣдующую выдержку:

Дорога безъ снѣгу—въ телѣгѣ! Сперва
Телѣга меня занимала,
Но вскорѣ потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть телѣги узнала.
Узнала и голодъ на этомъ пути.
Къ несчастью, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почту буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый,
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! я рада была
И вкуснымъ пельменямъ *и банѣ*...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его, на диванѣ...

Неужели г. Некрасовъ вправду думаетъ, что это стихи?

В. Авсѣенко.

* *
*

*) На дняхъ только мы бесѣдовали съ читателемъ о новой поэмѣ г. Некрасова: „Русскія Женщины“, и вотъ намъ опять приходится говорить о его новомъ произведеніи, составляющемъ вторую часть поэмы: „Кому на Руси жить хорошо“. Кто помнитъ первую часть этой поэмы? Она появилась четыре года назадъ, вскорѣ послѣ перехода „Отечеств. Записокъ“ изъ рукъ редактора Краевскаго въ руки А. Краевскаго, и тогда же была всѣми позабыта, такъ какъ даже ревностнѣйшіе друзья и поклонники г. Некрасова отнесли ее къ числу неудачнѣйшихъ произведеній ихъ любимаго поэта (мы говоримъ, конечно, о поклонникахъ, мало-мальски понимающихъ дѣло, потому что есть и такіе, которые донынѣ восхищаются каждой строкой, вышедшей изъ подъ пера г. Некрасова, хотя бы въ этой строкѣ не былъ даже соблюденъ стихотворный размѣръ, какъ это сплошь да рядомъ встрѣчается въ его послѣднемъ произведеніи). Но самъ г. Некрасовъ, очевидно, взглянулъ на свою поэму иначе, и не только включилъ ее въ вышедшую недавно 5-ую часть его стихотвореній, но даже задумалъ продолжать ее. Поэтъ, конечно, воленъ творить, что ему угодно, но и критика вольна имѣть о его твореніяхъ сужденіе, не вполнѣ согласное съ собственнымъ взглядомъ автора. Такъ, напримѣръ, на этотъ разъ мы полагаемъ, что новая глава поэмы, названная нѣсколько напоминающимъ акушерскую практику словомъ „Послѣдышъ“, не имѣетъ ни по идеѣ ни по содержанію своему никакого современнаго интереса. Идея, если хотите, очень благонамѣренная: авторъ желаетъ надсмѣяться надъ жестокостями и самодурствомъ помѣщиковъ временъ крѣпостного права и показать, какъ нелѣпо было бы подобное самодурство при новыхъ порядкахъ. Но, ради Бога, какой смыслъ имѣютъ въ наши дни насмѣшки надъ крѣпостными самодурами? ужъ не вѣритъ ли г. Некрасовъ, вмѣстѣ съ своимъ героемъ, что крестьянъ велѣно обратно отдать помѣщикамъ? Что же касается до такъ называемаго „сюжета“ комедіи, то онъ такъ несообразенъ, что и разсказать его трудно. Какой-то старичокъ-князь, узнавъ объ

---

*) „Русскій Міръ“ 1873 г., № 49. Статья А. О. (В. Г. Авсѣенко).

освобожденіи крестьянъ, такъ освирѣпѣлъ, что прогнѣвался даже на ни въ чемъ невиноватыхъ сыновей своихъ и обратилъ къ нимъ такія рѣчи:

.... „Вы трусы подлые!
Не дѣти вы мои!
Пускай бы люди мелкіе,
Что вышли изъ поповичей,
Да поналившись взятками,
Купили мужиковъ,
Пускай бы... имъ простительно!
А вы... князья Утятины?
Какіе вы У-тя-ти-ны!
Идите вонъ! подкидыши,
Не дѣти вы мои!"

Дальнозоркіе сыновья, „гвардейцы черноусые" испугались, какъ бы батюшка по чрезмѣрному гнѣву своему не отказалъ имъ передъ смертью въ наслѣдствѣ, и для успокоенія его придумали такую штуку: увѣрили его, что крѣпостное право возстановлено, а крестьянъ убѣдили оказывать старику наружное почтеніе, за что обѣщали имъ подарить луга. На этой, нельзя сказать чтобы совсѣмъ удачной, выдумкѣ держится разсказъ, вся его соль и весь предполагаемый авторомъ комизмъ. Старый князь самодурничаетъ, мнимый бурмистръ ему потакаетъ, крестьяне кланяются и по за спиной смѣются. Описанъ даже такой случай: князь-самодуръ приказываетъ одного мужика отодрать на конюшнѣ, и мужики разыгрываютъ веселенькую комедійку: ведутъ провинившагося Агапа въ конюшню и ставятъ передъ нимъ штофъ вина:

„Пей, да кричи: помилуйте!
Ой, батюшки! ой, матушки!"
Послушался Агапъ,
Чу, вопитъ! Словно музыку,
Послѣдышъ стоны слушаетъ;
Чуть мы не разсмѣялись,
Какъ сталъ онъ приговаривать:
„Катай его, разбойника,
Бунтовщика... Катай!"
Ни дать ни взять, подъ розгами
Кричалъ Агапъ, дурачился,

Пока не допилъ штофъ;
Какъ изъ конюшни вынесли
Его мертвецки-пьянаго
Четыре мужика,
Тутъ баринъ даже сжалился:
„Самъ виноватъ, Агапушка!"
Онъ ласково сказалъ..."

Подобный фарсъ, появись двѣнадцать лѣтъ назадъ, т. е. въ годъ освобожденія крестьянъ, быть можетъ, и показался бы забавнымъ, и имѣлъ бы успѣхъ pièce de circonstance; тогда, быть можетъ, показался бы очень удачнымъ и своевременнымъ пикантный въ извѣстномъ смыслѣ подборъ поговорокъ, въ родѣ:

..... есть пословица:
Хвали траву въ стогу,
А барина — въ гробу! —

или образчиковъ народнаго остроумія крѣпостной эпохи, какъ, наримѣръ:

„Въ кромѣшній адъ провалимся —
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина
Работа на господъ!
— Что жъ тамъ-то будетъ, Климушка?
— А будетъ, что назначено:
Они въ котлѣ кипѣть,
А мы дрова подкладывать!".

Все это, повторяемъ, явись въ послѣдніе годы крѣпостной эпохи, когда въ обществѣ и въ литературѣ велась страстная борьба либеральныхъ идей съ крѣпостничествомъ, могло бы быть у мѣста и найти оправданіе въ интересахъ минуты; но въ настоящее время подобныя банальности только подтверждаютъ высказанную нами въ предыдущемъ обозрѣніи мысль, что мотивы некрасовской поэзіи уже исчерпаны, и что новыхъ въ современной дѣйствительности г. Некрасовъ не находитъ. Онъ все еще переживаетъ сороковые и пятидесятые годы, годы его славы и значенія, и какъ бы не замѣчаетъ, что жизнь ушла впередъ, и что водевильное пропагандированіе анти-крѣпостническихъ идей, когда самихъ крѣпостниковъ не существуетъ, сильно отзывается заднимъ числомъ.

В. Авсѣенко.

*) Послѣдняя книжка „Отечественныхъ Записокъ" такъ обильна достойнымъ вниманія матеріаломъ, что его хватило бы на нѣсколько обозрѣній, но такъ какъ читатели не вправѣ требовать отъ насъ обстоятельныхъ критическихъ разборовъ, то мы и ограничимся только посильнымъ указаніемъ на достоинства и недостатки наиболѣе выдающихся въ книжкѣ статей.

Съ перваго взгляда васъ особенно поражаетъ обиліе болѣе или менѣе замѣчательныхъ русскихъ именъ, которымъ щеголяютъ на этотъ разъ страницы вышеупомянутаго журнала. Тутъ вы встрѣтите и Островскаго, и Некрасова, и Щедрина, и Энгельгардта, и Глѣба Успенскаго. Прежде всего вы, конечно, остановитесь на имени ветерана нашего Островскаго въ надеждѣ, что его новое произведеніе доставитъ вамъ истинное эстетическое наслажденіе. Но увы и ахъ! давно уже миновали тѣ счастливыя времена, когда имя этого писателя подписывалось только подъ талантливѣйшими произведеніями отечественной драматургіи. Теперь же талантъ г. Островскаго выдыхается съ каждымъ годомъ, и намъ съ грустью приходится присутствовать при его окончательномъ паденіи. Въ силу прежней славы, страницы всѣхъ порядочныхъ журналовъ и до сихъ поръ еще принимаютъ съ распростертыми объятіями его комедіи и драмы, но только по старой памяти, а отнюдь не вслѣдствіе ихъ дѣйствительныхъ достоинствъ.

Традиція прежняго блеска, органъ котораго созданъ нашимъ безсмертнымъ критикомъ и учителемъ Добролюбовымъ, еще и до сихъ поръ связанъ съ именемъ автора „Грозы", но самъ онъ пережилъ свой талантъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и послѣдняя его комедія „Комикъ XVII столѣтія", крайне плоха и ничѣмъ не напоминаетъ славнаго прошлаго своего автора...

Но если одно изъ нашихъ громкихъ литературныхъ именъ оставляетъ въ насъ тяжелое чувство, то за то другое съ избыткомъ вознаграждаетъ за все. Мы говоримъ о г. Некрасовѣ и о второй части его народной поэмы „Кому

---

*) *„Новое Время"* 1873 г., № 61. Статья А. С.

на Руси жить хорошо". Эти первыя три главы второй части составляютъ отдѣльный эпизодъ, не имѣющій почти никакого отношенія къ первой части и носящій отдѣльное, замѣчательно оригинальное заглавіе *Послѣдышъ*.

Мы уже говорили и повторяемъ еще разъ, что муза г. Некрасова все крѣпнетъ, развивается и идетъ впередъ. Кто изъ нашихъ поэтовъ такъ глубоко прочувствовалъ и понялъ русскій народъ, кто искреннѣе и честнѣе относился къ нему, кто думаетъ его думами, говоритъ его языкомъ, плачетъ его кровавыми слезами, кто какъ не пѣвецъ скорбей родной земли? Ни одна народная книга, написанная съ спеціальною цѣлью поучать народъ, не будетъ ему такъ понятна, какъ „Коробейники" и „Кому на Руси жить хорошо?" А все потому, что каждый крестьянинъ найдетъ въ нихъ отголосокъ своихъ понятій и стремленій; все потому, что онъ почуетъ въ нихъ свое простое, безыскусственное, человѣческое чувство, переданное характернымъ и роднымъ ему языкомъ; все потому, что поэтъ изучилъ народъ нашъ и знаетъ его, какъ никто. Послушайте читатель, развѣ это не мужицкая рѣчь:

По низменному берегу,
На Волгѣ, травы рослыя,
Веселая косьба.
Не выдержали странники:
„Давно мы не работали,
Давайте—покосимъ!"
Семь бабъ имъ косы отдали.
Проснулась, разгорѣлася
Привычка позабытая
Къ труду! Какъ зубы съ голоду
Работаетъ у каждаго
Проворная рука.
Валятъ траву высокую
Подъ пѣсню, незнакомую
Вахлацкой сторинѣ;
Подъ пѣсню, что навѣяна
Мятелями и вьюгами
Родимыхъ деревень и т. д.

Главный герой новаго произведенія г. Некрасова именитый старикъ изъ рода Утятиныхъ, съ которымъ случился

параличъ, когда онъ узналъ объ освобожденіи крестьянъ. Сыновья его, боясь, чтобы взбѣшенный старикъ, упрекавшій ихъ въ томъ, что они продали свои дворянскія права, не лишилъ ихъ наслѣдства, убѣдили крестьянъ обмануть вмѣстѣ съ ними стараго князя, убѣдивъ его, что мужиковъ велѣли воротить помѣщикамъ. Тотъ повѣрилъ этому, и съ тѣхъ поръ зажилъ снова попрежнему, по барски.

Вотъ какъ описываетъ поэтъ непреклоннаго старика, прозваннаго мужиками „Послѣдышемъ".

Худой, какъ зайцы зимніе,
Весь бѣлъ и шапка бѣлая,
Высокая, съ околышемъ
Изъ краснаго сукна.
Носъ клювомъ, какъ у ястреба,
Усы сѣдые, длинные
И—разные глаза:
Одинъ здоровый—свѣтится,
А лѣвый—мутный, пасмурный,
Какъ оловянный грошъ.

Все въ характеристикѣ „Послѣдыша", начиная съ его портрета и до описанія сопровождающей его свиты, состоящей изъ его семейства, приживалокъ и собакъ, и самой манеры говорить и интонаціи, все исполненно глубокой жизненной правды и высокой художественной простоты. Передъ вами такъ и встаетъ, во весь свой богатырскій ростъ, фигура этого вымершаго на Руси типа, котораго мы еще видѣли и помнимъ, но который останется только преданіемъ для дѣтей нашихъ. Болѣе чистаго представителя его, чѣмъ некрасовскій „Послѣдышъ", невозможно найти въ нашей литературѣ, и его аристократъ помѣщикъ, князь Утятинъ, чистокровное произведеніе нашей родной земли.

Превосходна сцена, въ которой нестерпѣвшій барской обиды мужикъ Агапъ, накинулся на „Послѣдыша" и выругалъ его по мужицки. Тутъ старый князь въ первый разъ еще услыхалъ вольную, непринужденную рѣчь мужика. И дѣйствительно, въ самомъ тонѣ разсерженнаго Агапа звучитъ *рѣзкая, непривы*чная для помѣщичьяго уха нота:

„Что брага, раскуражились
Подонки изъ поганаго
Корыта... Цыцъ! Никшни!
Крестьянскихъ душъ владѣніе
Покончено. Послѣдышъ ты!
Послѣдышъ ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь,
А завтра мы послѣдышу
Пинка—и конченъ балъ!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвостъ по горницамъ,
А насъ оставь! Никшни!"

Изъ „Новаго Времени".

* * *

*) Если я не ошибаюсь, поэма г. Некрасова „Послѣдышъ" принадлежитъ къ категоріи такихъ произведеній, въ которыхъ реальная художественная правда является въ гармоническомъ соединеніи съ мыслью. Въ поэмѣ воспроизведено умирающее крѣпостничество въ яркомъ образѣ. Несмотря на то, что, повидимому, содержаніе поэмы анекдотическое, это нимало не уменьшаетъ силы ея впечатлѣнія. Анекдотъ, даже самый пустой, можетъ быть возведенъ художникомъ на степень событія, имѣющаго широкое и глубокое жизненное значеніе, если только художникъ вложитъ въ него общій смыслъ. Примѣровъ тому искать не далеко: „Шинель", „Носъ", „Ревизоръ" основаны на анекдотахъ, и однако имѣютъ репутацію далеко не анекдотическихъ произведеній. Анекдотъ, составляющій содержаніе поэмы г. Некрасова, состоитъ въ слѣдующемъ: старый богатый помѣщикъ, князь Утятинъ, заболѣлъ съ горя, услышавъ, что настала воля:

Хватилъ его ударъ.
Всю половину лѣвую
Отбило: словно мертвая
И какъ земля черна.
Пропалъ ни за копеечку;

*) „С.-Петерб. Вѣдомости" 1873 г., № 68. Статья Z. (В. П. Буренина).

Извѣстно, не корысть,
А спѣсь его подрѣзала:
Соринку онъ терялъ...
Соринка дѣло плевое,
Да только на глазу.

Дѣти князя, думая, что старикъ уже не встанетъ, во время болѣзни отца заключили съ мужиками уставную грамату. Но старикъ не умеръ и, узнавъ о распоряженіи дѣтей, пришелъ въ неистовую ярость за то, что они предали „права свои дворянскія, вѣками освященныя“. Сообразивъ, что родитель можетъ лишить ихъ наслѣдства, сыновья князя, „гвардейцы черноусые“, струхнули. Одна изъ молодыхъ снохъ, для утѣшенія и укрощенія полоумнаго старика, увѣрила его, что „мужиковъ помѣщикамъ велѣли воротить“.

Повѣрилъ! Проще малаго
Ребенка сталъ старинушка,
Какъ параличъ расшибъ.
Заплакалъ! Предъ иконами
Со всей семьею молится,
Велитъ служить молебствіе,
Звонить въ колокола!
И силы словно прибыло
Опять: охота, музыка,
Дворовыхъ дуетъ палкою,
Велитъ созвать крестьянъ.

Комедію, разъ затѣянную наслѣдниками, необходимо было продолжать. Наслѣдники уговорили крестьянъ, чтобъ тѣ разыгрывали передъ княземъ роль крѣпостныхъ, обѣщая имъ за это подарить поемные луга, какъ только умретъ „послѣдышъ“. Мужики согласились на это: міръ дозволилъ „покуражиться уволенному барину въ останные часы“.

Вотъ въ этой то курьезной комедіи поэтъ превосходно обрисовываетъ, съ одной стороны, типъ умирающей крѣпостнической, „барской“ власти, а съ другой—отношеніе къ этой отжившей власти крестьянства. Съ большимъ искусствомъ выставлено г. Некрасовымъ взаимное глумленіе другъ надъ другомъ названныхъ двухъ элементовъ, не чуждое, однако, нѣкоторой добродушной сердечности—отголоски долгой рабской связи, порванной „волей“. Лицо послѣдняго

Некрасов мне очень нравится.

изъ крѣпостниковъ стоитъ передъ читателемъ, какъ живое. Этотъ полоумный „послѣдышъ“, наполовину уже лежащій въ гробу и задыхающійся окончательно въ послѣднихъ порывахъ своихъ крѣпостническихъ вожделѣній, этотъ „уволенный баринъ“, окруженный шутовской покорностью мужиковъ, производитъ жалкое и въ то же время отталкивающее впечатлѣніе. Это типическій образъ отжившаго безправія, которое называлось крѣпостнымъ правомъ. Въ „останные“ свои часы это право не хочетъ признать себя побѣжденнымъ, въ безуміи отвергаетъ естественный ходъ жизни и умираетъ окруженное смѣхомъ и презрѣніемъ народа, все еще смѣшаннымъ съ нѣкоторой боязнью; но умираетъ онъ все-таки въ сладкомъ сознаніи полнаго торжества, не замѣчая своего комическаго положенія. Все это очень хорошо выражено въ образѣ, созданномъ г. Некрасовымъ. Подобный образъ могъ воспроизвести лишь писатель, глубоко прочувствовавшій въ своей душѣ всю безнравственность и безобразіе, всю формальную силу и все внутреннее безсиліе того гнета, представители котораго теперь сдѣлались „послѣдышами“. На этотъ разъ Некрасовъ является настоящимъ поэтомъ, черпающимъ силу искренняго поэтическаго одушевленія изъ прожитыхъ имъ впечатлѣній, а не изъ ловкихъ соображеній насчетъ того, какъ бы полиберальнѣе высказаться передъ публикой.

Не менѣе хороши вышли въ поэмѣ лица мужиковъ и вообще отношенія міра къ „уволенному“ барину. Шутовской бурмистръ, безшабашный Климка, угрюмый Агапъ, не выдержавшій шутовства и прорвавшійся энергическимъ назиданіемъ „послѣдышу“, „чувствительный халуй“ Ипатъ, бурмистрова кума Орефьева—всѣ эти лица нарисованы рельефными и сжатыми чертами очень удачно. Много чисто народнаго сарказма въ потѣшной рѣчи шутовскаго бурмистра. Я не привожу ее здѣсь только за недостаткомъ мѣста, а стоило бы: эти рѣчи принадлежатъ къ числу лучшихъ страницъ поэзіи г. Некрасова.

Вообще говоря, настоящая глава изъ обширной поэмы „Кому на Руси жить хорошо“ не только лучшая, но даже положительно неудобная для сравненія съ прочими главами,

слабыми и прозаичными въ цѣломъ, безпрестанно отдающими пошлостью, и только мѣстами представляющими нѣкоторыя достоинства. Замѣчательно, что даже рубленные стихи, которыми написана названная поэма, въ „Послѣдышѣ“ выходятъ прекрасными и выразительными, не рѣжутъ уха прозаичностью. Конечно, не вся сплошь поэма выдержана: встрѣчаются и въ ней строки сомнительнаго качества.

В. Буренинъ.

* * *

*) Талантъ Некрасова слишкомъ хорошо извѣстенъ всей читающей публикѣ и оцѣненъ ею, чтобы нужно было распространяться о немъ. Популярностью своею, въ настоящее время имъ значительно утраченною, онъ обязанъ не столько силѣ своего поэтическаго таланта (хотя и по силѣ этого таланта онъ стоитъ цѣлою головою выше остальныхъ современныхъ нашихъ поэтовъ), сколько „гражданскими мотивами“ своихъ произведеній, иногда отличающихся, кромѣ того, и нѣкоторою своеобразною новизною своей формы. Главная причина его успѣха заключается въ томъ, что онъ поэтъ-публицистъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, самъ поэтъ говоритъ о нихъ:

Я не льщусь, чтобъ въ памяти народной
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ;
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ.

Приговоръ этотъ самому себѣ слишкомъ строгъ. Но нельзя не сказать того, что у Некрасова рядомъ съ стихами, полными красотъ и силы чисто-пушкинскихъ, встрѣчаются не только стихи совершенно неуклюжіе, но и цѣлыя стихотворенія крайне неудачныя. Прибавимъ къ этому еще слѣдующее. Поэмы (къ этому роду онъ все болѣе и болѣе склоняется въ послѣднее время) обыкновенно ему не удаются: представляя во многихъ мѣстахъ первоклассныя красоты, онѣ, въ цѣломъ, страдаютъ невыдержанностью, какъ бы не-

*) *„Биржевыя* Вѣдомости“ 1873 г., № 78. Статья ч. II.

додѣланностью, и сверхъ того, отличаются иногда полнымъ отсутствіемъ стройнаго плана („Несчастные“), а иногда растянутостью („Коробейники“, „Морозъ—красный носъ“).

Со всѣми почти достоинствами и недостатками некрасовской музы мы встрѣчаемся и во второмъ отрывкѣ изъ его „Русскихъ Женщинъ“, въ которомъ разсказывается эпизодъ изъ жизни княгини М. Н. Волконской (дочь знаменитаго генерала Н. Н. Раевскаго и жена декабриста князя С. П. Волконскаго), которая послѣдовала за своимъ мужемъ въ Сибирь. Вотъ этотъ-то эпизодъ изъ ея жизни и составляетъ содержаніе поэмы. Разсказъ веденъ отъ лица самой героини.

Новая поэма Некрасова встрѣчена была нашею критикою довольно единодушными похвалами. Единственное исключеніе отсюда составляетъ одна только академическая газета,—и на это она имѣетъ, какъ извѣстно, многія причины. Съ одной стороны, она вообще считаетъ долгомъ смотрѣть враждебно на все, что не ея прихода; съ другой стороны, она имѣетъ, сверхъ того, и спеціальный зубъ противъ „Отечественныхъ Записокъ“, которыя, кистью Щедрина, представили мастерской и уморительный портретъ ея кружка, окрестивъ ее названіемъ „Старѣйшей россійской пѣнкоснимательницей“; наконецъ, самъ библіографъ академической газеты, г. Z. принадлежитъ къ числу „униженныхъ и оскорбленныхъ“ редакціею „Отеч. Записокъ“, такъ какъ редакція эта забраковала какія-то твореньица г. Z., который, такимъ образомъ, получилъ, вмѣсто ожидаемаго имъ гонорара, обратно свою рукопись назадъ.

Если взять во вниманіе давно извѣстную всѣмъ обидчивость пѣнкоснимателей академической газеты и ихъ недобросовѣстность въ войнѣ съ литературными противниками, то для насъ станетъ совершенно понятнымъ, почему „Петербургскія Вѣдомости“, безъ зазрѣнія совѣсти, встрѣчаютъ бѣшенымъ лаемъ все, что появляется въ „Отечественныхъ Запискахъ“ наиболѣе замѣчательнаго и почему г. Z. въ частности накидывается даже на Щедрина, не замѣчая того, что въ этомъ случаѣ онъ представляетъ изъ себя Крыловскую моську, лающую на слона. Мы не можемъ примкнуть ни къ мнѣнію г. Z. ни къ рецензентамъ, безусловно восхи-

щающимся новой поэмой Некрасова. Мы, съ своей стороны, находимъ, что она, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, не принадлежитъ къ лучшимъ его вещамъ, и богатый ея сюжетъ достоинъ былъ бы лучшей обработки. Стихъ ея въ большинствѣ случаевъ тяжелъ; патетическія мѣста нерѣдко отличаются какою-то холодною дѣланностью, иногда звучатъ фальшью; наконецъ, она изобилуетъ ненужными подробностями, которыя страшно охлаждаютъ читателя своей прозаичностью. Вообще новая поэма Некрасова кажется не плодомъ свободнаго творчества, а какимъ-то часто неудачнымъ, очень прозаическимъ, но какъ будто буквальнымъ переложеніемъ въ стихи мемуаровъ княгини Волконской. Очевидно, что мемуары и поэма—двѣ вещи совершенно различныя, и въ этомъ заключается главнѣйшій недостатокъ новой поэмы Некрасова.

По нашему мнѣнію, гораздо удачнѣе новый отрывокъ изъ его поэмы „Кому на Руси жить хорошо": при оригинальномъ складѣ, онъ отличается выдержанностью и дышитъ чисто народнымъ юморомъ, такъ что нѣкоторая его растянутость почти не утомляетъ читателя.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей".

* * *

*) Между современными русскими поэтами г. Некрасовъ занимаетъ привилегированное положеніе. Когда, лѣтъ двѣнадцать назадъ, на поэзію и поэтовъ вообще въ журналистикѣ нашей поднялось жестокое гоненіе, когда любимѣйшіе и безспорно талантливѣйшіе поэты низвергались съ пьедесталовъ, поражаемые громами фельетонной критики, когда публицисты, въ поискахъ за общественнымъ зломъ, останавливались на стихахъ гг. Фета, Майкова, Полонскаго,—въ эту тяжелую годину г. Некрасовъ счастливо избѣгнулъ участи своихъ собратовъ. Несмотря на то, что занятія поэзіей единогласно признаны петербургскою критикой не соотвѣтствующими достоинству развитого человѣка,

*) В. Г. Авсѣенко. „Русскій Вѣстникъ" 1873 г., № 6. Статья подъ *заглавіемъ:* „Поэзія журнальныхъ мотивовъ".

г. Некрасовъ невозбранно продолжалъ и продолжаетъ наполнять страницы самыхъ guasi-прогрессивныхъ изданій своими стихами, и петербургская критика не находитъ, чтобъ обстоятельство это причиняло какой-либо ущербъ нашему общественному развитію. Короче, какая-то счастливая волна, видимо, отдѣлила г. Некрасова отъ общаго теченія и благополучно понесла его въ попутную сторону.

Повидимому, самъ г. Некрасовъ въ началѣ своего поэтическаго поприща вовсе не разчитывалъ на такую выгодную карьеру. Въ одномъ изъ старыхъ своихъ стихотвореній, онъ выражался такимъ образомъ:

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства:
Ему такъ искрененъ привѣтъ
Друзей спокойнаго искусства.
Ему сочувствіе въ толпѣ
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ—
Сей пытки творческаго духа;
Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его коварно не злословятъ,
И современники ему
При жизни памятникъ готовятъ...

Случилось однако совершенно наоборотъ. Къ особенному счастью г. Некрасова, „волны русскаго прогресса“ приняли такое теченіе, что утлая ладья незлобивыхъ поэтовъ оказалась опрокинутою и потопленною, а надъ поглотившею ихъ бездною побѣдно развивается парусъ обильнаго желчью г. Некрасова.

Ему сочувствіе въ толпѣ
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ —
Сей пытки творческаго духа.

И въ то время, какъ современники „дивятся его великому уму и при жизни памятникъ готовятъ“, печальна судьба незлобиваго поэта:

Его преслѣдуютъ хулы:
Онъ ловитъ звуки одобренья
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Этотъ „незлобивый поэтъ“ есть, конечно, лицо собирательное; онъ олицетворяетъ собою всю ту поэтическую плеяду сороковыхъ годовъ, которая вынесла на своихъ плечахъ упомянутое гоненіе и приняла на свои головы молніи и громы, тщательно миновавшіе главу г. Некрасова. Правда, иначе едва ли и могло быть, такъ какъ самые грозные громы, обрушившіеся на поэтовъ, находились въ непосредственномъ распоряженіи г. Некрасова, какъ издателя *Современника* и *Свистка*.

Но не въ этой, конечно, внѣшней связи г. Некрасова съ журналистикой заключается тайна привилегированнаго положенія, въ какомъ видимъ мы его въ послѣднее время. Подъ этою внѣшнею связью, въ самой поэзіи г. Некрасова скрывается внутренняя связь съ тѣмъ направленіемъ, какое съ сороковыхъ годовъ неуклонно пыталась принять наша періодическая печать, и какое въ концѣ концовъ выродилось въ явленіе, названное нами въ предыдущей статьѣ журнализмомъ. Внимательнымъ разборомъ поэзіи г. Некрасова мы надѣемся показать, что эта поэзія постоянно искала сближенія съ господствующимъ журнальнымъ направленіемъ, черпала изъ него свои силы и вдохновеніе, и изсякла какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской журналистикѣ, растерявшей своихъ наиболѣе бойкихъ представителей и замкнувшейся въ узкій кругъ законченнаго отрицанія. Мы увидимъ, что поэтическая дѣятельность г. Некрасова двигалась постоянно паралельно съ движеніемъ нашихъ журнальныхъ идей, вѣрнымъ отраженіемъ которыхъ она всегда была, и вмѣстѣ съ которыми вступила теперь въ періодъ совершеннаго безплодія.

Явленіе это весьма поучительно. Какимъ образомъ поэтъ, не обдѣленный талантомъ, могъ обратиться къ такому сомнительному источнику вдохновенія, какъ петербургское журнальное направленіе, и замкнуть свою литературную карьеру въ кругъ его идей? А между тѣмъ, изучая

г. Некрасова въ связи съ общимъ движеніемъ нашей поэзіи и литературы вообще, нельзя не убѣдиться, что въ то время, какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчно-юныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія жизни изъ вторыхъ рукъ, поскольку онѣ отражались въ теченіи журнальныхъ идей, служившихъ для него единственною духовною пищей. Поэзія г. Некрасова вырабатывалась въ редакціяхъ и служила постоянно какъ бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики.

Наша новая поэзія вышла цѣликомъ изъ Пушкина. Антологическія и лирическія стихотворенія Пушкина были источникомъ, къ которому послѣдующія поколѣнія поэтовъ постоянно обращались. Эта близкая связь съ Пушкинымъ не была результатомъ простого подражанія: родство обусловливалось тѣмъ, что многосторонній геній поэта обнялъ всю область поэзіи и указалъ въ ней пути, съ которыхъ нельзя сойти, не разрывая съ вѣчными законами искусства. Пушкинъ первый заговорилъ у насъ тѣмъ языкомъ, въ которомъ выразились не субъективныя чувства, симпатіи и вкусы поэта, но исповѣдь благороднаго представителя вѣка, которому ничто человѣческое не чуждо. Онъ отрѣшилъ русскую поэзію отъ мечтательнаго, заимствованнаго романтическаго идеализма, какимъ она была запечатлѣна подъ перомъ Жуковскаго, и привелъ ее въ соприкосновеніе съ бьющимся пульсомъ жизни—жизни образованнаго и мыслящаго общества. Въ поэзіи Пушкина находили отраженіе своихъ идей и впечатлѣній не одни только любители искусства, но всѣ, кто умѣлъ благородно мыслить и чувствовать, кому доступны были общечеловѣческія идеи добра, правды и красоты.

Лермонтовъ былъ непосредственнымъ продолжателемъ Пушкина. Его поэзія запечатлѣна субъективнымъ чувствомъ, сильно отличавшимъ ее отъ Пушкинской, но внѣ этого субъективнаго чувства онъ шелъ рабски по пути, проложенному его великимъ учителемъ. Самъ онъ не проложилъ новыхъ путей; даже внѣшнія поэтическія формы у него тѣ

же, что у Пушкина, — тѣ же поэмы, въ которыхъ сила лирическаго чувства и красота описаній выкупаютъ бѣдность романическаго содержанія, тѣ же краткія и сильныя лирическія стихотворенія, тотъ же шутливый тонъ въ изображеніяхъ вседневной современной жизни, тотъ же, наконецъ, четырехстопный ямбъ. Поэтическая техника значительно усовершенствована Лермонтовымъ, хотя онъ не достигъ желѣзной выразительности Пушкинскаго стиха послѣдняго періода; описательныя мѣста въ его поэмахъ иногда плѣнительнѣе, чѣмъ у Пушкина, но зато нѣкоторые роды поэзіи, коими Пушкинъ владѣлъ въ совершенствѣ, остались для Лермонтова совершенно недоступными, какъ, напримѣръ, антологическій родъ, которому Пушкинъ научился у Гёте, Шенье и Батюшкова. Въ общемъ, Лермонтовъ послужилъ какъ бы повѣркой Пушкина, доказавъ, что созданные послѣднимъ пріемы въ высшей степени жизненны, и намѣченные имъ пути могутъ вести къ безконечному развитію.

Со смертью Лермонтова, въ поэзіи нашей наступаетъ продолжительное затишье. Поэты Пушкинскаго цикла умолкаютъ; новые таланты зрѣютъ медленно. Бодрящее, трезвое и свѣтлое настроеніе Пушкинской поэзіи какъ бы изсякло не только въ литературныхъ кружкахъ, но и въ самомъ обществѣ; чувствуется, что новое поколѣніе поэтовъ должно принести съ собой другой, не-Пушкинскій тонъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда съ конца сороковыхъ годовъ вступаетъ на литературное поприще новая поэтическая плеяда, иной тонъ ясно слышится въ нашей новой поэзіи, хотя она продолжаетъ разрабатывать тѣ же темы, остается въ тѣхъ же формахъ и напоминаетъ тѣ же звуки.

Критика пятидесятыхъ годовъ много способствовала уясненію поэтовъ того времени, но общая оцѣнка даровитой плеяды, въ которой соединились имена гг. Майкова, Фета, Полонскаго, Тютчева, Щербины, Мея еще ждетъ безпристрастнаго слова. Рецензенты пятидесятыхъ годовъ очень много сдѣлали для того, чтобы, такъ сказать, провести названныхъ поэтовъ въ публику, создать въ обществѣ массу цѣнителей поэтическихъ дарованій (услуга, которою, замѣтимъ мимоходомъ, гнушается современная критика), но явленія, выз-

вавшія извѣстный новый тонъ поэзіи того времени и сообщившія много родственныхъ чертъ цѣлому кружку поэтовъ, остались не разъясненными. Между тѣмъ, изучая этихъ поэтовъ, нельзя не убѣдиться, что они руководились однимъ и тѣмъ же взглядомъ на поэзію, и, несмотря на литературную самостоятельность каждаго изъ нихъ, черпали вдохновеніе изъ одного и того же источника и разрабатывали поэтическія темы въ одномъ и томъ же направленіи. Такое совпаденіе, конечно, не могло быть случайнымъ, и въ общемъ ходѣ нашего развитія критика неминуемо должна найти явленія, его обусловившія.

Безпокойно-страстное и неудовлетворенное чувство, отразившееся въ нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, было удѣломъ цѣлаго поколѣнія, и не у насъ только, но и въ Европѣ. Въ избранныхъ умахъ господствовало чувство утомленія и недовольства, которое съ такою страстностью и такимъ горькимъ смѣхомъ выразилось въ поэзіи Гейне. Какъ поэтъ, выплакавшій въ стихахъ горе и боль своего вѣка, Гейне непосредственно слѣдуетъ за Байрономъ. У насъ вліяніе Гейне было всесторонне и продолжительно. Болѣзненный смѣхъ Гейне, этотъ смѣхъ надъ тѣмъ самымъ, что онъ любитъ, пришелся какъ нельзя болѣе по вкусу русскому обществу, всегда расположенному сомнѣваться въ себѣ самомъ и смѣяться надъ собою. Гейне былъ встрѣченъ у насъ какъ родной пѣвецъ, и у каждаго русскаго поэта нашелся въ душѣ отголосокъ на его пѣсни. Довольно припомнить, что поэты самыхъ противоположныхъ направленій переводили Гейне и подчинялись его вліянію; у каждаго нашлись струны, звучавшія согласно съ его лирою.

Эта тоскливая струна внутренняго разлада слышится, напримѣръ, въ поэзіи г. Фета, и только близорукіе не замѣчаютъ ея за страстными звуками любви.

Находятъ дни: съ самимъ собою
Бороться сердцу тяжело...
И духа злобы надъ душою
Я слышу тяжкое крыло.

Самая любовь—страстная и мечтательная—является у г. Фета лишь какъ бы исходомъ изъ замкнувшагося круга вну-

треннихъ страданій. Есть у г. Фета одно стихотвореніе, въ которомъ жажда счастья и недугъ сомнѣвающагося духа выразились очень ясно; стихотвореніе это озаглавлено: *Весеннія мысли.*

Снова птицы летятъ издалека
Къ берегамъ, расторгающимъ ледъ,
Солнце теплое ходитъ высоко
И душистаго ландыша ждетъ.
Снова въ сердцѣ ничѣмъ не умѣришь
До ланитъ восходящую кровь,
И душою *подкупленной* вѣришь,
Что какъ міръ *безконечна любовь.*
Но сойдемся ли снова такъ близко
Средь природы разнѣженной мы,
Какъ видало ходившее низко
Насъ холодное солнце зимы?

Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разсудокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье:

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабѣю*
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

Изъ этой борьбы неудовлетвореннаго духа съ жаждою счастья, самозабвенія, проистекаютъ два параллельныя теченія, проходящія по всей поэзіи г. Фета: скорбное томленіе души и поэтическое чувство, обращенное къ женщинѣ. Только подлѣ любимаго существа находитъ поэтъ разрѣшеніе своего недуга; тяжкое крыло „духа злобы“ перестаетъ вѣять надъ нимъ, и больная душа волнуется „нѣгою томительной“ во власти „несказаннаго стремленія“. Припомнимъ прелестныя строки изъ стихотворенія *Муза:*

Мнѣ Муза молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волосъ
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ:
Цвѣты послѣдніе въ рукѣ ея дрожали;
Отрывистая рѣчь была *полна печали*
И женской прихоти и серебристыхъ грезъ,

Невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ.
Какой-то нѣгою томительной волнуемъ,
Я слушалъ, какъ слова встрѣчались съ поцѣлуемъ,
И долго безъ нея *душа была больна.*
И несказаннаго стремленія волна.

Стихотвореніе это задумано въ антологическомъ родѣ, но у г. Фета античная муза превратилась въ мечтательный, полупрозрачный призракъ *сѣверной* поэзіи. Напрасно искали бы мы въ немъ пластичности, роскоши и силы: это мечтательный, блѣдный образъ, созданный изъ серебристыхъ лучей мѣсяца:

Если зимнее небо звѣздами горитъ
И мечтательно свѣтитъ луна,
Предо мною твой образъ, твой дивный, скользитъ,
Словно ты изъ лучей создана
И свѣтла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хоть слѣдовъ...
И свѣтла и легка—но зато ни слѣда,
Только грудь обуяетъ любовь...

Отъ этого мѣчтательнаго образа вѣетъ сѣверомъ, словно отъ героини зимней сказки:

Знаю я, что ты, *малютка,*
Лунной ночью не робка:
Я на снѣгѣ вижу утромъ
Легкій оттискъ башмачка.
Правда ночь при свѣтѣ лунномъ
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты не даромъ, другъ мой,
Покидаешь ложе сна;
Брилліанты въ свѣтѣ лунномъ,
Брилліанты въ небесахъ,
Брилліанты на деревьяхъ,
Брилліанты на снѣгахъ.
Но боюсь я, другъ мой милый,
Какъ бы въ вихрѣ духъ ночной
Не завѣялъ бы тропинку,
Проложенную тобой.

Присутствіе этого мечтательнаго и чистаго существа отрадно дѣйствуетъ на поэта; въ минуту душевнаго умиленія, онъ спрашиваетъ:

Не здѣсь ли ты *легкою тѣнью,*
Мой геній, мой ангелъ, мой другъ,
Бесѣдуешь *тихо* со мною
И *тихо летаешь* вокругъ?
И робкимъ даришь вдохновеньемъ.
И *сладкій врачуешь недугъ,*
И тихимъ даришь сновидѣньемъ...

Поэтъ вѣритъ въ молитвенную чистоту этой женщины-младенца и ищетъ подлѣ нея силы въ борьбѣ съ тѣмъ „духомъ злобы и сомнѣнья“, крыло котораго порою тяжело вѣетъ надъ нимъ:

Какъ ангелъ неба безмятежный,
Въ сіяньи тихаго огня,
Ты помолись душою нѣжной
И за себя и за меня.
Ты отъ меня любви словами
Сомнѣнья духа отжени,
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осѣни.

Этотъ поэтическій образъ, въ которомъ черты Шекспировскихъ женщинъ—Дездемоны, Офеліи, Корделіи—слились съ прозрачными красками сѣверныхъ сагъ, необыкновенно гармонируетъ съ лиризмомъ нашей поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода. Эта *малютка*, созданная изъ серебристо-снѣжнаго сіянія зимней ночи, съ печалью на скорбномъ лицѣ, со слѣдами слезъ на ясныхъ глазахъ, съ послѣдними блеклыми цвѣтами въ рукѣ, съ очарованьемъ молитвенной благодати, вѣющимъ отъ всего существа ея, — эта женщина особенно близка и дорога для больного сына вѣка, ищущаго выхода изъ чувства неудовлетворенія и сомнѣнія, уязвленнаго жаломъ *міровой скорби* и полнаго *несказаннаго стремленія*. Близъ этой женщины притупляется острое чувство, и душевная боль разрѣшается сладкимъ томленіемъ...

Мы старались уловить этотъ образъ въ поэзіи г. Фета, потому что ни у кого не выразился онъ съ такою прозрачностью; но онъ живетъ и у другихъ поэтовъ того же круга, напримѣръ, у г. Тютчева и у г. Полонскаго. Ощущеніе неудовлетворенности, стремленіе къ выходу, къ отвлеченію, *есть общая черта* всей нашей поэзіи сороковыхъ и пятиде-

сятыхъ годовъ. У г. Майкова это чувство выразилось въ другой формѣ, но съ неменьшею силой, въ лучшемъ его нроизведеніи: *Три Смерти*, не говоря уже о многихъ мелкихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, отразившихъ на себѣ вліяніе Гейне.

Замѣчательно, что критика времени вовсе не замѣтила насколько тонъ этой поэзіи и ея вдохновеніе исходятъ изъ глубины жизни и духа времени. Чувство неудовлетворенія, проходящее обильною струей въ этой поэзіи, ускользнуло отъ вниманія критики, видѣвшей только поэтическія темы, которыя казались ей весьма удаленными отъ жизни, и проглядѣвшей незримую нить, связывавшую эти темы съ общественными историческими условіями. Критика замѣчала только, что поэты поютъ о любви, о женщинѣ, что чувствуемая въ ихъ поэзіи страсть, есть страсть къ женщинѣ, — и когда въ концѣ сороковыхъ годовъ въ журналистикѣ нашей возникла идея о необходимости ближайшей связи литературы съ жизнью, вся не-Некрасовская поэзія весьма смѣло была отнесена къ области „чистаго искусства“, пребываніе въ которой для писателя сдѣлалось предосудительнымъ. Къ шестидесятымъ годамъ такой взглядъ утвердился окончательно со всѣми крайностями увлеченія, и поэты негражданскаго закала торжественно поставлены на одну доску съ ворами (въ извѣстныхъ стихахъ г. Некрасова:

Одни—стяжатели воры,
Другіе—сладкіе пѣвцы.)

Разсматривая поэзію болѣе со стороны формы, чѣмъ внутренняго содержанія, журналистика конца сороковыхъ годовъ нашла ее весьма далекою отъ возникавшихъ тогда общественныхъ задачъ, и заявила требованія, которымъ поэты послѣ-Пушкинскаго періода весьма мало, по ея мнѣнію, удовлетворяли. Журналистика требовала прежде всего отрицанія существующаго общественнаго строя. Она не замѣтила, что и безъ того отрицаніе было мотивомъ поэзіи Гейне и его послѣдователей; она хотѣла отрицанія рѣзкаго, голаго, не прикрытаго поэтическимъ стремленіемъ къ красотѣ и къ художественнымъ идеаламъ. Все облекавшееся

въ художественныя формы казалось ей безполезнымъ, не достигающимъ тенденціозной цѣли. Поэзія должна была служить протестомъ противъ соціальнаго неравенства; въ этомъ смыслѣ поэтическое поклоненіе красотѣ признавалось чѣмъ-то аристократическимъ. Симпатіи журналистики перенесены были на такъ-называемую меньшую братію, объ освобожденіи которой отъ соціальныхъ оковъ давно уже говорила европейская печать. Отсюда возникло требованіе народности, то-есть, литературѣ предписано было заняться бытомъ и интересами русскаго крестьянина и отстраниться отъ художественныхъ идеаловъ, какъ чуждыхъ народной, или вѣрнѣе, простонародной жизни. Извѣстныя строки Пушкина —

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ —

сдѣлались предметомъ раздора въ нашей періодической печати, усмотрѣвшей въ этомъ опредѣленіи поэта прямое противорѣчіе возникавшимъ новымъ требованіямъ. Г. Некрасовъ отозвался на это движеніе стихотвореніемъ: *Поэтъ и гражданинъ*, въ которомъ ставитъ спорный вопросъ такимъ образомъ:

Пускай ты вѣренъ назначенью,
Но легче ль родинѣ твоей?

Онъ не прибавляетъ, было ли бы родинѣ легче, если бы поэтъ измѣнилъ своему назначенію. Въ этомъ же стихотвореніи онъ посвящаетъ „сладкимъ" поэтамъ такія строки:

.... Громъ ударилъ; буря стонетъ
И снасти рветъ, и мачту клонитъ —
Не время въ шахматы (?) играть,
Не время пѣсни распѣвать!
Вотъ песъ—и тотъ опасность знаетъ
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ:
Ему другого дѣла нѣтъ....
А ты что дѣлалъ бы, поэтъ?
Ужель въ каютѣ отдаленной
Ты сталъ бы лирой вдохновенной
Лѣнивцевъ уши услаждать
И бури грохотъ заглушать?

Однако, развѣ лучше, и достойнѣе, и полезнѣе лаять псомъ на вѣтеръ?... Въ обстоятельствахъ, какія описываетъ г. Нѣкрасовъ въ вышеприведенныхъ стихахъ, люди литературой не занимаются, ни чистою ни нечистою, а потому аллегорія лишена значенія и силы.

Поэтическая дѣятельность г. Некрасова такъ тѣсно сплелась съ судьбами петербургской журналистики, что ее нельзя разсматривать внѣ этой связи. Выступивъ на литературное поприще въ одно время съ возникновеніемъ новаго журнальнаго направленія, онъ до такой степени точно сообразовалъ свою поэзію съ этимъ направленіемъ, что нерѣдко стихи его служили только риѳмованнымъ перифразомъ журнальныхъ статей, и постоянно — отголоскомъ журнальныхъ требованій. Услужливость г. Некрасова въ этомъ отношеніи не имѣетъ предѣловъ: перебирая пять томовъ его стихотвореній, можно прослѣдить по нимъ весь ходъ нашей журналистики. Возникло, напримѣръ, въ сороковыхъ годахъ требованіе народности, и г. Некрасовъ написалъ своего *Огородника* и *Въ дорогѣ* какъ разъ въ томъ самомъ духѣ и направленіи, какъ понимали народность въ петербургскихъ редакціонныхъ кружкахъ. Правда, эта народность очень походила на петербургскаго ряженаго троечника, въ плисовой поддевкѣ и шляпѣ съ пѣтушьимъ перомъ, насвистывающаго трактирную пѣсню; но наши литературные кружки, и въ особенности кружокъ Бѣлинскаго, только и понимали народность въ этомъ ряженомъ видѣ, въ какомъ она являлась у столичныхъ quasi-ямщиковъ и у Палкинскихъ половыхъ прежняго времени. Настоящая, неряженая русская жизнь оставалась всегда чуждою нашимъ петербургскимъ наблюдателямъ: они понимали въ ней только бахвальство двороваго слуги и ухорство ***питерщика***. Г. Некрасовъ, заимствовавшій свое чувство народности изъ петербургскихъ журналовъ, естественно долженъ былъ положить на нее тотъ самый отпечатокъ, съ какимъ она являлась въ народолюбивомъ сознаніи людей, наблюдавшихъ ее у Палкина и подъ балаганами: русскій простолюдинъ предсталъ въ стихахъ г. Некрасова въ красной рубахѣ, съ серебряною серьгой въ одномъ ухѣ, „круглолицъ, бѣлолицъ, кудрю

чесаный ленъ", въ плисовыхъ шароварахъ и съ гармоникой въ рукахъ. Впослѣдствіи, когда знаніе и пониманіе народности сдѣлало успѣхи въ самой петербургской журналистикѣ, когда точка зрѣнія на народность въ ней перемѣнилась, и, вмѣсто ухорства и бахвальства, стали замѣчать въ народной русской жизни лохмотья, нищету, тяжкое бремя чернорабочаго труда, въ мнимонародной поэзіи г. Некрасова явились другія краски. Вслѣдъ за журналистами онъ увидѣлъ нищету и лохмотья, кумачная рубашка смѣнилась рубищемъ, трактирная пѣсня—стономъ бурлаковъ, тянущихъ лямку. Но вдохновенье опять шло не изъ непосредственнаго наблюденія жизни, а изъ журнальныхъ статей, и потому опять звучало фальшиво; дѣйствительныя черты народнаго духа, какія указывалъ, напримѣръ, г. Достоевскій въ *Запискахъ изъ Мертваго дома* или Андрей Печерскій, остались незамѣченными г. Некрасовымъ, хотя у него есть стихотвотенія, прямо навѣянныя *Записками изъ Мертваго дома*. Фальшивость происходила оттого, что почерпнутые у г. Достоевскаго мотивы г. Некрасовъ проводилъ сквозь горнило воззрѣній редакціи *Современника*, измѣнялъ точку зрѣнія, и въ этомъ процессѣ перегорали краски, полученныя изъ непосредственнаго художественнаго наблюденія. Впрочемъ, поддѣльность народной поэзіи г. Некрасова такъ очевидна, что излишне распространяться объ этомъ предметѣ.

Гораздо любопытнѣе взглянуть, какъ отразилось въ стихахъ нашего поэта то движеніе соціальныхъ идей, которое съ половины сороковыхъ годовъ составляетъ внутреннее содержаніе петербургской журналистики. Мы видѣли, что критика, просмотрѣвшая соціальное и историческое значеніе нашей художественной поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода, и замѣтивъ только ея внѣшнее содержаніе, ея темы, посвященныя любви женщинѣ, красотѣ, осудила эту поэзію во имя общественныхъ и гражданскихъ идей. Осудивъ содержаніе, она осудила также и форму, въ художественной виртуозности которой она видѣла нѣгу звуковъ, не гармонировавшую съ тѣми новыми темами, которыя журналистика претендовала внести въ поэзію. Журнализмъ по-

требовалъ отъ поэтовъ суровыхъ пѣсенъ, суровыхъ образовъ, которые воплотили бы въ себѣ борьбу человѣчества за соціальныя права, въ которыхъ звучали бы отголоски страданій, стоны пролетаріевъ, задавленныхъ соціальнымъ неравенствомъ. Насколько все это было примѣнимо къ русской жизни внѣ специальныхъ условій крѣпостного права—журналистика не разсуждала. Выйдя сама изъ условій чужой жизни, она поставила своею задачею: отыскать во что бы то ни стало аналогическія условія въ русскихъ порядкахъ, и такъ или иначе ввести русскую жизнь въ соціальное движеніе, внѣ котораго нашъ журнализмъ не умѣлъ найти для себя содержанія. Явилось требованіе, чтобы наша поэзія служила отголоскомъ этой борьбы, чтобъ она забыла „пѣсни любви и лѣни“. Новая поэзія должна была нарядиться въ лохмотья соціальной нищеты, облечься въ „суровый, неуклюжій стихъ“, и забыть о „праздникѣ жизни, потому что на этомъ праздникѣ много званыхъ, но мало избранныхъ. Защитница униженныхъ и угнетенныхъ, она должна рыдать и скорбѣть, обливаться желчью и негодованіемъ.

Г. Некрасовъ вызвался съ точностью удовлетворить этимъ новымъ требованіямъ. Онъ вѣритъ, что въ этихъ именно требованіяхъ заключается его поэтическое призваніе:

.... Рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ,—
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото—единственный кумиръ...
Въ усладу новаго пришельца въ Божій міръ,
Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной,
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,
Она пѣвала мнѣ—и полонъ былъ тоской
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой.
Случалось, не стерпѣвъ томительнаго горя,
Вдругъ плакала она, моимъ рыданьямъ вторя,
Или тревожила младенческій мой умъ
Разгульной пѣснею... Но тотъ же скорбный стонъ
Еще пронзительнѣй звучалъ въ разгулѣ шумномъ.

Все слышалося въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленныя слезы,
Проклятья, жалобы, безсильныя угрозы.
Въ порывѣ ярости, съ неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой,
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бѣшено моею колыбелью,
Кричала: мщеніе! и буйнымъ языкомъ
Въ сообщники свои звала Господень громъ!

Какая мрачная и дикая программа! Рыдающій вопль и буйный разгулъ—какой-то пиръ во время чумы, Фаустъ, Гете и пластическія фантазіи Макарта... И г. Некрасовъ неоднократно возвращается къ этой программѣ: онъ любитъ воображать себя цѣвцомъ скорби и страданья, любитъ находить въ своей поэзіи желчь и мстительное чувство:

Если долго сдержанныя муки
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу . . . .
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ!
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь.
Торжествуетъ мстительное чувство...

Даже воспоминанія собственнаго дѣтства, съ такимъ примиряющимъ и освѣжающимъ вѣяніемъ дѣйстующія на человѣка, будятъ въ душѣ г. Некрасова лишь мрачные образы и озлобленное чувство. Онъ радъ, что время разрушило гнѣздо, въ которомъ протекли его первые годы, что измѣнился даже наружный видъ родной стороны:

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ—
Въ томящій лѣтній зной защита и прохлада—
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
Понуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на бокъ валится пустой и мрачный домъ,
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

Таковъ г. Некрасовъ, когда онъ обращается къ своему внутреннему чувству или строитъ программу собственной поэтической дѣятельности. Но эта программа походитъ на великолѣпныя пропилеи, за которыми путешественникъ неожиданно встрѣчается съ небольшою постройкой весьма посредственной архитектуры. Такое же разочарованіе испытываетъ читатель, когда отъ вышеприведенныхъ стихотвореній переходитъ къ тѣмъ произведеніямъ г. Некрасова, которыя упрочили за нимъ званіе сатирическаго поэта. Оказывается, что „скорбный стонъ, подавленныя слезы, проклятья, жалобы, безсильныя угрозы“ Некрасовской музы направлены на предметы, нѣсколько водевильнаго свойства и во всякомъ случаѣ не имѣющіе того какъ бы стихійнаго значенія, котораго читатель расположенъ ожидать. Предметами сатиры являются то вылѣзающій изъ канцелярскихъ потемокъ бюрократъ, оставляющій съ сильнымъ міра сего „съ глазу на глазъ красавицу дочь“, то опять тотъ же бюрократъ, живущій „согласно съ строгою моралью“ и подкарауливающій похожденія своей жены, чтобъ уличить ее „съ полиціей“; то опять все тотъ же неизмѣнный бюрократъ, устраивающій своей дочери „прекрасную партію“, затѣмъ опять онъ же, не умѣющій голоднаго отъ пьянаго отличить, и, наконецъ, опять онъ же, гуляющій по Невскому и обѣдающій въ Англійскомъ клубѣ. Для разнообразія мелькаютъ порою въ сатирѣ г. Некрасова помѣщикъ старыхъ временъ, рыскающій по полю съ борзыми и ломающій ребра встрѣчному и поперечному, да падшая женщина, давящая рысаками петербургскихъ пѣшеходовъ.

Таковы постоянныя, любимыя темы тѣхъ стихотвореній г. Некрасова, которыя наиболѣе нравились публикѣ и наиболѣе содѣйствовали упроченію его литературной репутаціи. Уровень сатиры, очевидно, весьма не высокъ и нимало не соотвѣтствуетъ грандіознымъ задачамъ, которыя воображеніе предписало поэту. Читатель опять встрѣчается здѣсь съ пошловатымъ отпечаткомъ канцелярскаго либерализма и водевильно-фельетонной литературы чисто петербургскаго происхожденія. Заимствованность вдохновенія не изъ непосредственнаго, широкаго изученія жизни, а изъ литературы,

точка зрѣнія наблюдателя, обозрѣвающаго окружающую его дѣйствительность съ панелей Невскаго проспекта—сказываются въ сатирахъ г. Некрасова такъ же очевидно и ясно, какъ и въ его мнимо-народныхъ произведеніяхъ. Идея соціальнаго протеста, служащая содержаніемъ нашей новой литературы, прошла черезъ журнальную реторту и получила въ ней тотъ водевильно-канцелярскій оттѣнокъ, которымъ запечатлѣна вообще петербургская печать. Въ этомъ процессѣ все, что названная идея заключала въ себѣ грандіознаго, общечеловѣческаго, осѣло на стѣнкахъ дистиллирующаго снаряда, и осталась маленькая, худосочная идейка, выражающая протестъ загнаннаго петербургскаго чиновника противъ вылѣзшаго въ люди бюрократа. Униженный и оскорбленный, о сочувствіи къ которому взывала журналистика, найденъ въ лицѣ маленькаго чиновника, который

Въ провіантскую комиссію,
Поступивши, напримѣръ,
Покупалъ свою провизію—
Вотъ какой милліонеръ!

Это было очень естественно со стороны поэта, почерпавшаго свое вдохновеніе изъ міросозерцанія *Современника*. Когда этой журналистикѣ понадобилось во что бы то ни стало отыскать въ русской жизни условія соціальной борьбы—нѣтъ ничего удивительнаго, что эти условія найдены въ явленіяхъ ближайшей дѣйствительности, въ петербургской жизни—единственной доступной наблюденіямъ журнальныхъ дѣятелей. Этотъ петербургскій букетъ, составившійся изъ нищеты и скуки чиновничьяго существованія и водевильныхъ развлеченій уличной и трактирной жизни, отразился всецѣло въ поэзіи г. Некрасова и пропиталъ ее своимъ крѣпкимъ запахомъ. Остроуміе Александринской сцены и развязная иронія, не чуждая разгильдяйства театральныхъ буфетовъ, окропили обильною струей эту чисто петербургскую сатиру, относительно которой самъ авторъ, очевидно, приходитъ въ заблужденіе, подозрѣвая будто его муза, „плачущая, скорбящая и болящая, всечасно жаждущая *униженно просящая*“, путемъ этой водевильной сатиры,

Въ порывѣ ярости, съ неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.

Бой оказывается не столько упорнымъ, сколько однообразнымъ, и значеніе этой „безумной" борьбы сатирическаго поэта съ недугами и язвами своего вѣка постепенно умаляется по мѣрѣ того, какъ мы отъ замысловъ переходимъ къ исполненію. Нерѣдко содержаніе Некрасовской сатиры замѣчательнымъ образомъ совпадаетъ со статьями *Петербургскаго Листка*, обличительное усердіе котораго такъ высоко цѣнится столичными дворниками и лавочниками. Г. Некрасовъ не брезгаетъ говорить своимъ „неуклюжимъ стихомъ" о неудобствѣ петербургскихъ мостовыхъ, о цвѣлой водѣ въ каналахъ и о дурномъ воздухѣ, какимъ дышатъ лѣтомъ обитатели столицы. Въ стихотвореніяхъ подобнаго содержанія, въ самомъ тонѣ встрѣчается замѣчательно близкое сходство съ благонамѣренно-обличительными статьями уличныхъ листковъ. Вотъ небольшой примѣръ изъ сатиры *О погодѣ*, гдѣ г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ „бичуетъ" недостатки Петербурга лѣтомъ:

Но кто лѣтомъ толкается въ немъ,
Тотъ ему одного пожелаетъ—
Чистоты, чистоты, чистоты!
Грязны улицы, лавки, мосты,
Каждый домъ золотухой страдаетъ;
Штукатурка валится—и бьетъ
Тротуаромъ идущій народъ,
А для ѣдущихъ есть мостовая,
Не щадящая бѣдныхъ боковъ;
Лѣтомъ взроютъ ее, починяя,
Да наставятъ зловонныхъ костровъ;
Какъ дорогой бросаются въ очи
На зеленомъ лугу свѣтляки,
Ты замѣтишь въ туманныя ночи
На вершинѣ костровъ огоньки—
Берегись! Въ дополненіе, съ мая,
Не весьма-то чиста, и всегда,
Отъ природы отстать не желая,
Зацвѣтаетъ ва каналахъ вода...

Санитарное содержаніе этихъ строкъ и несвѣжая острота о петербургскихъ каналахъ, зацвѣтающихъ весною, чтобы не отстать отъ природы, прямо указываютъ, что вдохновеніе

поэта заимствовано въ настоящемъ случаѣ изъ фельетоновъ весьма не высокаго свойства. На поэтѣ отразилось уже пониженіе уровня петербургскаго журнализма, замѣтное съ шестидесятыхъ годовъ.

Мы имѣли уже случай указать въ началѣ этой статьи на близкую связь поэзіи г. Некрасова съ судьбами петербургской журналистики. Дѣйствительно, едва ли есть другой поэтъ, творчество котораго находилось бы въ такой роковой зависимости отъ уровня журнальныхъ идей. Лучшимъ періодомъ въ поэтической дѣятельности г. Некрасова были сороковые и пятидесятые годы, то-есть именно тѣ годы, когда петербургская журналистика обнаруживала нѣкоторую жизненность. Хотя и въ этотъ періодъ большая часть стихотвореній г. Некрасова представляется весьма слабою въ смыслѣ непосредственнаго художественнаго творчества, хотя лучшія его произведенія носятъ несомнѣнную печать журнальныхъ вѣяній, но самыя эти вѣянія были свѣжѣе. Журналистика хотя становилась болѣе и болѣе тенденціозною, но тенденціозность еще не противополагалась таланту, не исключала самостоятельной работы мысли. Притокъ общественныхъ идей въ художественную литературу первоначально сообщилъ ей большую глубину содержанія, и одинъ изъ самыхъ даровитыхъ ревнителей тогдашняго журнализма, Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, очень бы удивился, еслибъ ему сказали, что черезъ двадцать лѣтъ тѣ живыя силы, которыя онъ стремился вызвать въ литературѣ, замкнутся въ заколдованный кругъ либеральной формалистики и приведутъ къ полному застою и мертвечинѣ.

Наше журнальное движеніе съ шестидесятыхъ годовъ послѣдовало однакожъ именно по этому злополучному пути. Живая струя, питавшая ее въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, видимо изсякла, и съ тѣмъ вмѣстѣ измельчало ея внутреннее содержаніе. Самостоятельная работа мысли замѣнилась формализмомъ; перестали искать живого и свѣжаго слова, авторской индивидуальности, потому что всякая индивидуальность враждебна предустановленной тенденціи. *Въ предыдущей* статьѣ нашей: *Нужна ли намъ литература? мы видѣли, до* какой степени понизились требованія, предъ-

являемыя къ литературѣ новѣйшею критикой. Мы видѣли, что даже тѣ произведенія Гоголя, за которыми критика Бѣлинскаго признавала огромное общественное значеніе, не удовлетворяютъ современный журнализмъ, потому что представляютъ нѣчто болѣе глубокое и высшее, чѣмъ эфемерные интересы журналистики. Это мелководье современнаго журнальнаго уровня выразилось еще яснѣе въ слѣдующей статьѣ г. Пыпина (*Вѣстникъ Европы*, май), посвященной Бѣлинскому. Критикъ нашихъ дней даетъ оцѣнку критика сороковыхъ годовъ, при чемъ огромное разстояніе между ними сказывается противъ воли г. Пыпина съ полною выразительностью. Г. Пыпинъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ совсѣмъ не то, что, конечно, составляетъ его главную заслугу. Замѣчательный критическій талантъ Бѣлинскаго, его горячая проповѣдь въ пользу художественности и талантливости въ литературѣ, его эстетическое чутье, помогшее ему разгадать значеніе Пушкина и Гоголя въ нашей поэзіи, все это осталось совершенно незамѣченнымъ для г. Пыпина. Современный журналистъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ только одно достоинство, одну заслугу—*направленіе*. Можно думать, что, по мнѣнію г. Пыпина, никакого дарованія вовсе не требуется въ литературѣ, а нужно только направленіе. И дѣйствительно таковъ взглядъ, таковы требованія современнаго журнализма. Понятно, что какъ скоро журналистика замыкается въ безплодный формализмъ направленія, въ ней прекращается всякая живая производительность. Направленіе, лишенное внутренняго содержанія, враждебное всякому поступательному движенію въ смыслѣ изученія и разработки нравственныхъ и художественныхъ задачъ, не можетъ повести ни къ чему другому, кромѣ толченія воды и пересыпанія изъ пустого въ порожнее. Возможна ли литературная производительность тамъ, гдѣ на все есть готовая формула, гдѣ всѣ явленія жизни предрѣшены и гдѣ всякая попытка глубже всмотрѣться въ эти явленія и дать имъ болѣе вѣрное и жизненное освѣщеніе—заранѣе отвергается какъ несогласная съ *такимъ-то направленіемъ*.

Бѣлинскій съ извѣстной точки зрѣнія былъ писатель того самаго направленія, которое современный петербургскій

журнализмъ признаетъ господствующимъ и единственно здравымъ. Но Бѣлинскій, конечно, энергически протестовалъ бы противъ такого сближенія, если-бы судьба привела его увидѣть плоды, произросшіе изъ брошенныхъ имъ сѣмянъ. Невозможно болѣе глубокое паденіе, какъ то, которое испытала наша журналистика въ періодъ времени, протекшій отъ „Литературныхъ Мечтаній" Бѣлинскаго до „Литературныхъ Характеристикъ" г. Пыпина. При Бѣлинскомъ мы видѣли журналистику горячо и искренно боровшуюся противъ застоя, формализма и бездѣйствія мысли, подражательности и бездарности, журналистику, которая въ литературѣ цѣнила прежде всего талантъ и ждала отъ писателя свободнаго, живого слова, просвѣщенной мысли, самостоятельнаго выработаннаго убѣжденія. Направленіе, созданное у насъ Бѣлинскимъ, въ которомъ современный журнализмъ, глазами г. Пыпина, ничего болѣе не видитъ, кромѣ такъ называемыхъ „освободительныхъ идей", видѣло освобожденіе прежде всего въ полнотѣ внутренняго содержанія нашей литературы и радостно шло навстрѣчу всякому свѣжему дарованію, находило ли оно его въ сатирѣ Гоголя или въ антологическихъ стихотвореніяхъ Майкова. Недостатокъ болѣе серіознаго образованія постоянно вредилъ Бѣлинскому и заставлялъ его бросаться въ крайности, печальнымъ образомъ отозвавшіяся на будущихъ судьбахъ нашего журнальнаго движенія; но въ этихъ крайностяхъ преимущественно виноваты тѣ зловѣщія силы, которыя послѣдовательно низвели нашу журналистику до ея нынѣшняго плачевнаго уровня. Настоящаго Бѣлинскаго надо искать не въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности, и въ особенности не въ уклоненіяхъ его послѣдователей, а въ его статьяхъ первой половины сороковыхъ годовъ, когда имъ руководило его художественное чутье.

Пониженіе уровня журнальныхъ идей, обнаружившееся у насъ съ начала шестидесятыхъ годовъ, отразилось на поэтической дѣятельности г. Некрасова тѣмъ сильнѣе, что поэзія его постоянно вдохновлялась журнальными мотивами, и изъ нихъ заимствовала свою силу. Если въ предшествовавшій литературный періодъ, при болѣе высокомъ

уровнѣ журналистики, муза г. Некрасова возвышалась иногда до произведеній талантливыхъ, каково, напримѣръ, стихотвореніе: *Ѣду ли ночью по улицѣ темной*, то въ послѣдніе годы произведенія этого поэта упали до того низменнаго уровня, на которомъ коснѣетъ современный петербургскій журнализмъ. Вѣрный господствующимъ журнальнымъ идеямъ въ эпоху ихъ сильнаго развитія и жизненности, онъ остался вѣренъ имъ и при нынѣшнемъ ихъ мелководьи, и раздѣлилъ съ ними ихъ паденіе. Разница между предыдущимъ и послѣдующимъ періодами въ поэтической дѣятельности г. Некрасова такъ же замѣтна и существенна, какъ и между журналистикой сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ и журналистикой современною. Заимствованная сила лучшихъ прежнихъ стихотвореній его изсякаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ она изсякла въ питавшемъ его источникѣ. Поэтъ оставляетъ общія идеи добра, блага, правды, составлявшія внутреннее содержаніе литературы предшедшаго періода, и обращается къ тѣмъ мелкимъ, такъ сказать, спеціализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла, которые выступаютъ на первый планъ въ самой журналистикѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэта оставляетъ всякая забота о художественныхъ цѣляхъ поэзіи, такъ какъ эти цѣли отвергнуты и осмѣяны новѣйшею журналистикой. Стихъ г. Некрасова, весьма небрежный и прежде, но въ своей небрежности не лишенный иногда силы и выразительности, въ послѣднихъ произведеніяхъ его становится совершенно прозаическимъ и водянистымъ: поэтъ какъ бы вполнѣ подчиняется требованіямъ новой критики, которая ищетъ въ писателѣ только неуклоннаго вращенія около нѣсколькихъ темъ, предрѣшенныхъ стереотипными формулами петербургскаго либерализма.

Этотъ печальный упадокъ поэтическаго творчества отразился въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова не только вообще, но и въ частностяхъ. Поэтъ тщательно слѣдитъ за всѣми отклоненіями идей петербургскаго журнализма, и если не предупреждаетъ ихъ, то всегда служитъ вѣрнымъ ихъ отголоскомъ. Такъ, напримѣръ, его отношенія къ русской народности измѣнились кореннымъ образомъ, соотвѣтственно новымъ отношеніямъ къ ней петер-

ургской журналистики. Извѣстно, что, вмѣсто нѣкотораго идеализированія русскаго простолюдина, вмѣсто исканія въ его природѣ здравыхъ началъ, журналистика шестидесятыхъ годовъ стала относиться къ народу почти ругательно, изобличая его крайнюю тупость, нищету и грязь; вмѣсто народнаго молодчества и ухорства, выступили на сцену идіотизмъ и забитость, безпробудное пьянство и кабацкая брань; вмѣсто красныхъ рубахъ, плисовыхъ шароваръ и гармоникъ— лохмотья, рубища, зеленый полуштофъ и окровавленные кулаки. Въ quasi-народной литературѣ,—литературѣ г. Рѣшетникова, гг. Успенскихъ и пр.—повѣяло новымъ, особымъ запахомъ, который г. Некрасовъ, со свойственною ему чуткостью ко всѣмъ журнальнымъ явленіямъ, тотчасъ опредѣлилъ, сказавъ, что смѣсь

....водки, конюшни и пыли—.
Характерная русская смѣсь.

Сообразно съ тѣмъ, и самъ г. Некрасовъ сталъ рисовать русскихъ мужичковъ другими красками. Въ одной изъ его послѣднихъ поэмъ: *Кому на Руси жить хорошо*, русскіе мужики такимъ образомъ выражаютъ свои понятія о блаженствѣ:

Чтобъ вошь, блоха паскудная
Въ рубахахъ не плодилась,
Потребовалъ Лука.
— Не прѣли бы онученьки,
Потребовали Губины...

Всякій согласится, что русскій народный букетъ вышелъ тутъ покрѣпче „смѣси водки, конюшни и пыли", и что до г. Некрасова одинъ только г. Рѣшетниковъ возвышался до подобнаго *реализма* изображеній... Не дурны также краски, которыми г. Некрасовъ рисуетъ сельскихъ ловеласовъ и прелестницъ:

Куда же ты, Оленушка?
Постой, еще дамъ пряничка,
Ты, какъ блоха проворная,
Наѣлась и упрыгнула,
Погладить не далась!
....

Эй, парень, парень глупенькій,
Оборванный, паршивенькій,
Эй, полюби меня,
Меня простоволосую,
Хмельную бабу, старую,
Зааа-паа-чканую!

Въ сущности эта новая народность такъ же далека отъ настоящей, такъ же заимствована и поддѣльна, какъ народность *Огородника;* но новыя краски на палитрѣ г. Некрасова очень хорошо указываютъ, въ какую сторону направились современные литературные вкусы.

Общественныя задачи, о которыхъ такъ много любитъ говорить современная журналистика и за равнодушіе къ которымъ она такъ горько упрекаетъ беллетристовъ предыдущей эпохи, неминуемо должны были сузиться при томъ пониженіи идей и понятій, которое настало въ журналистикѣ съ начала шестидесятыхъ годовъ. Мы уже говорили, что общія идеи блага, добра, правды, такъ-называемые общіе гражданскіе мотивы, уступили мѣсто мелкимъ, спеціализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла. У г. Некрасова есть цѣлая серія стихотвореній, посвященныхъ этимъ темамъ, то-есть, внѣшнимъ судьбамъ нашего печатнаго слова. Выходитъ, напримѣръ, новый цензурный уставъ, г. Некрасовъ тотчасъ пищетъ стихотвореніе, въ которомъ типографскій разсыльный слѣдующимъ либерально-водевильнымъ образомъ воспѣваетъ этотъ фактъ:

Баста ходить по цензурѣ,
Ослобонилась печать,
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ
Только и носимъ статьи...
Словно повысились въ чинѣ,
Ожили дѣтки мои!
Каждый теперича кротокъ,
Ну, дали намъ-то расчетъ:
На восемь гривенъ подметокъ
Меньше износится въ годъ!

Въ фактѣ отмѣны предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсыльнаго, что

„авторы наши въ натурѣ стали статейки пущать", и что дядя Минай по этому случаю износитъ менѣе подметокъ. Въ другомъ стихотвореніи, *Наборщики*, этотъ нѣсколько странный взглядъ на свободную печать выраженъ г. Некрасовымъ еще конкретнѣе: отмѣна цензуры оказывается важною потому, что наборщикамъ дорогъ порядокъ, и они радуются что впередъ не придется переверстывать наборъ вслѣдствіе цензурныхъ помарокъ.

Въ работѣ безпорядокъ
Намъ сокращаетъ вѣкъ.
И лишній рубль не сладокъ,
Какъ боленъ человѣкъ...
Но вотъ свобода слова
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково,
Авось, пойдутъ дѣла!

Ужъ не иронизируетъ ли г. Некрасовъ, и не хочетъ ли сказать, что отмѣна цензуры подѣйствовала на безтолковость петербургской печати только въ томъ смыслѣ, что наборъ стали верстать сразу?

Отдавъ поэтическое привѣтствіе новому факту, г. Некрасовъ продолжаетъ тщательно отмѣчать по газетамъ дѣйствіе этого факта въ жизни. Онъ узнаетъ, напримѣръ, что было нѣсколько процессовъ по дѣламъ печати, и пишетъ на эту тему стихотвореніе: *Осторожность*. Попалось ему въ газетахъ свѣдѣніе, что какая-то книга уничтожена по приговору суда, и у него готово стихотвореніе:

Пропала книга! Ужъ была
Совсѣмъ готова—вдругъ пропала, и т. д.

Тутъ опять его поражаетъ не внутреннее содержаніе факта, а нѣкоторый, такъ сказать, внѣшній безпорядокъ явленія. Его безпокоитъ мысль, что вѣдь, можетъ быть, въ книгѣ слѣдовало выкинуть всего только „двѣ-три страницы роковыя", а остальное дозволить, а между тѣмъ уничтожена вся книга, и такимъ образомъ

Затраченъ даромъ капиталъ,
Пропали хлопоты большія.

Если бы судъ вырѣзалъ только двѣ-три странички, капиталъ пропалъ бы небольшой, хлопоты также вышли бы умѣренныя, и поэтъ „свободнаго слова“, вѣроятно, совершенно бы успокоился. Что жъ, у всякаго своя точка зрѣнія, и г. Некрасовъ имѣетъ полное право смотрѣть на уничтоженіе книги со стороны „затраченнаго даромъ капитала“. Только напрасно онъ полагаетъ, что эту точку зрѣнія съ нимъ „раздѣлитъ вся Россія“.

Тема показалась г. Некрасову настолько благодарною, что онъ возвратился къ ней въ длинномъ стихотвореніи *Судъ*, названномъ имъ „современною повѣстью“. Въ этой вялой повѣсти, написанной стихами оперетокъ Александринскаго театра, разсказывается, какъ къ писателю явился въ полночь полицейскій чиновникъ, требуя его на судъ за предосудительныя мѣста въ его книгѣ. Конечно, это только поэтическая вольность, потому что требованіе къ гласному суду передается авторомъ болѣе простымъ порядкомъ, безъ таинственныхъ звонковъ въ полночь и безъ полицейскихъ офицеровъ со „звукомъ шпоръ“. Но дѣло не въ этомъ. Судъ присуждаетъ автора къ мѣсячному тюремному заключенію, во время котораго злосчастнаго узника донимаютъ блохи, клопы, запахъ тютюна и разговоры какого-то либеральнаго гвардейскаго офицера. Г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ заканчиваетъ свою повѣсть:

Блоха—безсонница - тютюнъ—
Усатый офицеръ болтунъ—
Тютюнъ—безсонница—блоха—
Все это мелочь, чепуха!
Но вѣришь ли, читатель мой!
Такъ иногда съ блохами бой
Былъ тошенъ; смрадомъ тютюна
Такъ жизнь была отравлена,
Такъ больно клопъ меня кусалъ,
И такъ жестоко донималъ
Что день, то новый либералъ—
Что я закаялся писать...

Итакъ, попади осужденный авторъ на такую гауптвахту, гдѣ нѣтъ блохъ и клоповъ, гдѣ сторожа, вмѣсто тютюна, курятъ папиросы братьевъ Петровыхъ, и гдѣ къ заключеннымъ не

являются для либеральныхъ бесѣдъ гвардейскіе офицеры, герой „современной повѣсти“, надо думать, былъ бы совершенно доволенъ, а г. Некрасовъ совершенно спокоенъ.

Относясь самъ такимъ внѣшнимъ образомъ къ духовнымъ интересамъ общества и литературы, г. Некрасовъ требуетъ отъ русскаго народа весьма не малаго. Въ поэмѣ его: *Кому на Руси жить хорошо*, мы находимъ слѣдующія пожеланія, на этотъ разъ даже не заимствованныя изъ газетныхъ фельетоновъ, потому что и фельетоны въ наше время стали смотрѣть на жизнь гораздо трезвѣе:

Эхъ, эхъ! придетъ ли времечко,
Когда (приди желанное!...)
Дадутъ понять крестьянину,
Что рознь портретъ портретику,
Что книга книгѣ рознь?
Когда мужикъ не Блюхера
И не милорда глупаго —
Бѣлинскаго и Гоголя
Съ базара понесутъ?
Ой, люди, люди русскіе!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великія,
Носили ихъ, прославили
Заступники народные!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,
Ихъ книги прочитать...

Къ сожалѣнію, при совершенномъ паденіи журналистики, кругъ журнальныхъ и газетныхъ темъ весьма ограниченъ, и г. Некрасовъ, видимо, испытываетъ затрудненіе въ пріисканіи сюжетовъ для своей поэтической дѣятельности. Изъ толстыхъ журналовъ совсѣмъ исчезла публицистика, притокъ новыхъ идей прекратился, старыя опошлились и замкнулись въ либеральную формалистику. При такомъ положеніи дѣлъ г. Некрасовъ нашелъ весьма удобнымъ эксплуатировать старый историческій фактъ, именно 14 декабря 1825 года, вѣроятно разсчитывая, что интересъ событія возмѣститъ бѣдность поэтическаго творчества и искупитъ

прозаичность стиха, уже не „суроваго и неуклюжаго“, а водянистаго и вялаго. Половина вышедшаго недавно пятаго тома стихотвореній г. Некрасова посвящена 14-му декабря. Тутъ мы находимъ поэму *Дѣдушка*, въ которой разсказывается, какъ внукъ декабриста все разспрашивалъ папеньку, гдѣ его дѣдъ, и какъ самъ дѣдушка, наконецъ, вернулся домой, но на всѣ вопросы любопытнаго внука отвѣчаетъ: „Выростешь, Саша, узнаешь...“ Разсказъ пересыпанъ самымъ прозаическимъ благомысліемъ, въ родѣ:

Зрѣлище бѣдствій народныхъ
Невыносимо мой другъ,
Счастье умовъ благородныхъ
Видѣть довольство вокругъ...

Или:

Солнце не вѣчно сіяетъ,
Счастье не вѣчно везетъ;
Каждой странѣ наступаетъ
Рано иль поздно чередъ,
Гдѣ не покорность тупая—
Дружная сила нужна;
Грянетъ бѣда роковая—
Скажется мигомъ страна.
Единодушье и разумъ
Всюду дадутъ торжество—
Да не придутъ они разомъ,
Вдругъ не создать ничего, — и т. д.

Эта азбучная мораль, не лишенная нѣкотораго политическаго и претензіоннаго оттѣнка, лучше всего свидѣтельствуетъ, до какой степени истощилось содержаніе петербургской прогрессивной литературы: г. Некрасовъ, такъ горячо возстававшій нѣкогда противъ морали прописей, кончаетъ тѣмъ, что самъ обращается къ ней, не находя болѣе пищи въ нѣкогда вдохновлявшей его журналистикѣ.

Двѣ поэмы, подъ общимъ названіемъ *Русскія женщины*, эксплуатируютъ тотъ же историческій фактъ. Содержаніе обѣихъ поэмъ совершенно одинаково: въ одной княгиня Т—ая, въ другой княгиня В—ая, растутъ въ богатомъ родительскомъ домѣ, выходятъ замужъ, мужья ихъ попадаютъ въ катастрофу 14-го декабря и ссылаются въ Сибирь. Жены

рѣшаются ѣхать вслѣдъ за ними, чтобы раздѣлить ихъ изгнаніе, превозмогаютъ всѣ трудности пути, всѣ препятствія, поставляемыя имъ людьми и природою, и наконецъ соединяются съ мужьями въ сибирскихъ рудникахъ. Такова историческая канва обѣихъ поэмъ; неблагодарною ее, конечно, нельзя назвать, и попадись она въ руки поэта, дарованіе котораго не выдохлось до такой степени, какъ дарованіе г. Некрасова, наша поэзія могла бы обогатиться произведеніемъ высокаго художественнаго интереса. Къ сожалѣнію, сюжетъ оказался не по силамъ г. Некрасову, и все, что въ его поэмахъ не относится прямо къ историческому факту, поражаетъ плоскостью и сухостью. Это произошло, конечно, оттого, что самаго сюжета г. Некрасовъ, почти не коснулся, почувствовавъ только тенденціозную его сторону. Внутреннее содержаніе факта не открылось г. Некрасову, не прошло черезъ горнило поэтическаго творчества; онъ удовольствовался тѣмъ, что разрубилъ внѣшнюю фабулу разсказа на риѳмованныя строки—остальное должна сдѣлать тенденція. *Направленіе* удовлетворено—чего же больше?

Можно пойти далѣе и доказать, что г. Некрасовъ своимъ прикосновеніемъ даже испортилъ сюжетъ. Поэзія—вещь весьма опасная, и когда поэтъ въ данную минуту не находитъ въ себѣ поэтическихъ струнъ, гораздо лучше прекратить риѳмованную рѣчь и передать фактъ въ безыскусственной простотѣ прозы. Неудачный стихъ всегда въ тысячу разъ прозаичнѣе прозы; а у г. Некрасова въ *Русскихъ Женщинахъ* столько неудачныхъ стиховъ, что поэзія самаго факта исчезаетъ въ нихъ, и героини поэмъ независимо отъ авторской воли являются почти въ кариктурномъ видѣ. Какой поэтическій образъ не потерпитъ ущерба, когда ее заставляютъ выражаться такими рогатыми виршами:

Теперь разскажу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую побѣду.
Вся дружно и грозно возстала семья,
Когда я сказала: „я ѣду!“
. . . .
Когда собрались мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:
„На что ты рѣшилась? — Я ѣду!

Конечно, никогда болѣе драматическое движеніе поэтической женской души не было выражено такими плоскими стихами... Г. Некрасовъ пытается даже нарисовать внѣшній образъ своей героини и заставляетъ ее говорить себѣ:

Сказать ли вамъ правду? Была я всегда
Въ то время царицею бала:
Очей моихъ томныхъ огонь голубой
И черная съ синимъ отливомъ
Большая коса, и румянецъ густой
На личикѣ смугломъ, красивомъ,
И ростъ мой высокій, и гибкій мой станъ,
И гордая поступь — плѣняли
Тогдашнихъ красавцевъ...

Хотя можно призадуматься надъ *огнемъ томныхъ* очей, но приведенныя строки еще ничѣмъ не оскорбляютъ чувства красоты. Но г. Некрасовъ заставляетъ героиню дополнить свой портретъ слѣдующими неумѣстными и плоскими чертами:

Училась я много; на трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, и пѣла,
Я даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совсѣмъ не умѣла.

Эту характеристику поэтъ дополняетъ еще такою картинкой:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая!
. . . .
Дорога безъ снѣгу—въ телѣгѣ! Сперва
Телѣга меня занимала,
Но скоро потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть телѣги узнала.
Узнала и голодъ на этомъ пути;
Къ несчастію, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего не возможно найти,
Что почту Буряты держали.

Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый
Въ Иркутскѣ замѣтилъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! я рада была
И вкуснымъ пельменямъ, *и банѣ*...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его на диванѣ...

Съ этою картинкой можетъ поспорить только нарисованный тѣмъ же г. Некрасовымъ сибирскій пейзажъ съ инородцемъ, поющимъ на *странномъ* языкѣ:

Луна плыла среди небесъ
Безъ блеска, безъ лучей,
Налѣво былъ угрюмый лѣсъ,
Направо—Енисей.
Темно! На встрѣчу ни души,
Ямщикъ на козлахъ спалъ,
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
Пронзительно стоналъ,
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
Играя на рѣкѣ,
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ
На странномъ языкѣ (?)...

Приведенныхъ выдержекъ, мы полагаемъ, вполнѣ достаточно, чтобы читатели могли судить, какую ничтожность представляютъ *Русскія Женщины* въ отношеніи не только художественномъ, но даже просто литературномъ. Но г. Некрасовъ, очевидно, и не заботился ни о томъ ни о другомъ. Вѣрный всякому новому журнальному толчку, г. Некрасовъ въ настоящее время, безъ сомнѣнія, исповѣдуетъ идею, настойчиво проводимую г. Пыпинымъ и всею вообще петербургскою печатью—идею, по которой отъ писателя ничего болѣе не требуется, кромѣ *направленія*. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи сюжетъ *Русскихъ Женщинъ* оказался пригоднымъ—пригоднымъ, конечно, въ весьма условномъ смыслѣ, такъ *какъ между об*щественнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ

и журнальными теченіями нашего времени нѣтъ ничего общаго. Остальное должны довершить нѣкоторыя придаточныя подробности, введенныя поэтомъ, очевидно, въ прямомъ расчетѣ именно на журнальныя теченія нашихъ дней. Такъ, напримѣръ, въ Иркутскѣ губернаторъ убѣждаетъ княгиню Т—ую отказаться отъ ея намѣренія и вернуться назадъ. Видя ея непреклонность, онъ грозитъ ей предстоящими ей ужасами, и наконецъ объявляетъ, что если она желаетъ ѣхать далѣе къ мужу, то должна подписать отреченіе отъ своихъ дворянскихъ и гражданскихъ правъ. Поэтъ заставляетъ княгиню отвѣтить на это слѣдующимъ образомъ:

„У васъ сѣдая голова,
А вы еще дитя.
Вамъ наши кажутся права
Правами — не шутя.
Нѣтъ! ими я не дорожу.
Возьмите ихъ скорѣй!
Гдѣ отреченье? Подпишу!
И живо—лошадей!“

Княгиня В — ая встрѣчаетъ въ дорогѣ идущій изъ Сибири транспортъ серебра, сопровождаемый военнымъ конвоемъ.

Вошелъ молодой офицеръ; онъ курилъ,
Онъ мнѣ не кивнулъ головою,
Онъ какъ-то надменно глядѣлъ и ходилъ,
И вотъ я сказала съ тоскою:
„Вы видѣли, вѣрно... Извѣстны ли вамъ
Тѣ... жертвы декабрьскаго дѣла...
Здоровы они? каково-то имъ тамъ?
О мужѣ я знать бы хотѣла...“
Нахально ко мнѣ повернулъ онъ лицо—
Черты были злы и суровы —
И выпустивъ изо-рту дыму кольцо,
Сказалъ: „несомнѣнно здоровы,
Но я ихъ не знаю, и знать не хочу,
Я мало ли каторжныхъ видѣлъ?“

Черта маленькая, но она заслуживаетъ упоминанія потому что характеризуетъ несвободность мысли, для которой къ извѣстнымъ явленіямъ, типамъ и единицамъ какъ бы

обязательны именно тѣ, а не другія отношенія. Конвойный офицеръ въ современной беллетристикѣ непремѣнно долженъ быть изображенъ *монстромъ*.

Несвободныя отношенія печатнаго слова къ жизни составляютъ главный недугъ нашего современнаго положенія. Въ духовной области нашей исчезло творчество, и мы питаемся тенденціей. Но тенденція не можетъ замѣнить литературу, такъ же какъ ремесло не можетъ замѣнить искусства; тенденція всегда будетъ игомъ для духовной дѣятельности, и мы видѣли, какимъ зловѣщимъ образомъ это иго порабощаетъ писателей съ задатками дарованія.

Упомянутый недугъ нашъ ведетъ начало не со вчерашняго дня. Первые симптомы его провидѣлъ еще Пушкинъ, и въ послѣдніе годы своей жизни сознательно съ ними боролся. Ихъ провидѣлъ и другой поэтъ той же эпохи, Мицкевичъ. На своихъ лекціяхъ въ Collège de France, а также въ весьма интересной статьѣ въ журналѣ Le Globe 1837 года, Мицкевичъ очень ясно выражаетъ мысль, что для русской литературы только въ лицѣ Пушкина открывались далекіе горизонты, и что со смертію Пушкина русская литература кончилась. „Въ той эпохѣ, о которой говоримъ, писалъ Мицкевичъ въ упомянутой статьѣ, онъ (Пушкинъ) прошелъ только часть того поприща, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣтъ. Знавшіе его въ это время замѣчали въ немъ большую перемѣну. Вмѣсто того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые нѣкогда занимали его исключительно, онъ нынѣ болѣе любилъ вслушиваться въ разсказы народныхъ былинъ и пѣсней и углубляться въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательно покидалъ чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно разговоръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будущихъ твореній его, становился обдуманнѣе и степеннѣе. Очевидно, поддавался онъ внутреннему преобразованію... Что происходило въ душѣ его? Принимала ли она безмолвно въ себя дуновеніе этого духа, который животворилъ созданія Манцони, Пеллико, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія Томаса Мура, также замолкшаго?

Какъ бы то ни было, я былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія для русской литературы. Я ожидалъ, что скоро явится онъ на сценѣ человѣкомъ новымъ, въ полномъ могуществѣ своего дарованія, созрѣвшимъ опытностію, укрѣпленнымъ въ исполненіи предначертаній своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлили со мною эти ожиданія. Выстрѣлъ изъ пистолета уничтожилъ всѣ надежды"*). На лекціяхъ въ Парижѣ, разсказавъ о смерти Пушкина, Мицкевичъ говорилъ такимъ образомъ: „Такова была кончина русской литературы, образовавшейся подъ вліяніемъ Петра Великаго. Конечно, остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ русская литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, этотъ человѣкъ, столь ненавидимый и преслѣдуемый всѣми партіями; онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. Кто же замѣнитъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ? Пушкинъ не былъ ли всѣхъ умнѣе? Пѣвцы сонетовъ и балладъ? Пушкинъ далеко превзошелъ ихъ. На какой новый путь попытаются вступить они? Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвинуться на шагъ впередъ: русская литература на долгое время заторможена"**).

Мнѣніе высказано Мицкевичемъ очень рѣзко, но можемъ ли мы отказать ему вовсе въ основательности? Онъ смотрѣлъ на литературу, конечно, не съ той точки зрѣнія, съ какой смотритъ на нее г. Пыпинъ. Мицкевичъ понималъ литературу въ смыслѣ высшаго духовнаго творчества, въ какомъ она завѣщана классическою древностью, въ какомъ она является въ твореніяхъ Данте, Шекспира, Гёте и Байрона. Въ этомъ смыслѣ было ли у насъ что-нибудь сдѣлано послѣ Пушкина?

Значеніе Пушкинской поэмы, уровень Пушкинской эпохи для насъ еще не совсѣмъ ясны. Развитіе письменности въ послѣдующее время представляется намъ неоспоримымъ и всеобнимающимъ успѣхомъ; мы охотно вѣримъ,

---

*) *„Русскій Архивъ“*, 1873, іюнь, стр. 1068 и 1069.

**) Тамъ же, стр. 1079.

что Пушкинъ былъ только поэтъ въ ограниченномъ значенiи этого слова, тогда какъ тотъ же Мицкевичъ свидѣтельствуетъ о томъ, что „когда говорилъ онъ о политикѣ внѣшней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человѣка заматерѣвшаго въ государственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго ежедневнымъ чтенiемъ парламентскихъ пренiй“*). Мы представляемъ себѣ наши тридцатые года временемъ умственнаго дилетантизма, и начинаемъ исторiю нашей духовной возмужалости съ появленiемъ Бѣлинскаго. Но люди, бывшiе живыми свидѣтелями той эпохи, говорятъ о ней иначе. „Вспоминая всю обстановку того времени,—выражается одинъ изъ ветерановъ русской литературы,—все это движенiе мыслей и чувствъ, переносишься не въ дѣйствительное минувшее, а въ какую-то баснословную эпоху. Личности, присутствiемъ своимъ озарявшiя этотъ мiръ, исчезли, жизнь утратила поэтическое зарево, которымъ она тогда отцвѣчивалась, улетучились, выдохлись благоуханiя, которыми былъ пропитанъ воздухъ этихъ ясныхъ и обаятельныхъ дней. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованiя о минувшемъ, почти похожiя на досадливыя порицанiя настоящаго? Надѣюсь, что нѣтъ“**).

Восходя къ Пушкинскому перiоду нашей поэзiи, мы видимъ постепенное пониженiе ея уровня при каждомъ послѣдующемъ поколѣнiи. Сперва продолжается разработка Пушкинскихъ темъ, то-есть, дѣйствуютъ тѣ „пѣвцы сонетовъ и балладъ“, о которыхъ Мицкевичъ съ горестью вопрошаетъ: Пушкинъ не былъ ли умнѣе ихъ? Пушкинъ не превзошелъ ли ихъ? Потомъ къ этимъ Пушкинскимъ темамъ примѣшивается осадокъ горькаго, разочарованнаго чувства, печальное показанiе, насколько эпоха сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ была далеко отъ бодрыхъ упованiй и свѣтлыхъ идеаловъ Пушкинскаго времени. Затѣмъ поэзiя падаетъ окончательно и претерпѣваетъ величайшее униженiе, становясь подспорьемъ и служебнымъ орудiемъ крохотныхъ журнальныхъ идеекъ. Вмѣсто Пушкина, наше время даетъ намъ г. Некрасова.

---

*) *„Русскiй Архивъ“*, 1873 г., iюнь, стр. 1070.

**) *Тамъ же стр.* 1086.

Нѣтъ причины думать, что это быстрое пониженіе духовнаго уровня есть окончательный и неотмѣнимый результатъ матеріальнаго прогресса, составляющаго содержаніе послѣднихъ десятилѣтій. Но нужно много времени, много упорнаго труда, много благопріятныхъ обстоятельствъ и счастливыхъ вліяній, чтобы поднять нашъ художественный и нравственный уровень до той высоты, на какой стоялъ онъ въ эпоху Пушкина.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Поэзія журнальныхъ мотивовъ! Подъ этимъ заглавіемъ въ 6-й книжкѣ „Русскаго Вѣстника" помѣщенъ разборъ всей поэтической дѣятельности г. Некрасова, „черпавшаго свое вдохновеніе изъ самаго сомнительнаго источника—петербургскаго журнализма". Въ то время, говоритъ авторъ, скрывшійся подъ буквою А., какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія изъ вторыхъ рукъ, вырабатывалъ свою поэзію въ редакціяхъ и служилъ какъ бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики".

Итакъ критикъ констатируетъ прежде всего тотъ несимпатичный ему фактъ, что поэтъ черпаетъ свое вдохновеніе въ редакціяхъ. Критику хотѣлось бы, что явствуетъ изъ общаго смысла его статьи, чтобы поэтъ черпалъ это вдохновеніе или въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства. Въ разсужденіи этихъ источниковъ болѣе всего удовлетворяетъ критика г. Фетъ. Онъ приводитъ нѣсколько стихотвореній изъ г. Фета и умиляется передъ прелестью Фетовой поэзіи. „Томительная нѣга", „невысказанныя муки", „непонятныя слезы", „несказанныя стремленія", какая-то „малютка изъ серебристо-снѣжнаго сіянія зимней ночи"—весь этотъ эстетическій мистицизмъ г. Фета авторъ предпочитаетъ „поэзіи журнальныхъ мотивовъ". Конечно, онъ, рѣшаясь называть Некрасовскую поэзію поэзіей, на-

---

*) „Одесскій Вѣстникъ" 1873 г., № 196., „Очерки современной журналистики". Статья С. Г. В. (С. Т. Герцъ-Виноградскаго).

свистанной журнальными мотивами, не рѣшается назвать Фетовскую поэзію поэзіей, насвистанной эстетическимъ мистицизмомъ. Онъ знаетъ, что уже вывелись добродушные и довѣрчивые читатели, вѣрившіе въ поэта, какъ жреца Аполлона, святая лира котораго молчитъ до тѣхъ поръ, пока „божественный глаголъ до слуха чуткаго коснется". И только тогда, когда этотъ „глаголъ" коснется поэта, послѣдній имѣетъ право риѳмовать свою „томительную тоску" и „несказанныя стремленія".

Тогда

Бѣжитъ онъ дикій и суровый
И звуковъ и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ
Въ широко-шумныя дубравы.

Г. Фетъ такъ и дѣлаетъ. Онъ, напр., въ стихотвореніи „Весеннія Мысли" бѣжитъ „къ берегамъ, расторгающимъ ледъ", гдѣ „солнце теплое ходитъ высоко и душистаго ландыша ждетъ"; тамъ у поэта кровь восходитъ до ланитъ, и онъ восклицаетъ:

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабѣю*,
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

„Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разсудокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье", говоритъ по поводу этого четверостишія критикъ.

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!

Теперь я спрашиваю читателя, какой источникъ лучше: „божественный глаголъ" или „редакція"? Если второй источникъ сомнителенъ, то первый не оставляетъ никакого сомнѣнія относительно своей недоброкачественности. Конечно, подъ журнальными мотивами критикъ разумѣетъ мотивы, дѣланные, придуманные. Пусть такъ. Но развѣ для того, чтобы придумать умную мысль, не нужно быть умнымъ человѣкомъ. Но развѣ для того, чтобы передать умную мысль и наэлектризовать ею читателя, не нужно таланта? Человѣкъ, *которому* приходятъ въ голову умныя мысли, или *который умѣетъ* откликаться на умныя мысли, задержать

ихъ въ своей головѣ, разработать и отлить въ поэтическую форму, гораздо выше человѣка, носящагося, можетъ быть, и съ весьма умными, но тѣмъ не менѣе „невысказанными“ мыслями. Не знаю, кто насвисталъ г. Некрасову (конечно, не Аполлоновскій глаголъ) такія вещи, какъ „У параднаго подъѣзда“, „Пѣсня Еремушки“, „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“, „Желѣзная Дорога“, „На Волгѣ“, „Морозъ—красный носъ“, „Русскія Женщины“ и много другихъ, но знаю, что „скорбное томленіе души и поэтическое чувство“ вылилось въ этихъ произведеніяхъ, какъ плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Конечно, въ этихъ произведеніяхъ вы не найдете того, что находилъ Бѣлинскій у Пушкина, вы не найдете ни античной пластики, ни удивительнаго акустическаго богатства, ни сладостной нѣги, ни ропота волны, ни яркости молніи, ни прозрачности кристалла, ни благовонія и душистости весны, ни могучески богатырскаго меча, но вы найдете въ нихъ то нѣчто, что будитъ и шевелитъ вашу мысль, что цивилизуетъ ваши инстинкты, что воспитываетъ въ васъ соціальнаго человѣка, что подвигаетъ васъ къ извѣковѣчнымъ идеаламъ, держащимъ въ тревогѣ человѣчество.

Критикъ все это игнорируетъ и казнитъ поэта нѣсколькими стихотвореніями, которыя онъ называетъ водевильно-сатирическими, а именно „чиновникомъ, оставляющимъ съ сильнымъ міра сего съ глазу на глазъ красавицу—дочь“, „бюрократомъ, живущимъ согласно съ строгой моралью и подкарауливающимъ похожденія своей жены, чтобы уличить ее съ полиціей“, „помѣщикомъ, рыскающимъ по полямъ съ борзыми и ломающимъ ребра встрѣчнымъ“ и т. д. Подтасовавъ такимъ образомъ всю поэтическую колоду г. Некрасова и сдавъ читателю однѣ поэтическія двойки, критикъ говоритъ: „таковы постоянныя любимыя темы стихотвореній г. Некрасова, которыя содѣйствовали упроченію его литературной славы“.

Въ остальномъ критика носитъ характеръ самой дѣтской придирчивости. Напр., цитируется стихотвореніе поэта:

....Громъ ударилъ; буря стонетъ
И снасти рветъ, и мачту клонитъ.

Не время пѣсни распѣвать.
Вотъ песъ—и тотъ опасность знаетъ,
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ.

Метафору поэта критикъ понялъ буквально, и восклицаетъ; „Однако, что лучше: пѣсни пѣть, или лаять псомъ на вѣтеръ?“ Ну скажите, можно ли такого критика читать серьезно. Вся статья „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“ есть рядъ дѣтскихъ придирокъ къ г. Некрасову. Чтобы не показаться читателю голословнымъ, приведу еще одну—другую выдержку. „Въ фактѣ отмѣны предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсыльнаго, что

Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.

и что типографскимъ разсыльнымъ

На восемь гривенъ подметокъ
Меньше износится въ годъ“.

Неужели г. А. хочется, чтобы поэтъ въ эту минуту *ослабѣлъ разумомъ* и написалъ подъ вліяніемъ „прилива“ свободы какую - нибудь несоотвѣтствующую случаю штуку. Чѣмъ виноватъ поэтъ, что онъ не почувствовалъ „прилива“, и въ фактѣ отмѣны предварительной цензуры увидѣлъ только удобства для типографскаго разсыльнаго? Или: Читателямъ, конечно, памятно стихотвореніе г. Некрасова: „Судъ“. Въ этомъ стихотвореніи судъ присуждаетъ автора къ тюремному заключенію, во время котораго автора донимаютъ блохи, клопы, запахъ тютюна и т. п. и донимаютъ такъ больно, что авторъ даетъ обѣтъ не писать.

„Попади авторъ на лучшую гауптвахту, онъ, значитъ, былъ бы совершенно доволенъ“, говоритъ г. А., нарочито забывающій, какую предварительную душевную пытку вынесъ авторъ. И. т. д. въ этомъ родѣ.

С. Т. *Герцъ-Виноградскій.*

*) Стихотворенія Некрасова. Часть пятая. Петербургъ, 1873 г. Цѣна 2 рубля.

Среди всеобщаго запустѣнія нашей современной литературы отрадно встрѣтить то неподдѣльное чувство, тѣ поэтическія мѣста и художественные образы и картины, которые рисуются намъ въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова. Недавно вышедшая пятая часть его стихотвореній показываетъ намъ, что талантъ нашего поэта-реалиста не ослабѣваетъ. Произведенія его съ годами получаютъ даже большую стройность и законченность. Второй отдѣлъ, если такъ можно назвать его „Русскихъ Женщинъ", именно княгиня В. Н. Вол—ская, долженъ быть поставленъ выше большей части прежнихъ произведеній, за исключеніемъ развѣ только знаменитаго „Параднаго Подъѣзда". Въ этой пятой части его стихотвореній помѣщены слѣдующія произведенія: „Кому на Руси жить хорошо?"—прологъ и первыя пять главъ, „Стихотворенія, посвященныя русскимъ дѣтямъ" (I. „Дѣдушка Мазай и зайцы, II „Соловьи"); „Дѣдушка"—поэма (1857 годъ), „Недавнее Время" — очерки, „Русскія Женщины" I. Княгиня Т-ая, поэма въ 2 частяхъ (1826 года); II. Княгина В—ая. Бабушкины записки (1826—27 г.).

Какъ видно изъ этого перечня, въ пятой части, въ противоположность первымъ четыремъ частямъ стихотвореній г. Некрасова, преобладаютъ произведенія болѣе крупныя по размѣру и болѣе обширныя по задуманному плану. Всѣ они написаны въ послѣднее время, въ періодѣ отъ 1865 по 1872 г., по крайней мѣрѣ, судя по выставленнымъ подъ ними самимъ авторомъ цифрамъ, и печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ". Во всѣхъ нихъ, въ разныхъ мѣстахъ, замѣтно довольно искреннее чувство симпатіи къ простому человѣку, видна любовь къ „несчастному русскому народу" и сочувствіе поэта его страданіямъ. Немало бытовыхъ сценъ и характерныхъ картинъ нашихъ нравовъ и различныхъ сторонъ походной жизни рисуется, напримѣръ, въ художественномъ, хотя и написанномъ стихами безъ рифмъ, произведеніи—„Кому на Руси жить хорошо?" „Ярмарка", „Пьяная Ночь"—

*) „Сіяніе" 1873 г., № 17.

прежній быть помѣщиковъ крайне хорошо и вѣрно съ дѣйствительностью, такъ же какъ и вѣрны слова, которыми кончается напечатанная часть этого произведѐнія:

Порвалась цѣпь великая,
Порвалась,—разскочилася:
Однимъ концомъ по барину,
Другимъ по мужику!..

Въ очеркахъ „Недавнее Время“ авторъ бросаетъ взглядъ назадъ, на то время, когда мы готовились къ реформамъ и когда только наступила первая изъ нихъ—крестьянская, на то время, про которое блаженной памяти оптимисты шестидесятыхъ годовъ начинали говорить или писать не иначе, какъ извѣстной фразой: „въ настоящее время, когда“... (слѣдовало перечисленіе реформъ и различныхъ благъ, излившихся на русскую землю); они считали это время чѣмъ-то прочнымъ, незыблемымъ, временемъ, которое не можетъ пройти для насъ почти безслѣдно. А между тѣмъ десять лѣтъ спустя, г. Некрасовъ могъ справедливо воскликнуть, обращаясь къ нему:

Благодатное время надеждъ!..
Да, прошедшимъ и ты уже стало!

Говоря объ общемъ увлеченіи молодежи того времени и о тѣхъ обвиненіяхъ и укорахъ, которые сыпались на ея голову, поэтъ замѣчаетъ.

Правда, правда! Народъ молодой
Бралъ подчасъ непосильныя роли.
Помолчать бы вамъ лучше, глупцы,
Да рѣшеньемъ вопроса заняться:
Таковы ли бываютъ отцы,
Отъ которыхъ герои родятся?..

Но самыя поэтическія мѣста встрѣчаются, безъ сомнѣнія, въ поэмѣ „Русскія Женщины“. Напримѣръ, прочтите хоть монологъ княгини В—ской, обращенной къ русскому народу, — къ тому простому народу, который она узнала и оцѣнила только во время своего несчастія. Онъ начинается словами:

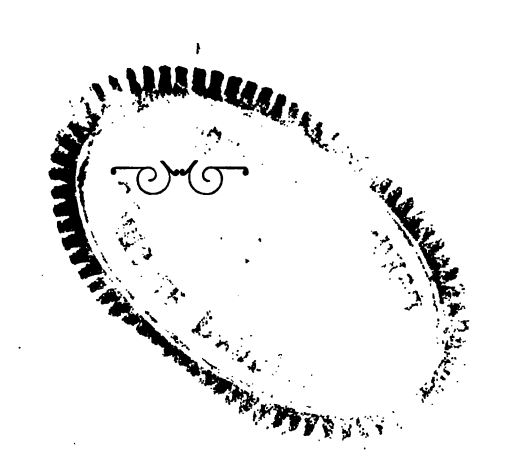
...Хочу я сказать
Спасибо вамъ, русскіе люди!

и кончается этимъ прекраснымъ мѣстомъ полнымъ грусти, благодарности и энергіи:

Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки!
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!
Спасибо!... считали свой трудъ ни во что
Для насъ эти люди простые;
Но горечи въ чашу не подлилъ никто,—
Никто изъ народа, родные!..

Да, за подобныя прекрасныя мѣста поэту можно отпустить многія изъ его прегрѣшеній.

Изъ „Сіянія“ 1873 года.



*) Еще за 1873 г. см. о Некрасовѣ: въ „Вѣстникѣ Европы“, № 3 (библіографическая замѣтка на оберткѣ): „Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ“. Хрестоматія для всѣхъ. Изд. Гербеля, стр. 536 — 538. Спб.

Примѣч. В. Зелинскаго.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

писателей, литературныхъ произведеній и названій газетъ и журналовъ, встрѣчающихся на страницахъ второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ".

Авдѣева. 4.
Авсѣенко, В. 86—90, 148—150, 151—153, 162—197, 200.
Аксаковъ. 2, 6.
Алмазовъ. 50.
Андреевъ, И. 58, 86.
Антоновичъ, М. 44, 45.
„Баба-Яга". 129, 130.
Бальзакъ. 93.
Бартеневъ. 135.
Батюшковъ. 166.
Байронъ. 195.
Бергъ. 45.
„Библіотека для Чтенія". 14, 28, 145.
„Биржевыя Вѣдомости". 35, 44, 160—162.
Блюхеръ. 188.
Боборыкинъ. 98.
Бокль. 79.
Боткинъ, В. 43, 86.
Булгаринъ. 2, 105, 110.
Буренинъ, В. 57, 127—132—141, 146, 157—160.
„Бэда Проповѣдникъ", Полонскаго. 51.
Быковъ, В. 25.
„Бѣдная Лиза", Карамзина. 60.
Бѣлинскій. 41, 45, 58, 59, 86, 91, 128, 180, 181, 182, 188.
Вагнеръ. 34.
Велинскій, М. 36—41.
„Взбаламученное Море", Писемскаго. 92, 93.
Волконская, кн. 135, 161, 162.
Волконскій, кн. 161.
Вормсъ. 45
„Воскресный Досугъ". 21—25.
„Время". 28.
„Всемірный Трудъ". 27, 44.
„Выборъ". 27.
„Вѣстникъ Европы". 45, 181, 203.
„Вѣсть". 44.
„Въ дорогѣ". 173.
„Газетная". 62, 72.
„Генералъ Топтыгинъ". 33, 132.
Герценъ. 49.
Герцъ-Виноградскій, С. 197—200.
Гете. 38, 166, 176, 195.
Гейне. 38, 167, 171.
Гоголь. 2, 50, 99, 181, 182, 188.
„Голосъ". 28. 69.
Гончаровъ. 25, 26, 62, 91, 92, 148.
„Гражданинъ". 98.
Грановскій. 41, 43, 45.
„Графиня Монсеро". 128.
Григорьевъ, А. 86.
„Гроза", Островскаго. 154.
Дантъ. 195.
Дарвинъ. 67, 85.
„Дворянское Гнѣздо", Тургенева. 93.
„Двѣ Діаны". 128.
Декартъ. 79, 80.
Денисовичъ. 20.
„День". 2, 5, 6, 10, 13.
„Дешевая Покупка". 8.
Диккенсъ. 93.
Добролюбовъ. 5, 13, 49, 154.
„Довольно", Тургенева. 97.
„Донъ". 44.
Достоевскій. 174.

Дрозъ. 126.
Дружининъ, А. 20.
Дудышкинъ. 2.
„Дѣдушка“. 57, 189, 201.
„Дѣдушка Мазай и зайцы“. 201.
„Дѣло“. 44, 91, 127, 128, 129, 130, 131, 132.
„Желѣзная Дорога“. 199.
„Живописное Обозрѣніе“. 25.
„Живя согласно съ строгою моралью“. 26.
„Жница“. 9.
Жоржъ-Зандъ. 93.
Жуковскій. 4, 45, 165.
Жуковскій, Ю. Г. 44.
„Журналъ для дѣтей“. 15—20.
Загоскинъ. 105.
Загуляевъ, М. 27.
„Записки изъ Мертваго дома“, Достоевскаго. 174.
„Записки Охотника“, Тургенева. 93.
„Заря“. 41—44, 45, 48, 51.
Зайцевъ, В. 1—13.
Звонаревъ. 98, 99.
Золя. 126.
„Иванъ Выжигинъ“. 98.
„Извозчикъ“. 23.
„Изъ природы“, Вагнера. 34.
„Иллюстрированная Газета“. 20—21, 45—48, 86.
„Искра“. 30, 86.
„Исторія Цивилизацій“, Бокля. 79.
Каразинъ. 130, 131, 132, 150.
„Катерина“. 55.
Кашпиревъ. 97.
„Кіевскій Телеграфъ“. 36—41.
Клюшниковъ. 92.
„Книжный Вѣстникъ“. 13—14.
Козловъ. 31.
„Коломенская Роза“. 98.
„Колыбельная Пѣсня“. 14.
Кольцовъ. 21.
„Комикъ XVII столѣтія“. 154.
„Кому на Руси жить хорошо“. 36, 48, 89, 123, 151, 154, 155, 159, 162, 184, 188, 201.
Кореро. 82.
„Коробейники“. 23, 155, 161.
„Королева Марго“. 128.
„Космосъ“. 45.
Краевскій. 28, 29, 50, 151.
Крестовскій, В. 45, 113, 127, 132.
Крестовскій (псевд.). 97.
„Критика Направленій“, Соловьева. 27.
Кроль. 45.
„Кузнечикъ Музыкантъ“, Полонскаго. 51.
Кукольникъ. 97, 105.
Курочкинъ. 45, 46, 52, 61.
Лажечниковъ. 97.
„Le Globe“. 194.
Лермонтовъ. 3, 31, 132, 133, 165, 166.
„Литературное паденіе г.г. Антоновича и Жуковскаго“, И. Рождественскаго. 45.
„Литературныя Мечтанія“, Бѣлинскаго. 182.
„Литературныя Характеристики“, Пыпина. 182.
„L'homme qui rit“. 94.
„Люди сороковыхъ годовъ“, Писемскаго. 97.
Лѣсковъ. 92, 97.
Манцони. 194.
Марко-Вовчокъ. 125.
Майковъ. 1, 4, 22, 25, 26, 45, 50, 86, 162, 166, 171, 182.
„Медвѣжья Охота“. 41, 43, 46, 70, 74.
Мей. 25, 45, 86, 166.
Милль. 62.
Минаевъ. 45, 46, 52, 61, 89, 146.
Михайловскій. 142.
Мицкевичъ. 194, 195, 196.
„Морозъ-красный носъ“. 7, 9, 20, 23, 161, 199.
„Москвитянинъ“. 6.
„Муза“, Некрасова. 14.
„Муза“, Пушкина. 14.
„Муза“, Фета. 168.
Муръ, Томасъ. 194.
„Наборщики“. 186.
„На Волгѣ“. 23, 199.

„На далекихъ окраинахъ", Каразина. 130.
„Наяды", Полонскаго. 51.
„Недавнее Время". 202.
„Неизвѣстному другу", Антоновича. 45.
„Неподкрашенная Старина", ст. Ткачова. 91.
„Насжатая Полоса". 20.
„Несчастные". 161.
„Нива". 132.
„Новое Время". 48, 58—68—75—86, 141—144, 154—157.
„Новости". 145—147.
„Новый годъ". 14.
„Notre Dame de Paris". 94.
„Нужна ли намъ литература?". 180.
„Обрывъ", Гончарова. 92.
„Обыкновенная Исторія", Гончарова. 93.
„Объ отношеніяхъ Некрасова къ Бѣлинскому", И. С. Тургенева. 45.
„Огородникъ". 173, 185.
„Одесскій Вѣстникъ". 44, 197.
Омулевскій. 146.
„О погодѣ". 179.
„О преподаваніи русской литературы", В. Стоюнина. 14.
„Орина, мать солдатская". 9.
„Осторожность". 62, 186.
Островскій. 154.
„Отечественныя Записки". 2, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 89, 128, 142, 147, 148, 151, 154, 161, 201.
„Отрывки изъ путевыхъ записокъ гр. Гаранскаго". 14.
„Отцы и Дѣти", Тургенева. 45, 92, 93.
Пальминъ. 31, 45.
„Папаша". 14, 48.
Пеллико. 194.
„Петербургскій Листокъ". 179.
Печерскій, А. 174.
Писаревъ. 25, 26, 49.
Писемскій. 25, 26, 91, 92, 97, 148.
„Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ, ст. Писарева. 25, 26.
Плещеевъ. 45, 146.
Полонскій. 25, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 86, 145, 162, 166, 170.
„Портретная галлерея русскихъ дѣятелей". 44.
Постный (П. Н. Ткачовъ). 91.
„Поэзія журнальныхъ мотивовъ", ст. Авсѣенко. 162, 200.
„Поэтъ и гражданинъ". 172.
„Приговоръ", Майкова. 26.
„Притча о киселѣ". 27.
„Пришли и стали ночи тѣни", Полонскаго. 51.
„Пропала Книга". 62.
„Публика". 62, 70, 73.
Де-Пуле. 146.
Пушкинъ. 51, 52, 53, 132, 135, 165, 166, 170, 171, 172, 174, 181, 194, 195, 196, 197, 199.
„Пѣсня Еремушки". 23.
„Пѣсня Любви". 46.
„Пѣсня о трудѣ". 46.
Пыпинъ. 181, 182, 192, 195.
Раевскій, Н. 161.
„Разборъ „Музы" Некрасова сравнительно съ „Музой" Пушкина", ст. В. Стоюнина. 14.
„Размышленія у парадныго крыльца". 13.
„Разсыльный". 69.
„Ревизоръ", Гоголя. 99, 157.
Ришелье. 84.
Рождественскій. 45.
Розенгеймъ. 4.
„Русская Старина". 135.
„Русское Слово". 1, 26, 28.
„Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ". 203.
„Русскія Женщины". 89, 141, 142, 147, 148, 151, 161, 189, 190, 192, 199, 201, 202.
„Русскій Архивъ". 58, 135, 195, 196.
„Русскій Вѣстникъ". 162, 197.
„Русскій Міръ". 86, 148.
Рѣшетниковъ. 184.
Рылѣевъ. 133.
„Рыцарь на часъ". 8, 11.

„Савонаролла", Мойкова. 26.
„Саша". 26, 42, 43.
„Сватъ и женихъ". 55.
„Свистокъ". 164.
Свистуновъ. 58.
Семевскій. 135.
Сеньковскій. 145.
„Сіяніе". 203.
„Современникъ". 1, 2, 3, 5, 14, 27, 28, 30, 45, 46, 48, 89, 164, 174, 178.
„Солнце и мѣсяцъ", Полонскаго. 51.
Соловьевъ, Н. 27—32.
„Соловьи". 201.
„Сороколѣтніе Опыты", Авдѣевой. 4.
Спенсеръ. 62.
„С.-петербургскія Вѣдомости". 25, 32—35, 45, 56, 57, 86, 127, 132, 142, 146, 157.
Станицкій. 98, 99, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131.
Стасюлевичъ. 97, 99.
„Статейки въ стихахъ безъ картинокъ". 14.
„Статуя", Полонскаго. 51.
„Стихотворенія Н. А. Некрасова", ст. В. Зайцева. 1.
„Стихотворенія, посвященныя русскимъ дѣтямъ". 201.
Стоюнинъ, В. 14.
Страховъ, Н. 41, 44, 48—56.
„Судъ". 27, 36, 62, 187, 200.
„Сѣверное Сіяніе". 20.
Сю. 93.
„Тарасъ Бульба". 60.
Теккерей. 93.
Ткачевъ, П. Н. (Постный). 91.
Толстой, А. 50.
„Три Смерти", Майкова. 26,171.
„Три страны свѣта". 91, 98, 99, 105, 113, 114, 123, 127, 128, 129, 130.
Тролопъ, Антони. 92, 93.
„Тройка". 23.
Тургеневъ. 25, 26, 45, 56, 62, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 104, 124, 125, 148.
Тютчевъ. 1, 45, 50, 51, 86, 166, 170.
„Тысяча Душъ", Писемскаго. 93.
„У Аспазіи", Полонскаго. 51.
„Убогая и нарядная". 27.
„У параднаго подъѣзда". 199, 201.
Успенскій, Гл. 100, 154, 184.
Фетъ. 1, 22, 25, 45, 58, 86, 87, 162 166, 167, 168, 169, 170.
„Физіологія Петербурга". 14.
„Филантропъ". 26, 27.
Флоберъ. 126.
Ханъ. 97.
Хомяковъ. 2, 50, 56.
„Царь Симеонъ", Полонскаго. 51.
„Циркуляры Одесскаго учебнаго округа". 20.
„Чиновникъ". 14.
Шекспиръ. 170, 195.
Шенье. 166.
Шиллеръ. 38.
„Шинель", Гоголя. 157.
„Школьникъ". 23.
Щедринъ. 31, 154, 161.
Щербина. 166.
„Ѣду-ли ночью по улицѣ темной". 23, 26, 89, 199.
Энгельгардтъ. 154.
„Эпилогъ къ неначатой поэмѣ". 26.
Языковъ. 2.
„Я покинулъ кладбище унылое". 13.
„Ярмарка". 201.

Изъ склада изданій В. А. Зелинскаго можно пріобрѣтать слѣдующія книги:

Пособія по исторіи русской литературы:

1. **Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева.** Выпускъ I. Изд. 4-е. М. 1902 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

2. **Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго.** Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

3. **Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ.** Три части Ц. 3 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

4. **Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Ц. 7 р. (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

5. **Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Ц. 8 р. (1-я, 2-я, 3-я и 4-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

6. **Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Изд. 2-е. Цѣна по 1 р. за часть.

7. **Критическіе разборы романа Тургенева:** „Отцы и Дѣти". Ц. 35 к.

8. **Критическіе разборы романа Достоевскаго:** „Братья Карамазовы". Цѣна 50 к.

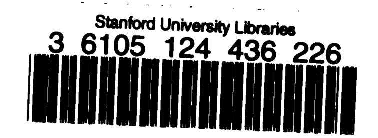
9. **Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Ц. по 1 р. за часть (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изд.).

10. **Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда" и „Наканунѣ"—Тургенева.** Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева". М. 1895 г. Ц. 70 к.

11. **Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова.** 2 части. Каждая часть по 1 р..

12. **А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго.** Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина". Ц. 2 р.

13 ***Критическіе*** **разборы „Записокъ Охотника"—Тургенева** (*печатаются).*


Stanford University Libraries
3 6105 124 436 226

